



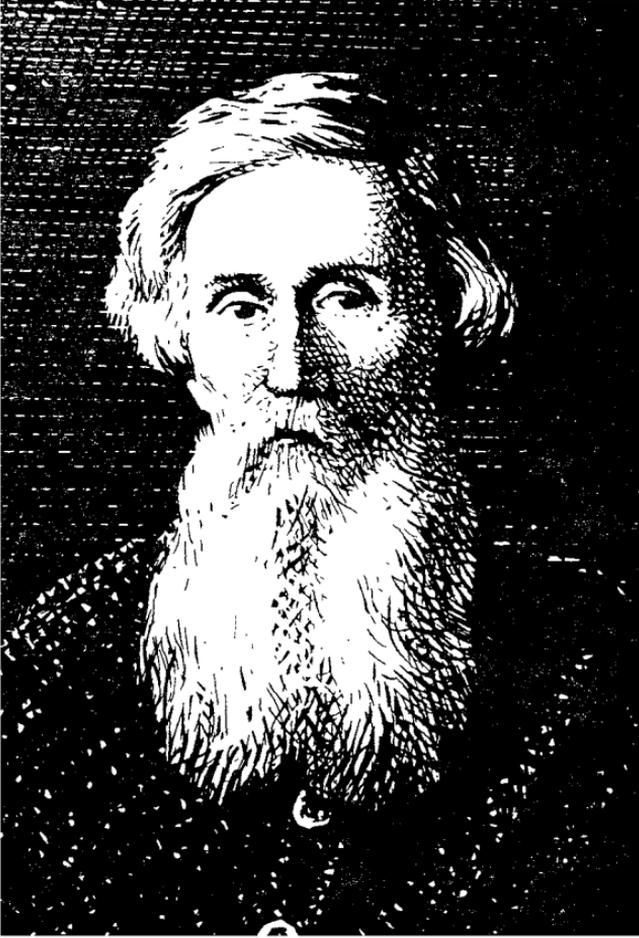
В. И. ДАЛЬ

Повести и
рассказы



Scan Kreyder - 01.10.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





В. И. ДАЛЬ

Повести и рассказы

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО УФА — 1981

Редакционная коллегия:
Бикчентаев А. Г., Паль Р. В., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Чванов М. А.

Предисловие и составление М. А. Чванова

Даль В. И.

Д-15 Повести и рассказы. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1981, — 288 с. — (Серия: «Золотые родники»)

Книгу составили тематически связанные с Башкирией и Оренбургским краем повести, рассказы и очерки В. И. Даля, автора широко известного «Толкового словаря живого велико-русского языка». Большинство произведений, включенных в данный сборник, в советское время не издавалось.

Д $\frac{70803 \quad 357}{\text{М } 121 (03) - 81}$ 111—81

Р1

Башкирское книжное издательство, предисловие, составление, оформление, 1981 г.

«ПРИШЛИТЕ СПРАВЕДЛИВОГО ДАЛЯ!»

В 1833 году в Оренбург приехал новый военный губернатор Василий Алексеевич Перовский, личность чрезвычайно противоречивая и сложная, оставившая в истории нашего края своеобразный след — одной из жемчужин репертуара Башкирского государственного ансамбля народного танца и по сей день является героический танец «Перовский» — поэтический отзвук трагического Хивинского похода.

Чиновником особых поручений при себе Перовский привез в Оренбург Владимира Ивановича Даля, отставного морского лейтенанта (Даль был одноклассником по Морскому кадетскому корпусу будущего адмирала Нахимова и декабриста Завалишина), бывшего ординатора Санкт-Петербургского военного госпиталя, автора нашумевших «Русских сказок», известного под псевдонимом Казак Луганский. За «Сказки» эти он попал в Третье отделение, но в этот же день был помилован царем, потому что тот помнил необыкновенный мост, в кратчайший срок сооруженный военным лекарем Далем при переправе через Вислу оказавшегося в безвыходном положении корпуса Ридигера, со всех сторон теснимого польскими повстанцами. (В год отъезда в Оренбург в Петербурге вышла книжка «отставного флота лейтенанта и доктора медицины» В. Даля «Описание моста, наведенного на реке Висле для перехода отряда генерал-лейтенанта Ридигера», вскоре она была переиздана в Париже).

Возможно, что Даль Перовскому в свое время представил Жуковский, он был другом Василия Алексеевича. Мог замолвить за него слово и Александр Сергеевич Пушкин, одобрительно отозвавшийся о сказках Даля, он тоже был на коротке с Василием Алексеевичем. О неординарности Перовского говорит хотя бы тот факт, что Лев Николаевич Толстой собирался сделать его одним из главных героев романа «Декабристы».

Но вероятнее всего, что посоветовал взять с собой Даля старший брат Перовского — Алексей Алексеевич, писатель, известный под псевдонимом Антоний Погорельский. Но «возможно,— полагает автор книги

о В. И. Дале в серии «Жизнь замечательных людей» Владимир Порудоминский,— Василию Перовскому не только Даль, но доктор Даль был нужен: генерала Перовского мучила рана в груди, полученная в 1828 году под Варною (генерал и лекарь были на одной войне)».

Как бы то ни было, в 1833 году бывший флотский лейтенант Владимир Иванович Даль приехал в Оренбург. Он приехал туда, как я уже упоминал, малоизвестным чиновником особых поручений. Впрочем, это не совсем так: к тому времени он был знаменитым хирургом, «второй хирургической перчаткой России»,— первой был великий Пирогов,— а восемь лет спустя уехал знаменитым писателем и ученым.

Восемь лет! Мало это или много? Можно было все восемь лет прожить в Оренбурге и ничего не увидеть. Можно было бы, как и некоторые другие чиновники, половину оренбургской жизни провести в поездках по краю, но тоже по сути дела ничего не увидеть. И жизнь местных народов, чуждая и загадочная, текла бы мимо, можно бы даже равнодушно наблюдать за ней со стороны.

Восемь лет! Для Даля, с его умением обостренно вбирать в себя все окружающее, эти годы были целой жизнью. В первый же год своего пребывания в Оренбурге он только верхом проскакал по необозримым просторам степей и гор более двух с половиной тысяч верст: Уральск и Гурьев, Уфа и Стерлитамак, Александров-Гай и Калмыковская крепость, Букеевская орда, бесчисленные станицы, деревни, аулы, стойбища, кочевки...

К концу года он уже свободно говорил на башкирском и казахском. Интерес его был ненасытен. Он изучал степь со страстью историка, филолога, этнографа, археолога, юриста, ботаника, фольклориста, врача... и, конечно же,— писателя. Прямо в степи он зачастую делал сложные по тем временам операции, давал советы, разрешал вековые споры. Зачастую он предотвращал большие кровопролития. Закипала гневом степь, уже считалось невозможным обойтись без посылки карательной экспедиции, но ехал Даль — и дело решалось мирно. А сколько междуусобных споров, благодаря ему, не превращалось во взаимную кровавую резню. Недаром кочевники называли его между собой Справедливым, и имя это было широко известно в степи. О многом, например, говорит такой факт. Когда в 1837 году в очередной раз заволновались казахи, «главный возмутитель» и «ослушник воли начальства» батыр Исатай Тайманов просил военного губернатора: «Просьбы и жалобы наши никем не принимаются. Мы живем в постоянном страхе. Пришлите к нам честных чиновников, чтобы провели всенародное расследование. Особенно желаем, чтобы жалобы наши попали к господину подполковнику Далю. Пришлите справедливого Даля!..»

Даль, в свою очередь, проникся глубокой симпатией к местным народам. Разве не знаменательно, что своего сына-первенца он назвал двойным именем Лев-Арслан (арслан по-башкирски — лев).

18 сентября 1833 года в Оренбург приехал Пушкин для сбора материала о восстании Емельяна Пугачева. «Прибыл неожиданный и нечаянный». Он ехал так быстро, что обогнал секретные жандармские предписания насчет его. Только через месяц после его отъезда из Оренбурга туда пришло «Дело № 78. Секретное»: «Об учреждении тайного полицейского надзора за прибывшим временно в Оренбург поэтом титулярным советником Пушкиным». Хотя тут надо оговориться: одно предписание догнало Александра Сергеевича — негласное предупреждение нижегородского военного губернатора своему оренбургскому коллеге: литературные занятия, якобы, не что иное, как хитрый предлог, в действительности же титулярный советник Пушкин — тайный ревизор... Так родилась идея «Ревизора», которую потом Пушкин подарил Гоголю.

И, словно боясь этих предписаний (а может, на самом деле — боясь), Пушкин торопился. Уже наутро он ехал в Берду. Сопровождал его в поезде Владимир Иванович Даль. По пути он рассказывал Александру Сергеевичу «сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачевым; указывал на Георгиевскую колокольню в предместьи, туда Пугачев поднял было пушку, чтобы обстрелять город, — на остатки земляных работ между орских и сакмарских ворот, приписываемых преданием Пугачеву, на зауральскую рошу, откуда вор пытался прорваться по льду в крепость, открытую с этой стороны; говорил о незадолго умершем здесь священнике, которого отец высек за то, что он еще будучи мальчиком бегал на улицу собирать пятаки, коими Пугачев сделал несколько выстрелов в город вместо картечи, — о так называемом секретаре Пугачева Сачугове, в то время еще живом, и о бердинских старожилах, которые помнят еще «золотые» палаты Пугачева, то есть «обитую медною латунию избу».

В Берде была замечательная встреча со старухой Бунтовой. Были собраны и другие старики и старухи, помнившие Пугачева, но поразила Пушкина живостью ума, образным мышлением именно она. Она рассказывала о взятии Пугачевым крепости Нижне-Озерной, о присяге ему, о том, как после разгрома восставших плыли по Яику тела убитых. Потом Владимир Иванович Даль увидит отголоски этого рассказа в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке».

Вечером 19 сентября Пушкин был у Даля дома. Говорят, две барышни, узнав, что великий поэт у Даля, проникли в сад и забрались на дерево. О чем говорили гость и хозяин? Окно было закрыто, и барышни ничего не слышали. Даль в своих воспоминаниях тоже умалчивает об этом. Но наверняка о пугачевщине и Пугачеве, о причинах восстания, о нынешнем состоянии края. Все это чрезвычайно интересовало Пушкина. И совсем не случайно они, наверное, уединились.

Пушкин уезжал из Оренбурга утром 20 сентября. Дорога шла по правобережью Яика. По пути лежали станицы и крепости Чернореченская, Татищева, Нижне-Озерная, Рассыпная, Илецкий городок. Вла-

дмир Иванович Даль провожал Пушкина до Яицкого городка, переименованного теперь, по приказу Екатерины, в Уральск.

Позже Даль, видимо, много встретит из рассказанного им наедине за плотно закрытыми ставнями и в дороге — в «Истории Пугачева», в «Капитанской дочке». Некоторые архивы для Пушкина были за семью печатями, поэтому сведения Даля, уже успевшего достаточно глубоко изучить край, были для него очень важными. А то, что Даль располагал большими сведениями, говорит хотя бы тот факт, что он имел от военного губернатора следующую бумагу: «Состоящему при мне чиновнику особых поручений коллежскому советнику Далю... предписываю гг. исправникам, городничим, кантонным, дистанчным, султанам и прочим частным начальникам, горнозаводским, гражданским и земским полициям и сельским начальствам оказывать всякое содействие, по требованию его доставлять без замедления все необходимые сведения...» Определенно можно сказать, что и «История Пугачева» и «Капитанская дочка» были бы менее богаты фактическим материалом если бы в Оренбурге в то время не жил Владимир Иванович Даль. Об этом можно судить хотя бы по тому, что в бумагах Даля уцелел отрывок записи о Пугачеве с пометкой: «Еще пугачевщина, которую я не успел сообщить Пушкину вовремя».

В Уральске они простились, и меньше чем через месяц Пушкин послал в Оренбург Далю свою «Сказку о рыбаке и золотой рыбке» с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин». Следующая встреча была в Петербурге, куда Даль приехал с Перовским, готовившим Хивинский поход. Даль еще не знал, что через несколько дней великий русский поэт будет смертельно ранен и он будет свидетелем его смерти.

Встречался с Далем в Оренбурге и Жуковский, сопровождавший цесаревича, великого князя Александра Николаевича (будущего Александра Второго) в путешествии по стране, которой ему в скором времени предстояло править. В редкие свободные часы Даль рассказывал Жуковскому башкирские предания — про озеро Елкикичкан, про пещеру в скале Тауча, про любовь Зая-Туляка к дочери подводного хана, хозяина озер Аслыкуль и Кандрыкуль. На прощанье Жуковский попросил записать для него несколько подобных преданий, они заинтересовали его как сюжеты для написания восточной баллады или поэмы.

Даль преклонялся перед талантом Жуковского, но тем не менее позднее осторожно отказал: «Я обещал Вам основу для местных, здешних дум и баллад, уток был бы Ваш, а с ним и Ваша отделка. Я не забывал этого обещания, может быть, ни одного дня, со времени Вашего отбытия, а между тем обманул. Но дело вот в чем, рассудите меня сами: надобно дать рассказу цвет местности, надобно знать быт и жизнь народа, мелочные его отношения и обстоятельства, чтобы положить резкие теи и блески света; иначе труды Ваши наполовину

пропадут; поэму можно назвать башкирскою, кайсакскою, уральскою,— но она, конечно, не будет ни то, ни другое, ни третье. А каким образом я могу передать все это на письме?.. Я начинал несколько раз, у меня выходила предлинная повесть... Вам нельзя пригонять картины своей по моей рамке, а мне без рамки нельзя писать и своей!..»

Даль считал, что независимо от таланта, надо писать только о том, что хорошо знаешь, что прошло через сердце.

По приказанию Перовского (и по велению сердца) Владимир Иванович Даль объехал башкирские земли и сделал подробное их описание. Он вынужден был докладывать Перовскому о разграблении башкирских земель, о беззаконии и лихоимстве.

В 1834 году в дерптском ученом журнале Даль опубликовал статью о башкирах. Она тут же была переведена с немецкого, сокращена, перекланована и без имени автора помещена в № 8 «Журнала министерства внутренних дел».

Статья начинается с описания природы Башкирии. «Земли, занимаемые этим народом,— писал Даль,— можно без преувеличения отнести к числу прекраснейших и богатейших. Всем своим дарам природа наделила их с избытком. Горы, лесные чащобы, множество больших и малых рек, ручьев, озер, тучных пастбищ, которыми благодаря их разнообразному положению пользоваться можно во всякое время года, наконец, несметные подземные сокровища — золото и платина — природа рассыпала их почти у самой поверхности земли...»

Даль подробно анализирует административное деление башкирских земель, рассматривает различные гипотезы о происхождении башкир. Он не просто перечисляет башкирские бунты, а рассказывает о причинах, вызвавших их, так, например, известное восстание 1707 года, по его мнению, вспыхнуло как справедливая реакция на «самовольный образ действий назначенного в Уфу Сергеева». «Во время этого восстания, — не побоялся сообщить Даль, — погибло более тридцати тысяч мужчин; больше восьми тысяч женщин и детей были поделены между победителями; 696 деревень были разорены».

Чрезвычайно интересны наблюдения Даля о характере, образе жизни башкир. Нередко им приходится брать в руки оружие: «В сражении башкирец передвигает колчан со спины на грудь, берет две стрелы в зубы, а другие две кладет на лук и со скоростью ветра посылает их одну за другой; при нападении низко пригибается к лошади и — грудь нараспашку, рукава засучены, — с пронзительным криком бросается на врага». Но в обычной жизни, подчеркивает Даль, башкиры миролюбивы. «По всей Башкирии,— пишет он, — можно путешествовать, столь же безопасно, как по большому Московскому шоссе. Башкиры обходительны и ласковы».

В 1838 году за огромные заслуги, в том числе за работу, проделанную по исследованию Оренбургского края, Российская Академия избрала его своим членом-корреспондентом.

В 1839 году он отправится в печально знаменитый Хивинский поход. В Хиве томились тысячи русских пленных, только некоторым из них удавалось бежать, и даже через кочевников, которым за это грозил страх смертной казни, приходили письма с просьбой о помощи. Но это была только одна из целей похода, скорее внешняя, чтобы поднять дух солдат, — царь боялся, и не без оснований, английского влияния в Средней Азии. Даль советовал выступить в поход весной, но Перовский не послушался его: выступили в конце ноября. Зима на редкость была тяжелой, не говоря уже о том, что зима в степи вообще очень сурова. Не помогли ни расстрелы, ни виселицы для острастки, ни посулы — пришлось повернуть, потеряв треть войска.

Так печально окончилась служба В. И. Даля в Оренбургском крас. Хивинский поход заставит его еще и еще раз над многим задуматься, принесет много горечи, хотя и даст возможность еще глубже узнать простых людей Оренбуржья и Южного Урала: яицких казаков, башкир, казахов...

В Оренбург Владимир Иванович Даль приехал малоизвестным чиновником по особым поручениям при военном губернаторе, а уехал знаменитым писателем. В Оренбурге им были написаны автобиографические повести «Мичман Поцелуев», «Вакх Сидоров Чайкин», «Домик на Водяной улице», другие повести, рассказы и очерки. Но особую славу ему составят такие произведения, как «Осколок льду», «Рассказ об осаде крепости Герата», «Майна», «Бикей и Мауляна», «Уральский казак», «Башкирская русалка», написанные на местном материале. Повесть «Бикей и Мауляна» была первой достоверной повестью о жизни казахов. Она сразу привлекла к себе внимание не только русского читателя: вскоре она была издана в Париже. Привлекла внимание не только необычностью материала, но реалистичностью изображаемого, глубоким гуманизмом, уважением к «диким» кочевым народам, которым не чуждо ничто: ни мудрость, ни мужество, ни доблесть, ни высокая любовь, достойная Ромео и Джульетты.

«В этой чете столкнулись два человека, — с глубоким уважением и даже удивлением писал о своих героях Даль, — в своем роде необыкновенных: упрямая судьба одарила дикарей этих мозгом и сердцем, которые, при надлежащем развитии понятий и способностей, может быть, украсили бы чело и грудь царственной четы; может быть, другой Суворов, Кир, Кант, Гумбольдт сгнули и пропали здесь, сколько скованный дух ни порывался на простор!»

Мауляна! Кое-кого из «общества», наверное, не мог не задеть ее портрет, написанный Далем:

«Пригожество и красота — вещи условные; не знаю, приглянулась ли бы вам моя степная красавица с первого раза, особенно если бы вы пожаловали в зауральскую степь прямо с партера Александринского театра, из филармонической залы, с пышного придворного бала; — если ж нет, то виной этому был бы, вероятно, только тяжелый, меш-

коватый наряд ее; я думаю, что если бы вы обжились немного со степью и с дикарями ее и дикарками, если бы привыкли только к этим тройным и четвертным неподпоясанным халатам, неуклюжим чоботам и мужиковатой поступи, то стали бы вглядываться в иное свежее, дикое, яркое и смуглое лицо, в котором брови, ресницы, очи, губы и подборныс, скатного жемчуга зубы украсили бы любую из московских и питерских красавиц, похожих нередко — извините меня, неуча, — на куколку, которую шаловливые девчонки умывали, и смыли с нее и румянец, и алый цвет уст, а в голубых глазках оставили один только бледный, мутный намек на прежний цвет их. Плосковатое лицо и несколько выдавшиеся скулы не делают на меня никакого неприятного впечатления, а высокое чело и благообразный нос вполне соответствуют приятному облику кайсачки».

Или еще:

«Есть доселе много людей на линии и в Оренбурге, которые видели и знали ее: вы услышите одно, и разногласицы насчет Мауляны нет, словно все условились и сговорились. Еще недавно смеялся я внутренне, сидя вечерком в дружеской беседе, где зашла речь о Мауляне прекрасной: один из самых сухих и закоснелых, угрюмых брюзгачей наших улыбнулся, ослабил уста свои и не мог скрыть пробудившихся в нем приятных воспоминаний; она поражала и озадачивала собой каждого, с кем бы ни сходилась, ни встречалась: думаешь видеть перед собой милую окрутницу, которая ловко, удачно и искусно подделалась под стать и лад дикарки, не покидая благородной, образованной осанки наших барынь и девиц лучшего круга»...

Без преувеличения можно сказать, в Оренбурге сложилась основа «Толкового словаря живого великорусского языка». Может быть, не будь восьми лет жизни в Оренбургском крае, не было бы и «Словаря...», по крайней мере, в таком виде. Оренбург в этом смысле чрезвычайно выгодно расположен: своеобразный узел-стык Средней Азии и Урала, Сибири и Средней России. В то время Оренбургский край был сосредоточием переселенцев. В одном узде можно было встретить выходцев из десятка и даже более губерний. Да и более древнее русское население края — тоже переселенцы, конгломерат разноязычия и диалектов. Особая, чрезвычайно любопытная терминология рыбного дела сложилась у уральского казачества. В исконно русский язык активно вплетались и укоренялись в нем тюркизмы. Язык не просто жил, он продолжал расти количественно и качественно, и все это не проходило мимо Владимира Ивановича Даля.

И еще одно, чрезвычайно важное обстоятельство. Даль как бы заново открыл Оренбургский край, своими произведениями привлек к нему обостренное внимание общественности, прежде всего литературной.

Если бы не Даль, скорее всего не приехали бы в Оренбуржье Толстой и Чехов, многие другие русские писатели. Знарок и пропа-

гандист молочных продуктов А. С. Кишкин в одной из своих статей писал: «Не было и нет в нашей стране другого такого молочного напитка, который взлетел бы так стремительно в зенит славы, как это произошло с кумысом, вызвавшим в XIX веке невиданное паломничество в заволжские степи для исцеления от туберкулеза. Мало сейчас кто знает, с чего все это началось. Кто первым открыл для россиян кумыс как лечебное средство?» И отвечает: «Владимир Иванович Даль».

Конечно, о кумысе в России знали и до Даля. Еще в Ипатьевской летописи сообщалось, что в 1245 году князь Даниил Галицкий, едзя на поклон к хану Батыю, пил у него кумыс. Да и в России XIX века народные лекари, особенно в пограничных с кочевниками областях, рекомендовали им лечить чахотку. Теперь же о чудодейственных свойствах степного напитка говорил известный врач и писатель, член-корреспондент Российской Академии.

«Как русские, так и иностранцы, — писал Владимир Иванович Даль, — высказывают иногда о кумысе ошибочные сведения и мнения, его смешивают нередко с молочной водкой калмыков, или приписывают ему небывалые качества и свойства. Между тем напиток этот, как пища и как врачебное свойство, стоит того, чтобы с ним ближе познакомиться, а в этом деле только от нас, русских, можно требовать достоверные сведения, потому что кумыс известен едва ли не только в азиатских пределах нашего Отечества.

Кумыс... составляет главнейшую пищу и наслаждение наших кочевых народов, которые без него едва ли бы могли существовать. Привыкнув к кумысу, поневоле предпочитаешь его всем без исключения другим напиткам, особенно в жаркое время. Он охлаждает, утоляет и жажду, и голод, и придает особенную бодрость».

А далее Владимир Иванович писал:

«У киргизов чахотка почти неизвестна! Особенности свойства кумыса, которые объяснить нелегко, но за которые я могу поручиться, состоят в том, что он никогда не переполняет желудка, его можно пить сколько угодно и во всякое время, не чувствуя отягощения. Почему кумыс и приносит особенную пользу во всех тех болезнях, где тело требует сытого и легкого питания, без отягощения пищеварительного снаряда. Кумыс приносит особенную пользу при всех хронических грудных страданиях, как собственно легких, так и дыхательного снаряда вообще. Последовательное действие кумыса обнаруживается через неделю и ранее, оно состоит в сытном, здоровом и легком питании целого тела. Чувствуешь себя бодрым, здоровым, дышишь свободно, лицо принимает хороший цвет. Я сомневаюсь, можно ли придумать какую-нибудь другую пищу, которая в этом отношении заменила бы кумыс».

Без преувеличения можно сказать, что это сообщение ошеломило русское общество. Когда шок немного прошел, многие, — зачастую самые отчаявшиеся излечиться от туберкулеза, — вместо дорогостоящих курортов Швейцарии и Италии обратили свой взор на восток — в до-

селе неизвестные и дикие степи. А чухотка в то время не щадила никого: ни бедных, ни богатых. И первые же результаты показали, что Даль был прав. Кумыс, может, полностью не излечивал от туберкулеза, но значительно улучшал состояние, укреплял организм.

В этом паломничестве была и другая сторона — люди, не знавшие толком родной русской деревни, поневоле знакомились теперь с укладом степи. Жили в курных избах, в палатках, шалашах, кибитках и юртах. Ехали только лечиться — и невольно узнавали жизнь кочевых народов. Так в башкирские и оренбургские степи вслед за волной переселенцев — представителей беднейшего крестьянства — и хищниками-колонизаторами хлынула в поисках здоровья, может, не такая густая, волна среднего класса, интеллигенции, дворянства.

Почти повсюду в степи стихийно возникали примитивные кумысолечебницы. А уже в 1859 году в заволжских степях появился первый профессиональный врач, лечащий кумысом, — Н. В. Постников. Он стал основателем отечественного кумысолечения.

Именно на кумыс приезжал в заволжские степи Лев Николаевич Толстой. Именно на кумыс приезжал в Башкирию Антон Павлович Чехов. Санаторий около станции Аксеново теперь носит его имя. В республике в наши дни более десяти взрослых и детских кумысолечебных санаториев, и остается только сожалеть, что ни один из них не носит имя страстного пропагандиста кумыса В. И. Даля.

С Льва Николаевича Толстого по сути дела начался второй этап повышенного интереса широкой общественности к заволжским степям, к народам Южного Урала, Оренбуржья и Казахстана...

Прошло время. Минул век с лишним. Чем дальше неумолимое время, тем значительнее становится великий памятник, который воздвиг себе Владимир Иванович Даль — это «Толковый словарь живого великорусского языка», который стал настольной книгой уже не одного поколения нашего народа. Недавно издательство «Русский язык» осуществило очередное его издание. В этом великая справедливость времени, но все же несправедливо, что Даль — создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» заслонил собой личность Даля — выдающегося врача, Даля — общественного деятеля, Даля — организатора Российского географического общества, Даля — талантливого инженера, Даля — писателя.

Большинство его прозаических произведений в советское время не издавалось, и эта книга в серии «Золотые родники» — скромная попытка вернуть читателю, прежде всего читателю нашего края, который он самозабвенно любил, за который болел душой, с которым были связаны его лучшие годы, — вернуть широкому и благодарному читателю Даля-писателя.

Михаил Чванов

БАШКИРСКАЯ РУСАЛКА

В горной области Урала живет полукочевой народ. Он просил у царя Иоанна Грозного защиты и подданства: с востока сибирские князья, а с юга монгольские, татарские орды утомили зажиточных скотоводцев непрестанными набегами. На север однако же и северо-восток сами они делали набеги и уводили себе оттуда, от племени чудских, жен. Откуда народ этот взялся — неизвестно; вера его ныне мусульманская; язык наречия турецкого или татарского, произношение более гортанное, монгольское; лица у мужчин — что-то среднее между лицом казанского татарина и заяицкого кайсака; у женщин — между кайсачкою и самоедкою; словом, здесь, кажется, видна смесь племен: татарского, монгольского и чудского. Народ этот называет сам себя: башкурт; ученые наши тешлись над этим словом, ломали и переводили его всячески: главный волк или вор¹, главный пчеловод, отдельное племя или владение, и проч. Сами башкиры говорят, что они происхо-

¹ Люблю я этих переводчиков, которые все знают и все толкуют: на здешнем наречии курд или курт никогда не означало вора. Тут нельзя не вспомнить длинного рассуждения, в котором один ученый наш старался доказать, что арал никак не может означать островитого моря или моря острова, потому что остров по-турецки ада, а не арал. Очень похвально знать по-турецки, но не похвально спорить, если не знаешь вовсе того языка или наречия, к коему спорное слово относится. Кайсаки, хивинцы и туркмены вовсе не знают слова ада в значении острова; собственно, остров у них утрай, а берег, материк, суша, остров, словом — земля, в противоположность воды, действительно называется арал. Поэтому арал-дингизы, или арал-дингиз, как утверждает строгий наш законник, тем более, что последнее толкование, по свойству не турецкого, а здешнего, татарского языка, нельзя допустить вовсе. (*Здесь и далее прим. автора*).

дят от ногаев или ногайцев, отделившись от них по уробицам. Иные помнят, по преданию, какое-то родство с бурятами; в сказках и песнях их поминают родоначальником дивного Чингис-Хана, коего предок рожден девственницею от наития солнечного луча, а сам он, Чингис, вдовою Алангу, которую также посетил луч солнца и возвратился от нее серым волком с конскою гривой.

Народ башкурт разделился с незапамятных времен на племена, или, как их называют у нас, на волости; у каждой волости свой уран, отклик, своя тамга, рукоприкладный знак, свое дерево и своя птица, розданные, как верит народ, самим Чингис-Ханом. Ученые бытописатели наши ищут в башкирах предков маджаров, нынешних венгров; теперь же народ башкурт, составляя общее с мещеряками казачье войско, почти в 200 000 человек, расселился от Уральского хребта до Яика, Большого Ика, Белой и Камы, местами еще кочует летом и живет скотоводством, промышляет и звериною ловлей, пьет кумыс и ест крут; местами же поселился уже оседлыми деревнями, разводит пчел, сеет хлеб, и одеждою и обычаями своими все более и более сливается с соседними татарами.

Но у кочевых башкиров осталось еще много своих поверий и преданий: есть злой дух, дью-пари (див и пери), принимающий образ человека, кошки, собаки и особенно барса и тигра; иногда у него грива бывает золотая: знаменитейшие батыры башкирские прославились битвами с этим чудовищем, которое, нападая и защищаясь и особенно похищая девок, перекидывается и принимает разные образы; если же дью-пари является в образе человека, батыра, то может быть ранен, как Ахилл, только в пятку. Леса, дебри, горы, воды и пещеры населены лешими, водяными русалками, известными вообще под именем джин, дух; каждою горою, каждым озером обладает такой джин, добрый и злой; — но все это рассказывает вам башкир стихами, или напевает вторя чибызге или кураю, в прошлом времени; ныне бесплотных жильцов и жилищ этих осталось не много, золотой век, как всюду, так и здесь, прошел, промчался, остались одни воспоминания!

Одна из знаменитых пещер в Башкирии это Бельская или Шуллигань-таши. Ее смотрели и описывали Рычков и Лепехин. Она лежит на правом берегу Ак-Идыля, реки Белой, в 12—15 верстах от Вознесенского завода, на бывшей ногайской дороге, в земле Бурзянской волости. Но Рычков, без сомнения, очень ошибался, когда полагал, что вертеп — это дело рук человеческих. Гора возвышается

сажен на 80; пещера идет снизу вверх, длиною сажен в полтораста или более: она вся еще не исследована и состоит из множества отдельных больших и малых пещер, связанных переходами, оконцами и трещинами. Подземные палаты эти шириною от двух, трех и до 12, вышиною, местами, также до 12-ти сажен, между тем, как тут и там надо пробираться ползком. Известковые капельники образуют на полу и на сводах дивные изваяния, подающие башкирам повод к новым басням. Тут есть ключи, озера, пропасти, подземные горы, огромные самородные своды, ступенчатые лестницы, погребальный одр из капельника, и вокруг шесть огромных шандалов со свечами, из той же известковой накипи. В стенах и сводах есть отверстия, ведущие в верхние и боковые ярусы пещеры. В подземелье этом обитало когда-то особое племя людей, о котором рассказывают много дивного. Там же нередко укрывались разные джины, дивы и дью-пари. Во время смут и возмущений башкиры спасались в подземелье этом с семействами и имуществом. Старики рассказывают о каменной, здесь находящейся, собаке: это див, окаменевший в принятом им образе. Замечательно, что каменная собака эта боится плети, что дождевые облака ей подвластны, и собака не может снести ста ударов плетью; она издает глухой вой, и обильный дождь окропляет окрестность.

Верстах в трех есть небольшое озеро. Елкикчкан, конский выход или выгон. Озеро это прибывает и убывает непостоянно. Оно было в старину жильем и царством могучего падишаха водяных; он-то наградил смелого Кунгрябая, башкира Бурзянской или Усергенской волости, косяком лошадей, выплывших из этого озера вслед за бесстрашным наездником, пустившимся вплавь на знаменитейшем жеребце своем через неприступную для других пучину. Верстах в десяти ниже найдете озерцо чистой воды, из коего вытекает речка Шуллюган и впадает в Белую. В этой речке найден хомут с лошади, украденной и утопленной преследуемым вором в нагорном озере; стало быть, говорят башкиры, озера эти сообщаются под землю.

Есть или была еще в другом месте в Башкирии пещера или, лучше сказать, провал, котловина, из которой когда-то вода подымалась по временам черным смерчем. Это было каждый раз предзнаменованием общего бедствия: вода вскоре упала опять в уровень с землею; смелые ловцы, пускаясь сюда за медведями, погружали в пучину высочайшие сосны и не доставали дна; наконец, вода исчезала, ямина просыхала, и о полуночи выбегала из нее

чернобурая лиса: этот зверь, или див, приносил с собою беду, бич небесный, гибель и разносил ее по земле: мор, голод, палы, пожары, засухи, войны и усобицы — все это выносила с собою чернобурая зловещая лиса. Смелый зверолов подстерег ее у самого выхода и пустил в нее в один миг, разобрав их по пальцам и в зубы, двенадцать стрел; за каждую стрелюю оборотень перекидывался то собакой, то кошкой, то выдрой, то росомахой, а наконец барсом и юлбарсом, т. е. лютым полосатым тигром; батыр наступал все смелее да смелее, поражал его стрелами раз в раз, и наконец, заставив отчаянного дью-пари принять последний, человеческий образ, в латах, шишак, с огромным обоюдоострым мечом, поразил его копьем в левую пятую и свалил труп, от которого пошел смрад и пар коромыслом, в жерло бездонной котловины. С тех пор в Башкирии нет и мятежей.

Пещера Муйнак-таш, также на Белой, не менее славна; в ней есть огромные палаты до 20 сажен вышины и до 60 сажен длины. В пещере Тименетау слышен вечный подземный гул, как от низвергающегося водопада: это жилище дью-париев, которые день и ночь дуют огромными мехами и куют стопудовыми молотами. В подошву змеиной горы, Зилан-тау, ввергается, протекши не более полуверсты, подземельная речка и пропадает; она, с незапамятных времен, пошла к шайтану в кабалу жернова ворочать.

На речке Шашняк есть скала Тауча; в отвесе скалы этой есть небольшое отверстие, но никто не знает, куда оно ведет; края его обтерты, будто какой-нибудь жилец ходит туда и оттуда, по ночам нередко виднеется огонек, и башкирцы рассказывают, между прочим, что два духа вылетели однажды из пещеры этой, ухватили башкира с сенокоса под руки, понесли его по воздуху и хотели втащить в узкое отверстие; но тот был широк в плечах, да при том стал читать молитву из корана; явился изнутри пещеры третий дух и сказал товарищам своим: «бросьте его, на что вы с поганым связались» — и башкир полетел на дно пропасти, в речку Шишняк; выплыл на берег и, отдохнув, рассказал о приключении своем.

Не совсем мало и теперь еще в Башкирии древнего оружия, особенно кольчуг, панцырей и шлемов. Они зашли сюда в незапамятные времена из Средней Азии. Кольчугу башкиры охотно надевают на алый суконный чапан, подпоясываются тисненным ремнем, на котором висит лук в кожаном раскрашенном налучнике, и такой же колчан со стрелами, и украшают шлем свой перышками или надева-

ют широкую развалистую бурзенскую шанку с алым верхом и широкими приподнятыми полями из пушистой лисы; такой воин, на белой, плотной, малорослой лошади своей, олицетворяет перед вами средние века.

Нынешние башкирские песни состоят из отрывистых четверостиший, в которых обыкновенно два первые стиха заключают в себе картину, басню, притчу, а два последние применение, сравнение с сущностью. Но есть несколько старинных батырских песен, есть и сказки, предания, которые так между собою перемешаны, что деписание и баснословие смотаны всегда на один общий клубок. Напевы тоскливы, унылы, протяжны и дики, но приятны и певучи. Курай или чибызга, дуда или сопелка, издающая приятные сурдинные звуки, держится строго, нота в ноту, голоса песенника; вторы у них нет вовсе, голоса довольно чисты и звучны, но тонки или высоки и очень не обширны. Если же песенники умолкают, то к чибызгам пристают нередко певчие особого рода; они поют, как говорится здесь, горлом. Это в самом деле вещь замечательная: набирая в легкие как можно более воздуха, певчий этот гонит усиленно, не переводя духа, воздух сквозь дыхательное горло и скважину его, или горловинку, и вы слышите чистый, ясный, звонкий свист, с трелями и перекатами, как от стеклянного колокольчика, только гораздо протяжнее. Это не иное что, как свист дыхательным горлом — явление физиологически — замечательное, тем более, что грудной голос вторит этому свисту в то же время глухим, но довольно внятным, однообразным басом. Сильная натуга видна в это время на лице песенника: оно вздувается, краснеет, глаза наливаются кровью.

Башкир на себя работает не охотно, только по нужде; его дело разъезжать с нагайкой и сибирской винтовкой по горам, сунув за щеку, вместо жвачки, кусочек рубленого свинца, из которого зубами округляет запасную пульку; его дело пить кумыс, есть вкусную и жирную кобылятину или баранину, любясь табунком лошадок своих; валяться, отдыхать, петь вполголоса песенку или слушать вечером, при огне, чибызгу или рассказчика — и вспоминать прошлое, батырское время, былое и небывалое. Южные башкиры воинственны и ждут, как ворон крови, вызова охотников для поиска в степь, на заклятых врагов своих, на кайсаков; северные, частью уже перемешанные с мещеряками, к оружию не привычны.

Сядем и мы на широкую кошму, около пылающей огромной сосны, стонавшей столько раз от бурного порыва

ветров и отстоявшей ныне в последний, под ударами небольшой башкирской секиры; закройте перед собою рукою яркое полымя и глядите на бездну искр, которые змейками взмывают скорее самой мысли, реют по синему мраку туда и сюда — и гаснут; ветер уносит пепел их, развеивает дым — и вековая сосна в глазах ваших отжила, истлела, обратилась в прах и — уже не существует! И Зая-туляк был, и он разрушен стихиями, и нет уже следа плоти его и самого праха; осталось одно только славное имя его, да память по нем в сказках.

В 12-м башкирском кантоне есть место в 1800 квадратных верст, где нет ни одного русского, ни татарина, ни мешеряка, ни чувашина, ни мордовина, ни вотяка, ни тепте-ря, ни черемисина, нет вовсе этих, так называемых, припущенников и переселенцев, которые, обще с нашими заводчиками, переполосовали и испятнали уже почти всю Башкирь, тягаются лет по тридцати и более с родовыми жителями, владеющими землями на вотчинном праве, и частью уже оттягали сотни тысяч десятин богатейших в мире земель, расквитавшись с вотчинниками-башкирами или десятилетнею давностью владения, или любовною сделкою, тремя головами сахара, фунтом чаю и словесными обещаниями не припускать никого более на их земли; земля эта, о которой я говорю, лежит в Белебеевском уезде и принадлежит четырем родам или волостям, известным под общим названием демских башкир, по реке Деме или, вернее, Дим. Здесь есть степи, луга, речки, озера, горы и леса. Демские башкиры еще кочуют и даже держат верблюдов, старина ими еще не совсем забыта.

Тут-то, неподалеку заводов: Усть-Ивановского, в 30-ти от него верстах, и бывшего Курганского, где остались ныне только три избушки на Сырте, разделяющем долины Димы и Большого Ика, лежит озеро Ачулы, или, как башкиры, не выговаривающие буквы ч, его называют: Ассулы. Северные берега его возвышаются исповедь довольно ровною степью; у восточной их оконечности выступает мыс Малый Нра; западные берега состоят из возвышающихся постепенно к вершинам речки Чермасана, гор; они кажут вам, с озера, хороший вид: они идут, постепенно возвышаясь, уступами; северная их половина, прилегающая к степи, гола; южная образует одеждою своею переход к соседнему Усенскому лесу. Здесь видите вы, начиная от севера, горы: Бурлытау, Бика-тюбе, Караул-тау, Кучлар-ко-

ро, Келим-бет, Угуз-куль, Тирень-куль, Таш-бурун и Карагач. Северные горы, прилегающие к степи, круты, поросли одним ковылем и выказывают расчесанные буйным ветром округлые к озеру и нагие вершины свои, словно седые, полуплешивые головы отживших старичков; Бурлытау упирается в озеро красною, глинистою пятою своею мысом Зурь-Нра; Тирень-куль спускается волнистыми уступами, которые близь озера, называются Искиз-Ма; наконец, Карагач, у которого за плечами огромный Усень-Ивановский лес, раскинул перед озером Ачулы волнистую, уступистую грудь свою и вынес еще на себе, по окраине каждого уступа, лесистую опушку. Карагач на северо-западе подает руку Угуз-кулу, и у них из-под мышек вытекает речка Курьятмас. С хребта Карагача видны лесистые Чермасанские горы, на юго-запад. На юге и на востоке озера, вы опять видите одну волнистую степь, а в полуверсте от озера — уступ или увал. Юго-восточный берег-солонец, весной топкий, летом сухой. Таким образом, озеро образует продолговатую водную плоскость, длиною в 7, шириною в 5 верст, с двумя перехватами, от мысов Большого и Малого-Нра. Глубина озера до 10-ти саж. На севере, неподалеку, аул или зимовка Чапай; на юге Барангул и Курьятмас; а вокруг — кочевки аулов: Кидряч, Барангил и Мекеш. На юго-западе, в березовом и липовом лесу, Усень-Ивановский завод; на реке Усень есть и сосновый лес, единственный во всей округности.

С рассветом, в летний день, густые туманы встают с Ачулы-куля, с озера, и тянутся столбом, перегнувшись коромыслом на призыв к Усень-Ивановскому лесу, и лес подходит издали на огромное дымовье, из которого синий дым тянется, перегнувшись и постепенно расстилаясь, к далекому озеру; около полудня Усенский лес убрался и управился с прическою своею, оделся облаками или тучами, но незванный гость и закоснелый враг всякой прически, горный ветер, — растрепал уже снова буйную голову Усеня, разогнал волны кудрей ее во все четыре стороны, и тучки быстро несутся по ветру, чтобы к ночи снова пасть туманом на дремлющее озеро.

Но глубина и самые берега озера Асулы не постоянны; не потому, чтобы вешние притоки его изменяли, не потому, чтобы наносные пески, которых здесь нет, его засыпали, а просто потому, что в озере этом жила когда-то прихотливая ундина, баловливая русалочка, которая хозяйничала здесь по произволу, а теперь живет еще вечною жизнью отец ее, падишах духов водяных и подводных. Он

добр, но угрюм и суров: он не играет и не шалит; но он, негодуя на злые дела, на помышления людские, и предвидя в прозрачном царстве своем всякую беду, как следствие дел и замыслов наших, вздымает подвластную ему стихию, разливает ее через край и грозит затопить окрестности; потом он стихает, щадит неразумных; озеро вступает в лono свое и стоит спокойно в берегах, доколе новое событие не встревожит падишаха, и старик снова, в негодовании своем, потрясает косматою головою.

Озеро Ассулы, или Ачулы, в переводе: открытое, отвер-
стое, бездонное, или, может быть, вернее, сердитое — в са-
мом деле разливается и упадает, прибывает и убывает,
не постоянно, не равномерно, без всяких видимых причин.
Башкиры уверены, что первое делается только перед ка-
кою-нибудь бедою. Они сосчитают вам по пальцам не толь-
ко события от 1772 года по 1860-й, от Емельки Пугачева
и до мятежа в Польше, не забыв ни одной войны нашей,
ни одного местного или общего для империи бедствия, но
прихватят иную пору такой старины, что после того собы-
тия или времени во всех уездных городах нашей губернии
раз по семи уже погорели все архивы, и вам было бы не-
где навести справку ни о событии, ни о тогдашнем состоя-
нии озера Ачулы, если бы исправник и доносил в то время
о последнем обстоятельстве, как ныне, присовокупляя
иногда, что «озеро Ачулы-куль вздувается и прибывает,
по примеру прежних лет, и по-видимому божьею волей;
ибо, при обследовании дела, ничего подозрительного не ока-
залось». У восточной оконечности озера тянется овраг, в
который заливается вода, когда озеро в разливе.

На северо-западе от Ачулы, верстах в 50-ти за верши-
нами речек: Чермасана, Чукады или Нугуша, лежит такое
же дивное озеро Кандра, Кандра-куль. На юге от него
горы с редким лесом; на западе обрывы и увал каймой;
тут же мыс и островок, на котором башкиры пасут лучших
коней своих, потому что они здесь в безопасности, даже и
без пастуха; на севере — песчаная, кочковатая, поросшая
травою покатошь и далее степной кряж уступом; тут же
тянется ров или овраг, от самого озера до лошины реки
Нугуша, — и вода течет, во время разлива озера, по этому
рукаву; на востоке — мочажина, болотце, и далее холмис-
тый увал. На Кандра-куле стоят три аула или деревни, все
три Кандры; озеро покрыто челноками рыболовов: замеча-
тельно, что в Кандра-куле есть сомы, а нет вовсе карасей,
а в Ачулы, обратно, сомов нет, а карасей много. От Кандра-
куля на юго-западе, саженьх во ста, в горах, лежит озеро

Тюменски, а из него течет речка Тимошка и впадает в Кандру. И Кандра-куль составляет еще часть владения дяди струя и прибывает и убывает постоянно, одинаково и в одно время с Ачулы-кулем. Есть предание, что в Кандра-куле потонул когда-то конный башкир, разгневавший чем-то царя влаги: долго башкир пропадал без вести, и наконец выплыл, с лошадейю своею, мертвый, в Ачулы-куле. Умные старики похоронили его в неведомом месте, чтобы незваные посетители и любители тризны и поминок не нарушали покоя, не раздражали царя-нелюдима.

Но надобно, приступая к дивному рассказу, кончить описание местности. Юго-восточный берег Асулы за грязным солонцом окаймлен степным увалом, за которым вытекает речка Ачулы-Удряк, одна из трех Удряков, составляющих главный или большой Удряк, впадающий в Диму. Южнее Ачулы-Удряка — встречаете еще увал, или небольшой гребень, за которым вытекает речка Тюлян, также один из притоков Димы. По левому берегу Тюляна тянется невысокий хребет, который верстах в десяти обращается в отдельные, волнистые, довольно высокие ступени; юго-западный скат их идет к Тюляну, северо-восточный обращает, обще с горами: Кяме-тау, Шаро-чагыл и Карабаш, долину, среди которой возвышается отдельно и одиноко сахарная голова в 50 сажень или более, известная под именем Балкана. На правом берегу Тюляна, у вершин его, стоят две такие же сахарные головы меньшего размера: это Шайтансары и Санай-сары. Здесь происходила когда-то страшная битва Санай-батыря с шайтанами: Санай-батырь, преследуемый множеством злых духов, занял, для защиты своей, вершину одной горы, а шайтаны, желая сбить его и вогнать в долину, взобрались на другую. Санай не подался ни шагу: истреляв все стрелы свои и перебив множество шайтанов, он изломал сам лук свой, закололся и лег на месте; и гора эта поныне показывается вам, как могила Санай-батыря.

Между Ачулы-кулем и Димою кочевал в древние времена хан Самар-хан, один из сыновей Чингиса. У Самар-хана был сын Зая-Туляк. Юный князь был любимцем отца и матери своей, прекрасной пленницы русской, которая плакала и тосковала по милой отчизне своей, покуда не излила тоску и грусть свою в новое существо и — забылась в сыне. Зая-Туляка берегли и холили, как царского баловня и любимца; он был хорош как солнце, и не было на Диме достойной его луны. Завистливые братья Туляка, сыновья других жен Самар-хана, озлобились на баловня: «чем он

лучше нас, за что его холят, как зеницу ока, не выпускают за порог кибитки ханской, между тем как нас заставляют нести службу и заботиться о суетах житейских? Разве мы не одной с ним крови?»

А Зая-Туляк думал в это время: «Зачем мне не дают воли — хочу воли, свободы, а не плена! Зачем братья мои объезжают свободно отцовские земли, из края в край, из конца в конец, дерутся с врагами и приводят ясырей, пленников и пленниц, — а я сижу, сложа руки? О, если бы мне была воля! Я бы себе отыскал и взял и привез не такую пленницу, как братья мои: я нашел бы дивную красавицу, неслыханную и невиданную!»

Самар-хан созвал приближенных своих и велел им готовиться в отъезд. «Сыну моему Зая-Туляку, — сказал он, — пора увидеть свет. Пусть он увидит его в первый раз с веселой, радостной стороны, как должен видеть его достойный внук Чингиса; забирайте с собою лучших соколов моих, ястребов, кречетов и беркутов, бейте утицу перелетную, бейте курткула, косача-тетерева, пускайте беркута на лису и волка, пусть потешается царский отрок, и берегите его, как заветную душу свою!»

Зая-Туляк, простившись с отцом и ханом, сел на лошадь, и пышный поезд тронулся. Вельможи раболепствовали юноше, неопытному царскому сыну, доколь еще страннись пронизательного ока Самар-хана; удалившись же от ханского кочевья, нагло смеялись простоте и неведению отрока белой кости и поднесли ему сову, которую поймали в дупле, вместо отцовского кречета. Зая-Туляк, не выдавши травли соколиной и не зная ловчих птиц, поверил им на слово, пустил птицу свою на первую встречную вереницу диких гусей, тянувшихся клином, птица взмыла выше гусей перелетных, поджала машистые плечи, ринулась клубочком в стаю, ударилась стрелою вправо, потом влево, опять вправо, промелькнула зубчатою молнией, ныряя каждый раз серому гусю под левое крыло — и семь гусей сряду полетели кубарем на землю. Стая всполошилась, перемешалась в один клубок, поднялась столбом, гуси хотели забить крыльями дерзкого неприятеля своего, но ловчая птица Зая-Туляка камешком упала на хозяина своего и сидела уже у него на правой руке. Оказалось, что это была не сова, а дорогой белый кречет, и бил лучше всех соколов царских.

Злобные и завистные братья Зая-Туляка, отпуская придворных отцовских, сказали им притчу: «Тесно трем отросткам расти на одном корне и мало им пищи: если бы

подчистить и выкинуть один, который ближе других к дуплистому дубу, так двум остальным было бы попривольнее; перевели бы они дух и распустили бы широкие ветви, под которыми нашли бы со временем тень и нынешние их покровители». Придворные и сам Куш-беги, первый сокольничий — а Куш-беги, как и ныне, например, в Бухаре, был первый сановник государства — придворные промолчали; но когда заехали они с Шах-Заде, с сыном ханским, в далекую сторону, и когда неудачная насмешка над Зая-Туляком поставила их самих в дураки, между тем как у Туляка оказался первый по царству кречет, который побивал разом по семи гусей, — тогда взяла людей этих злость и зависть; они вспомнили слова и обещание двух князей, братьев Зая-Туляка, и стали совет советовать, как извести поверенного им наследника.

Зая-Туляк вышел в светлую лунную ночь из парчевого шатра своего, сел наземь и любовался божьим миром, между тем как юлдаши его, спутники, думали, что он давно спит; он услышал нечестивый совет вельмож и решил бежать. Подкравшись потихоньку к оседланному коню своему, снял он с него треногу, потрепал его, сел и поскакал. Но в стане сделалась тревога, закричали: «Атлемы! наконь!» погнались за князем и стали его настигать. Под ним была лошадь Тульфар, она сказала хозяину своему: «Ударь меня нагайкою трижды, и я тебя вынесу». Он ударил жеребца своего, и этот в три скачка принес его на гору Карагач, к озеру Ачулы. Погоня потеряла Зая-Туляка, а он спокойно лег отдыхать, пустив Тульфара своего на траву. Конь его проскакал по степи в таких широких скачках, что пустившиеся за Туляком не могли выследить его по измятой копытами траве: следы были затеряны.

Раскинувшись на одном из уступов Карагача, на котором, как показывает и само название, в те поры рос лиственный лес, Зая-Туляк закрыл очи, стал думать о том, куда ему теперь деваться, как вдруг услышал на берегу озера плеск. Зая-Туляк стал присматриваться, легонько подходить и его тянуло все ближе и ближе к озеру. Он увидел, чего еще никогда не видал: заря занималась, восток алел, утренние туманы развивались на поверхности Ачулы-куля — и среди туманов этих, как окутанная полупрозрачными тканями, плескалась дева вод, статная, гибкая, красоты непомерной, во всей прелести девственной полноты и миловидности. Она, не примечая Зая-Туляка, вышла на берег, села и стала расчесывать золотым гребнем черную косу свою, длиною в сорок маховых сажен.

Зая-Туляк не смелдохнуть; наконец, когда она закинула косу свою назад, во всю длину, он кинулся со всех ног — русалка прыгнула, как пух от ветра, на зыбкую влагу; но Зая-Туляк держал уже в руках своих шелковую косу и не выпускал дорогую свою пленницу. Русалка, скрестив руки на груди, оборотила к нему умоляющие взоры — но они изменили девственной жилище подводных чертогов: Зая-Туляк впился жадным оком в полуобращенное личико и держался за шелковую косу русалки, как юная угасающая жизнь хватается за преждевременно отлетающую душу. Русалка стала умолять Зая-Туляка: «Пусти меня, о, сын плоти! пусти; я живу спокойно и безмятежно в чертогах водных; пусти, ради себя самого; ты погубишь меня, но ты погубишь и себя!» Когда же Зая-Туляк не уступал и самым убедительным мольбам ее, а клялся следовать за нею и на дно озера, тогда русалочка обвила его своею мягкою косою и увлекла в глубокие воды.

Зая-Туляк увидел на дне озера роскошные луга, по которым ходили кони, быстрее и красивее коня Тульфара; посреди муравчатого луга стояла обширная белокаменная кибитка, устланная внутри дорогими коврами. Туда привела его русалка, обняла, заплакала и сказала: «Ты хотел этого — я твоя теперь; забудь прошлое, если можешь; не гляди на вольный свет, куда меня любишь; сиди здесь, не выходи из кибитки моей — я теперь твоя!»

Вскоре приехал к кибитке алый всадник в алом чапане, на алом коне, с алым соколом на луке седла: это был брат русалки. Она спрятала Зая-Туляка в свою девичью половину кибитки, за парчевый полог. Алый брат оглянулся в кибитке и сказал: «Сестра, здесь что-то пахнет человеческим духом. — Не мудрено, — отвечала улыбаясь русалка: — сами вы ездите на охоту по горам и дебрям; сам ты приехал теперь с лица земли, где живут люди, не мудрено тебе занести сюда и человеческий дух».

Немного погодя, приехал черный всадник: конь под ним вороной, чапан черный, шапка черная, оружие черное и черный сокол на передней луке. Это был отец русалки. «Никак, дочь, здесь пахнет человеческим духом, — сказал он. — Не мудрено, батюшка, — отвечала дочь: — только мне бы вас об этом спрашивать, а не вам меня. Вы приехали с лица земли; видно, вы или вороной конь ваш на копытах своих занесли сюда и дух человеческий».

Так русалочка таила от отца и брата любовь свою и выпускала Зая-Туляка из-за полога, только когда те отъезжали на ловлю. Она приносила любимцу своему, каждое

утро и каждый вечер, свежего кумысу, круту, салмы и баранины, и, поцеловав своего суженого, ставила перед ним сытные яства и напитки.

Однажды алый всадник, брат русалки, воротился домой рано и услышал, подъезжая, говор людской. Он стал допытываться, сестра ему во всем призналась и со слезами умоляла брата не сказывать о преступной любви ее. Брат побранил сестру и сказал, что надобно обо всем объявить отцу: его власть, его и воля. Черный всадник приехал, и брат с сестрою вместе встретили его и рассказали все. Русалка говорила: «Я не искала его, я не хотела его, я бежала от него и скрылась в заветное озеро; но он упорно держался за шелковую мою косу; я ушла на дно озера и потянула его с собою».

Черный всадник нахмурил брови — и весть разнеслась на ханском кочевье, на Диме, что Ачулы-куль прибывает, и быть бедс. Подумав и вздохнув, падишах подводный вызвал Зая-Туляка, сам же он не ступал ногою в заветный угол дочери, за полог, вызвал и расспросил обо всем. «Любитесь, — сказал владыка Ачулы и Кандра-куля, — любите, коли слюбились; тут делать уже нечего. Тебя, дочь моя, бранить не за что: это твоя судьба. А ты, Зая-Туляк, слушай: не бесчести дочери моей за то, что отдал я тебе ее без калыма, принеси ты в калым невесте свою любовь да совет, и не скучай с нею; а соскучишься — быть беде. Не ходи ты и на лицо земли: и там не будет вам блага, а пойдешь, погубишь и себя и ее».

Но Зая-Туляк, с этой самой поры, стал скучать в подводном тереме, в кибитке своего тестя. Русалка в одно утро ушла за кумысом шипучим, а Зая-Туляк вышел из кибитки и стал оглядываться кругом. Озеро поднялось высоко, обмывало уже уступы Карагача, а сквозь зеленую влагу его виднелись горы и леса, и верный конь Тульфар стоял на том же месте, громко ржал и топтал под собою землю. Туляку взгрустнулось; он вошел опять в кибитку, но русалка, воротившись, глянула на него и залилась слезами. «Ты выходил», сказала она, «ты выходил — о, зачем ты меня ослушался!»

— Я хочу опять на вольный свет, — сказал, подумав, Зая-Туляк: — сердце иссохнет, коли сидеть век свой в тюрьме этой. — Русалка молчала и плакала потихоньку, про себя. Воротился и черный всадник. Услышав обо всем, что было, он призадумался и спросил Зая-Туляка: «Есть ли у тебя земля и вода?» — Земля моя Балкан-тау, — отвечал князь: — а вода Дима, а все земли и воды, подвластные

Балкану и Диме, мое наследие. — «Ступай, — сказал старик, — коли тебе здесь не живется; ты не сосунок, тебя силою держать нельзя. Жена следует за мужем, а не муж за женою, это закон». — Русалка обвила мягкие руки свои вокруг Зая-Туляка и сказал: «Бери меня, вези меня, куда хочешь — я твоя». В первый и в последний раз, сказывают, прослезился тут и сам старик.

«Вот вам конь верный, — сказал он, — садитесь и ступайте. Зая-Туляк! не забывай, если можешь, что ты отныне сам себе судья, а дочь моя покорная рабыня. Дарю тебе обзаведение, на початок хозяйства, небольшое приданое; когда выплывешь из нашего озера, то скачи, без оглядки, прямо на Балкан, и не оглядывайся, поколе не будешь на Балкане, хотя бы за тобою небо треснуло и земля рассыпалась. Зятю должно довольствоваться тем, что от тестя получил; а преждевременное любопытство ему не идет».

Зая-Туляк подошел к коню, русалка подала ему стремя, он сел, взял ее на колена и помчался. Зеленая вода вскипела белым ключом под копытами доброго коня, и выбравшись на отлогий берег, пустился он стрелой к востоку на Балкан. Зая-Туляк услышал за собою ржание, топот и страшный шум и плеск в волнах — он невольно оглянулся и только успел увидеть, что из озера выплывает, следом за жеребцом его, целый табун отличных коней. Но за Туляком последовали те только лошади, которые были уже на берегу; все те, которые еще только было выплывали, потонули снова и исчезли в ту минуту, когда Зая-Туляк оглянулся. От этих-то лошадей, подарка ачулынского надишаха, произошла порода лучших димских башкирских коней. Ныне порода эта перевелась и переродилась; ныне лошади хотят корму и с трудом перемогаются зиму на тебеневке да на каизе, на рубленых древесных сучьях; древняя порода, которую славились димские башкиры, со времени Зая-Туляка, бывала сыта с одного гону, а корму не спрашивала.

Молодой князь с русалкою поселились на Карагаче, где князь нашел и покинутого коня своего, и жили они несколько времени спокойно. В одно утро русалка, скупавшись в озере и расчесав долгую косу свою, подымалась на гору, как услышала, со стороны Димы, глухой конский топот и увидела пыль. Чуткое сердце ее не обмануло; она прибежала в слезах к Зая-Туляку и сказала: «Отец твой шлет за тобою погоню!» Туляк думал было противиться силою, потом хотел бежать, но она умоляла его остаться, не противиться воле отцовской, следовать за по-

сланными, не говорить никому о тайной любви своей и воротиться на Карагач, когда и как будет можно. «Бежать тебе некуда», говорила она: «прошлого не воротишь; на дне озера со мною уже по-прежнему жить не можешь — это миновалось, как сон!»

Самар-хан, услышав от воротившихся вельмож, что сын его бежал — о причине этого побега придворные благоразумно умолчали, — послал сорок тысяч войска искать сына по целому свету. Войско это приближалось теперь и уже открыло следы нового жилища молодого князя; Зая-Туляка взяли и повезли к отцу, а русалка, выждав на мысу большой Нра приближение посланных, кинулась с крутого берега и исчезла.

Когда до хана дошла весть, что сын его найден, то он, сомневаясь в любви его и приверженности, вздумал его испытать. Для этого Самар-хан посадил в кибитке своей одного из подданных в великолепной одежде на престол, а сам, в простом синем чапане, стал у дверей перед входом. Зая-Туляк, проходя мимо, узнал отца, изумился, но вошел в кибитку, где, как говорили ему, восседал хан, поклонился мнимому властелину и сказал: «Как изменчивы времена! Прежний хан стоит у порога, а бывший раб сидит на престоле!» Самар-хан, разгневанный равнодушием и холодностью сына, велел на месте выколоть ему глаза и отвести сына на Карагач; но вещей дух русалки парил над несчастным своим любимцем: палачи Самар-хана не успели еще приступить к сыноубийству, как совершилось чудо: Зая-Туляк в горести своей закрыл лицо руками, и глазное яблоко выкатилось из обоих глаз целиком к нему в руки. «Бог отомстил за меня», сказал Самар-хан. Палачам не надо было трудиться, и ослепленный сын царский был отвезен и брошен на произвол судьбы, на угор Карагача.

Верная русалка, разметав шелковую косу, которую не чесала со дня отбытия любимца своего, стерегла уже и ожидала друга: она коснулась устами очей Зая-Туляка,дохнула на них, и они снова ожили и заиграли по-прежнему в своих ямках.

Лишь только Зая-Туляк прозрел, как стал он снова скучать бездействием своим и одиночеством. «Пойдем жить на Балкан», — сказал он своей русалке: «С Балкана видно далече во все стороны: мы будем знать и видеть, где что делается, и это будет жилье, приличное ханскому наследнику! Карагач — гора для меня место низкое».

Русалка заплакала, только молчаливой лунной ночи поверила она одинокую грусть свою, вышла на тихое озе-

ро, любовалась серебряным его отливом, села на берег, на крутой мыс, и тихо запела:

«Не лепите, пчелки, сот своих в диком бору: медведь придет и выдерет, а вам покинет дупло; не носите, русалочки, тихое блаженство свое в люди: люди попрут его ногами, а корысти им с него будет мало.

«Оглядывается красное солнышко с заката на восход прошлый, да не воротится; не видеть вечерней заре зорюшки утренней! Оглядывайтесь, сестрицы, на свою зорюшку утреннюю — да не воротить вам ее, не любоваться ею в другожды!

А дважды василек в землю ложится: из земли вышел и в землю падет прах его. И ты не лучше василька небоцветного: не выходить бы на свет — а вышла, так набедуешься, поколе не приклонишь головку к лону родной матери!

Желна черная и белая лебедка в отлет летят, а теплынь придет, опять домой к родному гнезду тянутся; а мне, сиротке, от живого отца, мне во веку не видать струн твоих, Ачулы-куль родимый, серебристый мой!

Прости, сказал мотылек родимому стебельку, родному зеленому лугу, когда пришла пора, что подул ветер полуночный, заволок заповедные луга сизым инеем, зазнобило мотыльку летки и щупальце: прости, говорит свободнорожденная дочь Ачулы-куля родному озеру, Карагачу лесистому, Ташбуруну каменному, Тирень-колу холмистому! прости, говорит она, родным берегам, колыбели своей, Ачулы озеру!»

Так русалочка поплакала одна над родным озером своим, а Зая-Туляку она улыбалась. Они перекочевали на Балкан; но едва успели они там поселиться, как русалка, на рассвете, снова послышала чутким ухом своим тонот конский, увидела отдаленную пыль. Она прибежала к князю своему и молвила: «О, Зая-Туляк! было время, когда я, услышав шум и топот, спешила схорониться в волнах Ачулы-куля и в объятиях верной стихии находила спасение; теперь ты щит и защита моя, и я надеюсь только на грудь твою! Но, Зая-Туляк, ты меня не спасешь на этот раз, а кроме тебя, у меня защиты нет! Слушай, князь мой! за тобою опять идут; повинуйся и иди, искушение чересчур велико, ты не устоишь, и я тебя держать не хочу! но, Зая-Туляк, помни последние слова мои: сорок дней и сорок ночей я буду сидеть здесь на Балкане и буду по тебе плакать; если ты не воротись через 40 дней и 40 ночей, тогда ты найдешь меня, как находят алый цвет на зеленом

лугу, по которому прошло войско отца твоего, Самар-хана, а растоптанный цветок не оживет — это помни!»

Вельможи и войско подошли с великими почестями к Зая-Туляку, объявили, цветистою речью востока, что душа отца его, хана Самар-хана, воспарила по пути, указанному душами отошедших, в рай небесный великих праотцов; народ и войско зовет Зая-Туляка на ханство.

Молодой князь хотел оглянуться на свою деву вод, но ее уже не было. Его посадили на покрытого богатою попоною жеребца и повезли на Диму, а восемь нукеров шли во всю дорогу пешком и вели поочередно жеребца его под уздцы.

Справив, по закону, богатую тризну по отце, Зая-Туляк принял старшин, посольство от народа, приглашавшего его на ханство. Народ и войско качали молодого хана своего на руках, и на руках же, подняв выше голов своих, возвели на ханство — таков был обычай. Шумная многотысячная толпа пировала и ликовала, стекшись с целого владения. Берега Димы не могли поместить на себе бесчисленного множества кибиток; земля стонала от топота конского и людского; солнце устало светить пирующим и ликующим гулякам. Настала ночь, и огромные костры запылали, и солнце взошло снова, и костры еще дымились, кумыс играл в огромных чашах, в сабах и турсуках, чибызга напевала веселье.

А Зая-Туляк, посидев на престоле, соскучился опять по любимице своей и тяжело вздохнул, когда, оглянувшись во все стороны, увидел, что в целом ханстве его нет подобной. Ему наскучило быть и падишахом без нее, и он хотел уже отправить за нею послов, когда вспомнил, что заветный срок, сорок дней и сорок ночей, были уже на исходе. Он кинулся сам на лучшего скакуна своего, на котором вывез деву из Ачулы-куля, и поскакал один к одинокому Балкану.

Скоро бежит конь под Зая-Туляком; но какой конь обгонит солнце, и какой конь воротит его на сутки и добежит до озера вчера, коли поскакал сегодня? Зая-Туляк зовет отчаянным зовом деву свою, а она молчит, потому что мертвые не говорят. Не встанет алый цвет, не подымет он бархатной маковки своей, коли через луг пронеслось грозное войско Самар-хана. Зая-Туляк нашел русалку свою на том же месте, где ее покинул, на вершине Балкан-тау, но она лежала, как василек после покоса.

Зая-Туляк выкопал булатным копьем своим двуложную могилу на вершине Балкана и золотым шлемом своим вы-

бирал из нее землю: положил он в могилу это белое тело дeвы Ачулы-куля, закололся тем же копьем и упал мертвый на верную свою подругу.

Народ и войско долго искали своего хана и засыпали его наконец землю в изрытой им же самим могиле. Братья Зая-Туляка резались за ханство, и все погибли: с тех пор народ утратил падишахов и ханов своих навсегда, растерялся и разбрелся по отрогам и долинам Урала.

Стало быть, Ачулы-куль и в те поры не даром взволновался и залил широко и далеко все берега: Самар-хан выколол родному сыну своему глаза, потом могучий хан скончался — а за ним погибли и Зая-Туляк, и бедная русалка, царевна Ачулы-куля, и брат поднял руку на брата, и целое царство рушилось.

ОХОТА НА ВОЛКОВ

В молодости, в полном здоровье и силе, иногда весело бывает порыскать на просторе, по горам и угорьям, по нивам и по равнинам, по густым борам, прислушиваясь к токованию глухаря, и скрадывая его, когда он сам себя заслушается и ничего не слышит и не видит, — то мочажинами по чистой поляне, где чуткая собака делает мертвую стойку на молчанку или белокуприка, которого у нас принято называть нерусским именем дупеля, — то чистокустьем, молодым березняком, где sluка или боровой кулик, самый лакомый кусочек сластоежек, взвивается перед тобою столбиком, со своим особенным, густым свистом и бульканьем, — то, закинув гончих в остров, стоять, притаясь на лазу, следить ухом за отчаянным, заливным лаем их, более похожим на голосистый, певучий вой; го-го-го! вторит им усердный псарь — голос его обращается сюда, в эту сторону — лай и завыванье слышатся сквозь трущобу ближе и ближе — ясно узнаешь каждую гончую по голосу: вот *дошлая*¹, заливается плачем, будто боится упустить добычу, вот *турка* вторит густым ободрительным ревом, вот *ширяй* отрывисто подхватывает, а *мухартая* разливается колокольчиком: ай, ай, ай, ай!

Грудь на просторе широко дышит, суетные заботы покинуты на время там, далеко, в душном городе; в этом муравейнике мелочных страстишек, дрязг и сует человек на время отрешился от всего, что гнетет и томит, он один с природою, с глазу на глаз, и будто ему ни до чего в мире нужды нет... Но и это ненадолго: он рассыпает избыток телесных сил своих по полям и горам, он освежает дух свой, пригнетенный одною умственной деятельностью, он будто

¹ Курсив здесь и далее — *авт.*

в знойный, удушливый день выкупался в безграничном море, кинувшись беззаботно, торчмя головой, в бездну его, и освежась и укрепясь живительною силой природы, бодро возвращается опять к своему долгу. Работе время, досугу час.

Была сказана охота на трое суток: первый день на зайцев, другой на тетеревей, третий на волков. Эти охоты, кои называются отъезжим полем, где кочуют станом и сходятся в урочный час на урочных местах, теперь становятся редки, а в былое время всю осень, с Семена-дня (сентяб.) и до пороши, охотники проводили гурьбами в отъезжем поле.

Под угорьем Урала, в самой Башкирии, жил барин во всем крае том известный владелец. Дед его купил у башкир сотню тысяч десятин чернозему, лесу, гор, рек и озер, со всеми угодыями, среди непочатой дикой природы, переселился туда с целым полком крестьян, породнился через женитьбу с татарами, взял в приданое большое татарское село, и все поколение этого рода славилось в крае богатством, хлебосольством и гостеприимством. Этим-то барином сказана была охота, как всегда водилось, на полном угощении радушного хозяина. Это делалось очень просто: он давал знать немногим окружным помещикам и в Оренбург, что в Ташлах охота, сбор с вечера, такого-то числа; и кто мог отлучиться от дел или службы, являлся на место, проскакав слишком 200 верст на башкирских лошадаках с личною упряжью. Случалось, что и первый приступ этот стоил иному коли не головы, то руки или ноги: верховых, одичалых коней, не бывавших в упряжке, хватали с паствы, целая деревня сбегалась для закладки их, башкир, отроду не правивший вожжами, не только тройкою, вскакивал на облучок, между тем толпа окружала и держала лошадей, стараясь уговорить их то лаской, то угрозой, путник садился в кузов, и за словом: «Пошел!» — вся толпа разом, с криком и гиком отскакивала в сторону; изумленная тройка с места подхватывала во весь дух и мчалась, не разбирая ни пня, ни колоды, до места; тут опять выбегала на встречу такая же безалаберная, шумная толпа запрягальщиков, которая с трудом останавливала разлетевшуюся тройку, между тем как другие кидались опрометью в поле, хватать укрюком первых попавшихся им лошадей.

Съезд был изрядный; веселый хозяин ходил по всем комнатам, где расположились гости, шутил, смеялся, иногда и подсмеивался, а вокруг все были заняты пересмотром ружей, насыпкой пороховниц и дробниц; а более также

веселой болтовней; тут был и памятный доселе в том краю, всеми любимый записной охотник, не унывавший никогда, нигде и ни при какой невзгоде, и умевший смешить всех самыми пустыми и пошлыми остротами: он стрелял слуку по сарафану, утку по салопу; он зайцу задавал прыску вдогонку, убив его, никогда не забывал отдать ему последнюю честь, приложив руку к козырьку, — словом, как я сказал, пошлые ничтожности выходили у него до того, что даже Пушкин, познакомясь с ним в Оренбурге и попарившись у него в бане с расписанным охотою передбанником, прислал ему после своего Пугачева, но забыв прозвание его, написал: «Тому офицеру, который сравнивал вальдшнепа с Валенштейном». Был тут и необходимый при всяком подобном случае охотник, на которого будто судьба наложила обязанность невольно забавлять собою общество, не смешить его, как тот делал, дешевыми остротами, а странностями и чудачеством своим, опрометчивостью и неудачами.

Вскоре после шумного ужина все улеглись — завтра вставать до зари — лишь несколько отчаянных кузнецов проковали всю ночь в четыре кулака по зеленой наковальне, или, как выражался остряк, занимались руководством шайки пятидесяти двух разбойников, т. е. играли в карты. Все мы до зари вскочили бодрые, веселые, полные надежд на великие охотничьи подвиги, а эти несчастные ковали, не смыкая глаз во всю ночь, бродили бледные, растрепанные. После перехватки на скорую руку, все уселись на тарантас, попросту на дроги, где помещается человек до двенадцати, и радостно понеслись в поле. Тут всех развезли по шалахам, подали знак рогом, и конные загонщики тронулись в ход со всей округи.

Дело это устраивается так: тетерева с ранней весны рассыпаются врозь по всему простору мелкого леса, березовых колков, полей, где и выют на земле, в траве и под кустами, гнезда; в это время они так ловко прячутся, что матки почти не удается видеть, а разве только наткнешься иногда на косача, т. е. петуха. Высидев цыплят, от 10 и 20, тетерка водит их, как курица, и в июле хорошо стрелять молодых из-под собаки; вырастив цыплят, тетерева начинают статься, днем летают на кормежку стаями на хлеба, особенно когда хлеб уже в копнах, а к ночи отлетают в ближние леса; на зимовку же, когда в этих местах, столь привольных по осени, все покрывается снегом, и зерна с земли не добудешь, они подаются далее в глушь, в дремучие хвойные леса, где клюют хвою и хвойные шишки. Вот во вто-

рой-то промежуток времени, когда они держатся в мелких лесах большими стаями, их бьют на чучела: ставят в открытых местах на полянах сухое или очищенное от листвы дерево, на которое вообще птица охотно садится, сажают на дерево это чучело тетерева или грубое подобие его, сшитое из сукна и набитое сеном, либо такой же, окрашенный деревянный болван, а шагах в двадцати от него ставят соломенный шалаш, где укрывается охотник; пролетая взад и вперед, особенно коли их в других местах сгоняют, тетерева, принимают безобразное чучело это за своего брата, приседают к нему сбоку, и охотник стреляет свою добычу, подбирая ее после за один раз под сухим деревом. Эта охота бывает удачна по зорям, потому что тетерева днем отлетают, как сказано, на хлеба, а в лесах только ночуют.

Я сел себе в просторный, вязанный пучочками соломенный шалаш, прорезал охотничьим ножом окошечко вершка в два, против чучела, осмотрел еще раз исправность ружья, и прилег боком, в ожидании прилета живых чучел.

Воробей, подумал я, не похож на умного человека, а между тем много хитрее этого простака. Тетерев, он же березовик, полевой тетерев, палюк, палянс или пальник, будто бы оттого, что любит паленые, горелые места — сторожек, человека на выстрел редко подпустит, но в обман дается на все лады: не только попадает он в снопах в плетенки, силки, не умея отпутать петли он ноги, не только кроют его всей стаей, шатром, большою сетью, он валится даже в корзины и верши: ставят в поле ивяную плетушку, с крышкой на чебурахе или на перечале, т. е. которая перевертывается, опрокидывается; вершу эту обставляют снопками, целая стая падает на поддельную копну, а кто попал на крышку, тотчас проваливается; крышка опять устанавливается, и ближайший сосед погибшего, не чая худая, пользуется простором и садится на его место — где его постигает та же злая участь! Да чего, дело строится еще проще: ставят плетенку, долгую, узкую кверху, с отверстием по гребню во всю длину, не шире четверти; вдоль этого отверстия протягивают бечевку, обвитую соломой, и всю плетенку обставляют снопами: тетерева смело и не задумавшись с разлету садятся на продольный жгут, который, перевертываясь у них под ногами, роняет их в плетенку, а следующие собратья погибшего спешат занять его место!

Таким образом случалось, что вся корзина набивалась доверху птицей, и остальным глупышам уже не опасно было сидеть, потому что некуда было провалиться. Но еще забавнее, это стрельба на чучела: безобразный суконный

болван, в котором едва узнать можно подобие птицы, с красными бровями и целой заплаткой на боку — это для них приманка, тогда как для всякой другой птицы это могло бы служить только пугалом...

Сильный внезапный шорох, будто градовая туча разразилась над моим соломенным шалашом, заставил меня вскочить на колени — я припал глазом к оконцу; целая стая тетеревей покрыла собою обольстительное чучело, сухая береза словно ожила, ни сучочка свободного, косачи и пеструхи (курицы) обсели всю — а над головою моею что-то переступало по соломе, очевидно, что и там уселась часть вереницы. Я легонько высунул дуло ружья в оконце — и три тетерева на заряд пали, глухо грянувшись оземь.

Так шло дело еще часика два, и я слышал частую перестрелку во всех окружающих шалашах, расставленных на полверсты ближе один от другого. Пора лету прошла, и по часам была время идти на сборное место; я подобрал 28 тетеревей, лежавших грудой под сухой березой, и они мне порядочно оттянули плечи.

На стану уже издали слышались крик и шум, и хохот, между тем же раздавались выстрелы, и после каждого заливной хохот веселой братии усиливался; оказалось, что проказник и невольный потешатель наш выпустил уже восемь зарядов по сидящему на высокой сосне косачу и спешил снова заряжать ружье; между тем тетерев сидел себе преспокойно, не удостаивая смертельного неприятеля своего никакого внимания. Это было нарочно для такой потехи посаженное чучело, а молодой, горячий стрелок до того распалился, что ничего не видел и не слышал; общий же хохот принимал он лишь за насмешку над тем, что он не попадает в птицу!

Когда все сошлись, то начался смотр: на двух жердях, в голове расставленного на земле обеда, красовались, ожидающие приговора, награды: дубовый венок и шапка с ослиными ушами, искусно сделанная из лапушника, чертополоха и тому подобных милостивых растений; первый назначался царю поля, тому, кто всех обстреляет, вторая — последнему по искусству или по счастью. Бесспорно первым оказался наш булагур, хороший, ловкий стрелок, который опытным глазом выбрал себе лучшее место, шалаш на перелете; последним же — на бедного Макара шишки валяются — Кипяченый, как его прозвали, который, как мы сейчас видели, не смог убить неживой тетерки! С ним, сверх того, случилось еще другое дивное приключение: при счете дичи у каждого, общим обходом, по кучкам, в числе пятка

тетеревей, у *горячего* оказалась лысуха; откуда она взялась — этого никто не знал или не говорил, но она была тут, на лицо, в одной связке с тетеревами — лысуха, дрянная болотная птица, которой никто не стреляет, и сверх того, убитая заместо косача, на дереве!

В таком братстве смех дешев, и повальному хохоту не было конца. За плохую удачу, да еще за подлог, *горячему*, по общему приговору, поднесена была почетная шапка с ушами.

Эта шутка вскипятила *горяченького* так, что сердце чуть было не перекипело; вот правду говорят наши пословицы: всякую шутку к себе применяй, и шути, покуда краска в лицо не выступила! Но любимец наш, балагур, мигом все дело поправил, успокоив одного и потешив всех: «ну, что ты белендрясничаешь, сказал он, эка невидаль! Ну, давай меняться, бери мою шанку, давай свой колпак!» «Давай, — отвечал тот сгоряча, забыв, что он от своего лопушника отрекся; — только с тем, чтобы ты его надел!» «А ты бы как думал, возразил этот, ведь не во-щи ж его крошить, разумеется надсну — ну да уж и ты же надсвай свой!» Теперь уже тому никак неловко было снова отказываться и оба, ко всеобщей потехе, обменявшись наградными знаками, наложили их на головы.

— Господа, — сказал хозяин, — чини праздника нашего немного изменился, надеюсь, не в убыток нам, ведь день-то велик, до вечера долго, что ж мы будем на боку лежать? Едем сейчас на зайцев, все готово, а к сроку опять все будем по шалашам!

На русака ордою ходить неудобно, разве растянувшись порядком, ровняться, идучи наудачу; русак лежит розно и притом на степи или в поле, всегда на чистом месте; но на беляка, который почти один только и есть в тех местах, хорошо ходить и многим вместе: с одной стороны вокруг лесного колка или острова становятся стрелки за кусты или деревья и по опушке, а с противной стороны заходит облава, цепь загонщиков, и проходит с гиком лесом насквозь, или в остров закидывают гончих, а стрелки провожают их по обе стороны, опушкой, а борзых, коли оне есть, держат на сворах в отдалении, подхватывая то, что уходит из-под ружей.

Только что гончих спустили со смычков и псарь запорскал, как выстрелы посыпались горохом. Заяц лисьих уловок не знает: отлеживается донельзя, а вскочил, так побежал зря, на кого наткнулся. У русака есть еще кой-какие смелые, отчаянные хитрости, а беляк прост. Русак иногда

поводит сперва собак накоротке, как бы испытывая бойкость их, так что не знаешь, кто кому дает угонки, собаки ли зайцу, заяц ли собакам; поумяв же их порядком, как поддаст прыти, да как пойдет стрелой напрямик, так только его и видели! Другой же даст собакам натечь во весь дух, подпустив их вплоть, вот только ухватит щипцом, да мигом припадет: все собаки через него перенесутся, а уже он где — прямехонько назад себе удирает; собаки размечутся врозь, еще скоро ли возрытятся опять! А еще лучше штука у него есть вот какая: разгонит он собак во весь дух, а потом маленько отдаст, те приблизятся вплоть вот уже облизываются — а он прыжка кверху, аршина на четыре — собаки, те все под ним прометнутся, а он как пал на землю, так во все лопатки назад!

Да, русак в отчаянном случае и смел, и находчив. Расскажу вам про инвалида, искалеченного на войне с зайцем, один на один, так что дело это почти можно назвать поединком или единоборством!

Охотник, которого несчастнее не знавал я во всю жизнь, потому что он в минуту спуска курка всегда вздрагивал и опускал дуло, и никогда ничего не убивал, — охотник этот однако же был неутомим на ходьбу, необычайно зорек, так что усматривал почти каждого зайца на логве — что очень трудно — и потому, не смотря на зарок после каждой попытки, все-таки опять ходил на охоту. Прошлявшись однажды зимою целый день, стрелявши по двадцати зайцам и не убив ни одного, он шел, в отчаянном расположении, домой. Подходя к городу, где были огороженные плетнями капустники, он однако же не мог утерпеть, чтобы не подойти к ним и не поглядеть через плетень; по первому взгляду острый глаз его наткнулся на русака, спокойно лежавшего в борозде... «Постой, — подумал он, — этот от меня не уйдет», и обойдя наперед весь огород кругом, он отыскал худое место, где заяц, как и по следам видно было, пролез, заделал место это и забил снегом, а потом, не трогая заваленной сугробом калиточки, перелез через плетень, сдвинул ружье, прицелился раз, другой в кочку — кажется, я очень верно прикладываюсь и выдерживаю — авось попаду!» Он подошел близехонько, выпалил, заяц вскочил и пошел в огород на кругах... Отчаянный стрелок ударил ружье обземь, но оно в мягком снегу уцелело. Зарядив его снова, он подбирался к зайцу, которому некуда было выскочить, со всех сторон и на все лады, — все хотелось поближе — и стрелял еще раза два — нет, не берет! Увидав в это время прохожего мальчишку, он подозвал его и устро-

ил такую стратегию: присев в угол огорода на корточки, он велел мальчику гонять зайца, надеясь, что этот набежит на него близко, а он наконец-таки его убьет. Отчаянный русак, не зная куда от этой напасти деваться, разлетелся со всего духу на кочку в углу, которая могла послужить ему приступком — не заботясь о том, что кочка эта живой человек, охотник с ружьем — и в одно мгновение раздался выстрел, а русак, перескочив, с помощью кочки, через плетень, неся уже далеко... но он неосторожно ступил на подмости; несчастный охотник стоял и упирался в два кулака, снег вокруг него обливался кровью; упор позанок пришелся прямо в лицо бедняку, и заяц разодрал охотнику губу на вершок...

Но пора воротиться и к нашим стрелкам. Пальба шла кругом, зайцы валились, и вдруг к одному убитому подбежали два охотника, и каждый потянул было зайца к себе; один из них горячился и кричал, утверждая, что он его убил — и разумеется, что это опять был роковой *горячий*. Третий охотник подошел, взглянул на место, где кто из них стоял и как бежал заяц, осмотрел его, чтобы видеть, с которой ударила дробь, мигнул товарищу и приговорил зайца *горячему*. Мигом разошлась по всей цепи стрелков весть, что *горячий* отжилл чужого зайца, и что за это надо его обвешать. Обвешать охотника называется то, что теперь последовало: кто бы ни убил зайца, всякий спешил отнести или отослать его к *горячему*, с уверенением, что это его заяц, тот самый, по которому он недавно стрелял, и что заяц, недалеко отбежав, упал... Несколько изумленный, но обрадованный удачею и никакого умысла не подозревающий, *горячий* стал молча вторачивать зайцев своих в торока, и не успел оглянуться, как ему подвалили их едва ли не более, чем могла поднять лошадь! Тут только разгадал он загадку и снова бедняга стал общим посмешищем. Зайцев разобрали по рукам.

Вечером опять сидели мы по своим шалашам, и пальба шла беглым огнем. Следующий день прошел точно так же, утро и вечер на тетеревей, а день — на зайцев. Без разных проказ не обошлось; но для примера довольно будет и одного: когда все гурьбой тронулись в путь на зайцев, то посланный башкир потянул *горячего* за локоток и, отведя его в сторону, указал на зайца в логове. Тот с пылу за ружье и положил его на месте. Все на выстрел прискакали, дивясь счастью охотника. Между тем башкир скрылся, а один из охотников спросил: «Что это у зайца в зубах, посмотрите! «Сам хозяин, *горячий*, вторачивая зайца, выдернул у

него изо рта бумажку... «Письмо, письмо, — закричали все, — к *горячему* заячья почта ходит! Читайте, читайте вслух...» Тот, развернув записку, стоял как растерянный, а другие за него прочитали: «Меня убил Иван Павлович Горячий» — месяц и число...

Пришел и третий день, черед волчьей охоты. Тут пошли иные приготовления: ружья, в кои уже едва проходил шомпол от нагару, перемывались; доставали дробь-безымянку, самую крупную, да жеребейки; все это делалось уже утром, потому что торопиться было нечего, на волков рано выходить нельзя, а уже так, как солнышко обогреет. Волк ночью на промыслу, рыщет поблизости жилья, а как день наступит, так он пробирается в лес, и притом обычно ночует в одном логове, покуда его кто там не обеспокоит. Пользуясь этим, волков наперед разведывают, высматривают по зорям, а по ночам или с вечера подвывают. Для этого опытный и умеющий охотник идет еще засветло в те места, где подсмотрены волки и предполагается логово их; это особенно удобно позднюю осенью, когда прибылые уже подросли, но еще не покинули гнезда, а шатаются и ночуют еще при старых. Выбрав безопасное место, например, на дереве, а всего лучше на скирде сена, с того боку лесу, где у волков лазы, то есть тропинки, подвывальщик ложится там и, выждав сумерки, по временам начинает выть по-волчьи. Коли волки тут — они отзовутся, и даже подбегут ближе, чтобы завести новое знакомство; они слышат, что должен быть пришлый собрат, голос чужой, его тут не было слышно. Разохотив их несколькими приемами, подвывальщик достигает того, что все, сколько их есть поблизости, поочередно подадут голос, и таким образом верно знает, сколько волков здесь ночует. Для верности он поверяет их не один раз, по зорям, как поверяют солдат на перекличке, и верно знает им счет.

Но волк догадлив, осторожен и притом труслив: малейший шум или тревога поднимают его с места, и он уходит прежде, чем его увидишь. Его надо обмануть и исплощить, иначе он не дастся. Он нагл и дерзок только там, где видит, что осилит, где их много, или где голод довел его до лютости. Когда сидишь ночью с ружьем в яме или в шалаше, или в сельской баньке на конце селения, подстерегая волка на падали, то видишь, с какою он осторожностью подходит, как он издали кружит около, туда и сюда, останавливаясь по часту и подымая чутье высоко на вытере, как потом крадется, останавливаясь и поглядывая на жилое место, а редко оглянется назад, где у него лес и поле;

если темно и трудно рассмотреть, волк ли, или собака подошла к приводе, то едва ли ошибешься по простой примете: волк становится у падали всегда задом к полю, головой к селенью, хотя бы оно было и далеко от этого места, а собака, напротив, подходит со стороны селенья и рвет приводе глядя на лес. И тот и другая знают, откуда ожидают врага. Волк очень верно слышит, откуда идет звяга, лай или крик, тотчас вскакивает, и недолго прислушивается, чтобы сметить, мимо ли его проходит шум этот, или подвигается к нему: как только он убедится в последнем, так бежит напрямик в противную сторону, а подбегая к опушке, много раз останавливается, послушивая, высматривая и причуивая, нет ли тут на выходе какой опасности; если же чуть что проведает, то сворачивает лесом же вбок, и его на опушке не увидишь, а разве только услышишь по шороху.

Опытные подвывальщики обещали нам удачную охоту, если только какая-нибудь случайность не испортит дела; но для этой случайности довольно упустить до времени одну собаку, или, подходя к лесу, лишку пошуметь, проскакать с топотом, громко перекликнуться и прочее. Подвывалы передали только ближайшим доверенным своим, что ими насчитано в двух местах, по голосам, 23 волка!

Когда уже солнце стояло вполдерева, то мы, хорошо позавтракав, поднялись; чем ближе мы подъезжали к месту, все верхами, чтобы не было стуку от колес, тем тише беседовали. Псаря с гончими своротили вбок, чтобы объехать лес поодаль, стрелки подались в противную сторону, а ловчие, с борзыми на сворах, рассыпались порознь в обе стороны, чтобы издали обнять лес, став на видном месте, однако, за кустом или за холмом, откуда бы можно было перенять выбежавшего из лесу зверя. Мы вскоре передали лошадей своих стремянным, а сами пошли пеши к лесу, где стали на опушке, по удобству, за пнем или за кустом, на полтора выстрела друг от друга. Долее часу длилось томительное ожиданье, для каждого в одиночестве; целый табор, поднявшийся с места, будто утонул в лесу — и вокруг не слышно было ни звука.

Солнце начинало припекать. Я вышел осторожно несколько шагов назад, к полю, чтобы оглянуться, заметить для осторожности, где стоят оба соседа мои; я стоял задом к дремучему лесу, передо мною расстилалась большая поляна с реденькими кустами кой-где по холму, из-за которого виднелась только голова всадника, ловчего с борзыми, а далее — лесные островки с перелесками. Вдруг издали,

казалось весьма далеко, раздался мягкий, голосистый рог нашего хозяина — сердце дрогнуло, я кинулся на свое место, под невысокую, развесистую ель, которая бы хвоей своею меня сверху прикрывала и затеняла.

Этот тихий, одинокий голос рожка, который замер на просторе, пробудил с противоположного края леса звонкие отголоски: зычные, высокие голоса псарей проснулись. Го-го-го! — раздалось вдалеке, как крик лебедей под облаками, и вслед затем звяла выжлаков, стаи гончих... ближе и ближе — вот напали на след и гонять по красному зверю! О, это не гавканье по зайцу — это отчаянный вой, это лютый, неистовый лай, это и плач и хохот вместе — пошли по зрячему, и неумолчный, заливной, исступленный крик псарей слился в одно с отчаянным лаем и воем гончих...

Влево, на завороте леска, раздался выстрел, и другой, и третий, и наконец до десятка — шум и крик сделался общим, весь лес ожил, целая стая волков тремя кучками прорвалась между стрелками, четыре волка пали на месте; остальные, частью раненые, понеслись в разные стороны; одному хозяин наш заскакал было дорогу, и тот бросился на него, вскочив лапами на грудь; этот ударил его кнутовищем арапника по рылу, лошадь взвилась на дыбы и подмяла волка копытами; собака натекала и ловчий приколол зверя; гончие с псарями прошли насквозь и понеслись за разбитой стаей; в поле ловчие принимали встречу этих смиренных головорезов, спуская на каждого по доброй своре, и по две, — все понеслось вперед, и мы, ружейники, кинулись на коней и поскакали в разные стороны, кому где видна была битва. Шум, крик, лай, пальба, — все это будто потоком вылилось из лесу и разлилось по всему околотку.

И собаки, и охотники и вся охота разбились врозь, потому что 23 волка, как сосчитано было подывалами, вдруг прорвались в трех местах и, рассыпавшись, неслись во все лопатки от леса к лесу. Я напал на одинокую свору борзых, без ловчего, уцепившихся по обе стороны за уши волку: они сильно запыхавшись и храпя от злости, как клещи, впилась в серого вора и только изредка перехватывали быстро, не давая ему повернуться и закусывая дальше и глубже, а серый, хорошо понимая, что тут, где кругом идет крик, лай, улюлюканье и хлопанье арапниками, не место храбриться, серый тащил на себе шагом упирающихся во все четыре ноги собак, добираясь до близкого лесу. Я соскочил с лошади, ухватившись за ружье, — но стрелять было нельзя, собаки по обе стороны лежали вплоть бок о бок

с волком; я выхватил кинжал и поймал было волка за полено (хвост), но лошадь, коей повод у меня закинут был на правой руке, фыркнула, рванула и отдернула меня от волка; я метался в отчаянии, но не мог сладить: волк, покачивая головой, будто в хомуте, тащил за собою собак и близился к лесу: там бы он тотчас заговорил не тем языком и легко бы мог вырваться, стряхнув с себя собак, и поранив их, уйти. К счастью, один из ловчих, с привычным конем, прискакал на помощь, кинулся кубарем с седла, бросив мне повод, и, дернув волка сильно за полено, запустил в него весь кинжал. Не теряя ни минуты, я поскакал дальше и поспел еще на одну травлю, вернее гонку: из числа прорвавшихся разом волков, некоторые успели проскочить в поле без погони, потому что собаки и ловчие увязались уже за другими волками, — такого-то тяглеца подметили трое башкир и принялись, без собак, давать ему угонки; я подоспел еще вовремя: и волк, и лошади башкир уже сильно устали; я догнал его на свежей лошади своей и, отрезав от лесу, поворотил опять на башкир; я даже ударил его нагайкой по голове, и он только с робкою дерзостью оскалил на меня зубы, думая очевидно только о том, как бы уйти. Но один из башкиров удачнее моего отвесил ему по рылу остолбуху, а другой, наскакав сбоку, мигом накинул на него аркан и поволок за собою: волк обеспамятел, и все трое, не дав ему опомниться, бросились на него с лошадей, скрутили его и сострунили, то есть перевязали ему рыло вокруг бечевкой; сделав это, они распутали его, дали ему отдохнуть и повели, как козу, на веревочке: некуда было бедняку деваться; пасти не разинуть, хватить нечем, и осталось одно: прикинуться смиренным и, поджав полено, идти куда тащат.

Мне случалось и прежде этого быть участником такой же гонки, на другом конце Руси: на южном Буге. Подъехав верхом к перевозу, по-нашему — к переправе, где для порядку стоял казачий караул, я вдруг оглянулся на крик выезжавшего из маленького березового лесочка мужика; он наткнулся там на волка, который пробирался теперь, избегая лишней тревоги, по берегу. Мигом двое донцов вскочили на коней и понеслись за ним, а я за ними: «Нажрался, нажрался, кричал один казак, далече не пойдет!» Мы разъехали по шире врозь, когда выгнали серого на чистое место, и первый казак, дав волку порядочную угонку, с версту, стал забирать левее и заворотил его исподволь вправо, на второго казака, который таким же образом нагнал его на меня, и точно, что нажрался! бока боч-

кой и насилиу бежит, и то свинкой, рылом в землю! Я его гнал, просто наседаю на него, и потом сбил влево, на среднего казака, который и уходил его: взбежав тою же ровною лестью на взлобок, волк вдруг присел по-собачьи, расставив передние ноги вилами и вывалив язык на пол-аршина! Это означало безусловную сдачу, силы отказались! Казаки так спешно бросились с места в погоню, что не взяли с собой никакого оружия; но, не долго думая, они отстегнули по путлицу со стремянем, подбежали сзади к серому, ухватили его за полено, и пошли молотить стремянами по голове.

Но воротимся к своей охоте. Исподволь все стали собираться на поляну перед волчьим притоном, и волки свозились со всех сторон и подвешивались за задние ноги к сучьям дерев или к кольям, вдруг расставленного на дерну обеда. Оказалось всей добычи восемнадцать разбойников, только пятеро ушли в разные стороны; одного, с оструненным рылом, посадили на привязи на почетное место, позади нашего хлебосольного хозяина. Обед вручную был шумный и развеселый, дивным рассказням не было конца; похвалы собакам сыпались со всех сторон, особенно *Болвану*, который взял волка в одиночку и грызся с ним до помощи, зев в зев; а потом раненому *Гаркуше*, о храбрости которого свидетельствовали все очевидцы. В это время подошли двое башкир, с какими-то ношами, кои оказались — чем вы думали? двумя живыми, спутанными грифами; гриф, сып, орел или коршун-голошейка, который водится у нас на Урале, огромная хищная птица, близкий сродник альпийскому ягнятнику и американскому кондору; судьба его такая ж, как и волка: нажравшись, он до того тяжелеет, что с трудом подымается с земли, и то невысоко, так что его можно загнать на лошади; не попав на волка, а наткнувшись на сытых грифов, эти башкиры позабавились гоньбой за ними и принесли их связанных живьем. Я сам смеялся одного: он был $4\frac{1}{2}$ аршина в полете. Такой гриф, убитый тогдашним начальником края, графом Перовским, стоит поныне в Казанском университете.

Во время самой жаркой беседы за обедом один из охотников — впоследствии командовавший Башкирским войском — вдруг быстро оглянулся, потому что его потянул кто-то за воротник: это был повешенный за задние ноги на дерево волк, одна из жертв нашей победы; он, как видно, ожил немного, соскучился висеть на сучке, достал передними ногами до земли, доцарапался до сидевшего перед ним будущего атамана и, желая ему шепнуть что-то на

ухо, потянул его зубами за воротник! Вот почему у охотников есть правило: вторачивать лису и волка не за ноги, как зайца, а за шею, удавкой, не веря смерти их.

Что же сказать? Все поднялись и разъехались по своим местам предовольные, потому что радостно надышались свежим воздухом и удачно поохотились, не всякому, конечно, удавалось быть на поле, где взято сразу восемнадцать волков.

Да, позабыл было одно: на *горяченького-таки* ухитрились выставить зашитую в волчью шкуру свинью, и он по ней стрелял.

РАССКАЗ ВЕРХОЛОНЦОВА О ПУГАЧЕВЕ

Билимбаевский заводский служитель Верховонцов, будучи 85-ти лет, рассказывал в 1831 году похождения свои с шайкой Пугачева; передаем их, как рассказ очевидца. Верховонцов из походных сотников пугачевских дослужился, волей и неволей, до полковника 3-го яицкого полка и рад был, по окончании этого поприща своего, что мог понасть опять, подобру-поздорову, в рядовые служители. 1774-й год осю пору в восточной России слывет пугачевским и служит в народе исходной точкой для летосчисления.

— 18-го января 1774 года, — говорит Верховонцов — мы впервые услышали о приближении Пугачева; я был горным писчиком, и у меня было под рукой рабочего народа до 500 человек, которые работали на рудниках. Молва о распорядках Пугачева, ненависти его к помещикам и боярам всюду поднимала народ, который, по глупости, рад был такому безначалию: и в моей команде нашлись бойкие выскочки, за которыми потянули и другие: все отбились от рук и грозили мне смертью, коль скоро прибудет сюда Великий Государь, как народ звал, в невежестве и будучи обманут, самозванца. Один из работников сверзил (столкнул) меня в рудную яму, а другие подняли на меня такой гарк, что я рад был, утекши от них. Заводские приказчики, которых народ не любил, бежали в лес, не смя приклонить головы у буйных крестьян; после они добрались до Екатеринбурга; а несколько добрых служителей, нестрогих до народа, оставались и пирсвали с ними заодно, будучи заодно с ними обмануты, потому что вначале никто на заводах не считал Пугачева самозванцем. Я ушел в деревню Крылосово, к шурина своему; около полуночи насккали разъездные из шайки; между ними был и зять мой из деревни Черемши: он меня отыскал, ударил нагай-

кой сонного, а когда я вскочил, испугавшись, то меня связали, припутали к стремям и повели на Черемшу в Билимбаевский завод. Туда прибыл 18-го января пугачевский полковник Иван Наумович Белобородов, бывший командир Кунгурского уезда Богородского села, знавший, как сказывали, истинного царя Петра Федоровича и убеждавший всех пристать к самозванцу, называя его царем. Мне велели явиться к нему, в жилье у приказчика Антона Ширкалина я упал перед ним на колени и просил пощады. «Бог и великий государь прощают», сказал суеслов Белобородов. На нем был нагольный тулуп и сабля на поясе. Узнав, что подо мной было до 500 рабочих, он приказал мне завтра, чем свет, выстроить их и сделать им перекличку по горным спискам. При Белобородове находился кунгурский татарин, Алзафор, ревностный слуга Пугачева: он везде первый кричал на сборищах: Осударь Питер Педорович, а кто чуть только не поддавался ему, того он жестоко бил и истязал; этого татарина все боялись. Звание походных сотников и старшин несли на себе служители Осокинского Юговского завода, первые последователи Белобородова: все они одеты и вооружены были по-казачьи. Как Белобородов, так и сам Пугачев, старались получить доверие народа лестью, притворною трезвостью и кротостью, будучи на самом деле приверженцами раскольников, с которыми были у них тайные стачки и переговоры, почему они в душе были люты и ненавидели всех православных.

Ночью я выстроил своих 500 человек в одну шеренгу против жилья полковника и ждал рассвета. Белобородов встал рано, и меня тотчас позвали. «Что, любезный друг, исполнил ли ты приказ мой?» спросил он меня. «Исполнил, ваше высокоблагородие». «Хорошо». Он встал со стула, надел лисий малахай (шапку) наперед ушами и вышел. Все умолкли; он осмотрел мою рать, выбрал из нее человек 300, а остальных не принял, за старостию, калечеством и малолетством; потом скомандовал фрунт, выхватил саблю, оборотился к старшинам и сотникам, которые также вынули сабли из ножен. «Поздравляю тебя», сказал он мне, «походным сотником, а вас, ребята, с товарищем». Я поклонился; рад-не рад милости, а надо было кланяться; меня тотчас остригли по-казачьи, под айдар, и дали саблю.

В этот день было много шуму, тревоги и буйства между народом, крестьяне и работники перепились, гуляли пьяные по улицам, кричали и бушевали; коли кто кричал: «за здравие государя Петра Федоровича», то этим покрывал все грехи, всякое буйство, и мог делать, что хотел. Кон-

торские книги и весь архив вынесли на площадь и с песнями и бранью сожгли. Кроме рудных рабочих, многие иные люди, кто по воле, а больше из страха, приставали к шайке Белобородова; между ними были и заводские служители; так Герасим Стражев был секретарем, Порхачев — сотником.

Из Билимбаевского пошли мы в Васильевский или Шайтанский завод, где нас встретили хлебом и солью. Белобородов занял дом заводчика Ширяева, а я тут учил его писать его имя: Иван Белобородов, водя руку его своей рукой по бумаге. Здесь же была у нас первая стычка: из Екатеринбурга пришла команда, под начальством капитана Яропольцева, мы взяли в плен 60 человек, и Белобородов двоих из них повесил, двоих казнил на плахе, четырех застегал плетью, а остальных постриг в казаки. При этой первой баталии Белобородов удивил всех нас искусством своим стрелять из пушек. На другой день Порхачев послан был на Утку-Демидову, но был разбит и взят в плен; сам Белобородов двинулся туда на помощь, но воротился без успеха.

По отбытии Белобородова, шайтанцы образумились, восстали и, подкрепленные екатеринбургской командой, которая вразумляла, что это-де самозванец, сожгли жилье полковника. Он пошел с нами на Серги (Серганские заводы, после Губинных), оттуда на Каслинский, направляясь к Оренбургу. В Каслинском Белобородов вздумал привести жителей к присяге; там пошли в Богородскую слободу, где стоял другой пугачевский полковник, тоже безграмотный, Самсон. Нас однако же здесь разбили, и вся команда наша разбежалась. Белобородова каслинский мужик увез на Саткинский завод, где мы понемногу стали собираться. Здесь мы взяли Пасху, сожгли завод и отправили донесения к самозванцу в Берды, под Оренбургом. Вскоре мы услышали, что Пугачев разбит князем Голицыным. Поспешив из Сатки к нему, мы встретили его под Магнитною; здесь явились к нему три полковника: два наших, а третий из Сибири. Мы увидали издали, как Пугач разъезжал с наездниками около крепости; он счел нас за неприятелей, потому что мы шли стройно, чего сам он никогда не делывал; но когда узнал, что его полковники, то подъехал к палаткам своим, поднял знамя и ждал дружины: мы преклонили перед ним свои самодельковые знамена.

При первом взгляде на мнимого царя, я усомнился. Сравнивая его с портретами, я не находил никакого сходства; вскоре я, как многие другие, узнал в нем несомненного

обманщика, но страх преграждал уста наши. Пугачев был среднего роста, плотный, в плечах широк, борода окладистая, глаза черные, большие, на нем была парчевая бекеша, род казачьего троеклина; сапоги красные, шапка из покровов церковных, ограбленных раскольниками; самозванец был речист, голос его сиповатый, сам он распорядителен, но впрочем мужик мужиком... Когда взяли Магнитную крепость и Пугачев поехал по улицам, то какая-то женщина выстрелила в него из окна, и ранила его в правую руку. Ее изрубили на месте.

Раненый самозванец не мог ездить верхом и потому разъезжал в коляске. Мы пошли с ним в Троицкую, взяли ее, но вскоре оставили: за нами шел от царицы генерал Декалонг. Передовые его настигли нас, окружили меня и сбили с лошади; но я успел поправиться и ускакал. Пугачев пошел на Красноуфимск, где нас встретил капитан Попов: была жаркая баталия, но она кончилась ничем, кроме того, что меня ранили, и мы взяли налево, в Осу, где командовал майор Скрипицын, укрепив город деревянным заплотом и навесом; в нас жарили картечью, а во время приступа кидали с навесу камня и лили кипяток и смолу. От нас привезли много возов соломы, поставили в несколько рядов и стали из-за них стрелять и надвигать их; жители испугались, видя, что мы хотим сжечь их, зазвонили в колокола отбой, растворили ворота и вывели обезоруженных солдат, которые, распустив волосы по плечам, в унынии ждали своей участи. С них тут же сняли мундиры, остригли и одели по-казачьи. Майор Скрипицын с поручиком Минеевым шли до пристани Рождественского Демидовского завода пленными; это было в июне; Скрипицын разъезжал и разговаривал с самозванцем, который тут переправился за Каму; Скрипицын, с поверенным князей Голицыных, ночью отправил письмо по Каме в Воткинский завод, к исправнику Алымову, уговаривая его вооружиться против самозванца и обещая ему помощь. Поручик Минеев открыл это Пугачеву: посланных догнали на Каме, а Скрипицына и Ключникова повесили. За это поручик сделался любимцем самозванца, который пошел вниз по Каме, на Воткинский. Здесь не встретили мы сопротивления; начальники уехали, управляющий скрылся, полковник Грязной засел в пруду, выставив одну голову; того сожгли в избе, обложив его соломой, а этого повесили.

В Ижевском встретили нас мирно, хлебом и солью; и мы тут не бушевали: силы нашей прибывало, и самозванец решился идти на Казань. Пришли и стали на Арском по-

ле; Пугачев написал вызовы, чтобы сдавались, казанцы насмехались над нами; на другой день двинулись на город, куда подул и сильный ветер. Завязался бой, густой дым гнало в город; скоро сбили мы казанцев с вала, вошли в город, зажгли его и уже до 15 т. наших ворвались в крепость, но их там заперли. Пугачев хотел задушить головными засевших там; жгли, резали и грабили; разграбили и монастырь, а игуменью с монахинями вывели на Арское поле; разбили острог и выпустили колодников, в том числе жену и сына Пугачева. В числе добычи на пиршество победы вывезли на Арское поле 15 бочек вина: самозванец угощал дружину свою после каждой удачи.

Настала ночь, развели огни, расположились по полкам и начали попойку; Пугачев сам разъезжал по стану: говор, крик и песни далеко за полночь, хотя все очень утомились. Только-что призатихло немного, да сонные туда-сюда повалились с похмелья, как вдруг сталась тревога: подполковник Михельсон, занимавший Царицыно (село), напал на нас, на хмельных и сонных. Кто куда мог — давай бог ноги; много тысяч наших было побито и легло тут, много взято в плен и весь обоз и артиллерия пропали.

На другой день собрались мы кое-как, хотели устоять; опять на нас напали, и ветер погнал дым на нас. Это, сказали многие, дурная примета. Нас сбили с поля; 5 т. человек с Белобородовым отрезали, полонили вместе с полковником; а самозванец с остальной шайкою бежал вверх по Волге, в Сундырь.

Обезоруженных пленников подполковник Михельсон стал отпускать по домам, приказав находящемуся при нем служителю Серганского завода, Гавриле Владимирову, осматривать пленников, не будет ли между ними самого Пугачева или кого из главных его приверженцев, Владимиров сначала служил Белобородову в Саткинском заводе, съездил оттуда с донесениями к Пугачеву, в Берду; оттуда, догадавшись, что Пугачев обманщик, перешел к Голицыну, а от него поступил к Михельсону. Он всех зачинщиков знал в лицо. Он узнал тотчас же Белобородова, и его задержали вместе с бывшими при нем дочерьми. Слышно было после, что он казнен в Москве.

Сундырь наши разграбили и сожгли за то, что жители потопили суда, чем много затруднили переправу нашу через Волгу. От Сундыря пошли мы Мордвой и Черемисой; народы эти, по склонности к идолопоклонству, ненавидели попов своих; а как христоразступник Пугачев не щадил их, задабривая народ, то хищник этот и сам стал с ними

бесчеловечно управляться. В Курмыше, на Суре, близ Алатыря, человек 200 бояр разного рода с людьми своими и пожитками думали спастись на одном небольшом острове; они даже вооружились, кто чем мог, и раздали людям своим оружие, надеясь отстоять остров в случае нападения; но когда Пугачев приблизился, то прислуга сделалась непокорною, перевязала господ своих и выдала ему. Всех их, не исключая и женщин и младенцев, бесчеловечно перегубили. Взяли Алатырь, пошли на Саранск; архимандрит Саранской пустыни встретил самозванца с крестом, за что его впоследствии кн. Голицын повесил. Между тем Пугачев ездил обедать в монастырь, где, по незнанию истинны или от страха, приняли его с почетом. В стан Пугачева привели тут генерала Цыплятева с женою, двумя дочерьми и малолетним сыном; всех их безбожно казнили позорною смертью: жену и детей повесили, а Цыплятева истязали мученически до смерти.

Оттуда пришли мы, чрез Пензу, в г. Петровск, где нас встретили без бою; но, боясь Суворова, о котором слухи ходили для Пугачева нехорошие, он поворотил на Саратов. Здесь шло жестокое сражение с городом и гарнизоном; наконец принуждены были сдаться Пугачеву, но все начальство ушло в Царицын. Преследуемые Суворовым, пошли мы в Дубровку, где на перепутье явились к самозванцу донцы, человек до 500, в полном вооружении, в самом исправном виде. Пугачев очень рад был этому подкреплению и принял их с великою честью, не подозревая того, что ему бы лучше было потерять еще 1000 человек своих, чем принять эти 500.

Мы пришли в Камышин, распустили там тюрьму и разбили винный подвал, до 600 бочек, по приказанию Пугачева, выпустили в подвал, не давая никому пить; однако арестанты и чернь пили с земли припадкой и черпая вино шляпами и рукавицами; город вскоре наполнился пьяными и буйными шатунами, пошел грабеж; Пугачев, не посмев долее оставаться, из опасения погони, пошел на Царицын, дал там один только выстрел в московские ворота и, без роздыху почти далее, на Астрахань. Сколько ни бежать, говорится, а где-нибудь, да постоять; остановились мы на ночевку, не доходя Черноярска. Михельсон шел за нами по пятам и ночью подошел, также остановился версты за 2 или за 3; у нас об эту пору было до 60 т. так называемого войска, т. е. разного сброду в нестройных толпах и до 60-ти орудий, вновь забранных в разных местах, после поражения нашего под Казанью. Но все крепко упали ду-

хом, и один только страх удерживал огромную шайку около Пугачева; помню, что я думал уйти несколько раз, но боялся, не ожидая доброй участи, если даже и попадусь в руки войск царицы.

Утром, на солнцевосходе, Михельсон напал на нас. Нельзя было более избежать встречи, и началось жаркое сражение: при этом случае оказалось, что вновь приставшие к нам донцы загвоздили пушки наши, или подрубили оси и колеса у лафетов. Пугачев был разбит на голову и бежал в Черный Яр с шестью только человеками; там, переплыв Волгу, бежали они в камыши на речках Узенях, между Волгою и Яиком. Но здесь товарищи его, видя, что уже все кончено и пора неминуемая настала, решились испустить свои головы его головой, почему, схватив его внезапно, связали и привезли сначала в Яицкую крепость (Уральск), а потом в Симбирск, где были тогда Суворов и Панин».

Про себя Верховолонцов прибавил: я уже сказывал, что в Билимбаевском заводе Белобородов произвел меня в походные сотники: в этом чине служил я до 7-го августа и был почти во всех сражениях, сперва с Белобородовым, а потом с самим Пугачевым. У Красноуфимска был я ранен и, находясь близ своей родины, думал бежать, но сробел и остался, тем более, что за мной, по приказанию Пугачева, присматривали и раненого возили в телеге. С другой стороны и не знаешь, куда бежать и на кого бог приведет наткнуться: у Красноуфимска стоял капитан Попов, с солдатами и вооруженными крестьянами и, как слышно было, не давал никому из шайки Пугачева пикакой пощады. Таким образом я оставался прикованным к судьбе самозванца, до самого конца ее, хотя и знал уже положительно, что он обманщик и разбойник, и вовсе не желал быть товарищем его, как и поступил я в шайку его против воли, по милости моего зятя. Я был освобожден, в числе других пленных и, по милости царицы, скоро последовало всепрощение.

ПОЛУНОЩНИК (УРАЛЬСКОЕ ПРЕДАНИЕ)

Лет тому — да много, еще когда дедушка внучком был, никак вскоре после пугачевщины, опять выдался такой год, что стало по низовым станицам уральским больно беспокойно. Казаки ни днем, ни ночью не выходили со двора без винтовки за плечами; стада и табуны частью отогнаны были на Камыш-Самару, а частью держались поблизости станиц и пикетов, известных под именем половинков, маяков и рединок; пастухи, вооруженные и в обыкновенное время копьем и винтовкой, были удвоены и едва смели прилечь; один из них, конный, всегда стоял на ближайшем возвышении и высматривал округность.

Между тем в темную осеннюю ночь, небольшая шайка киргизов «учинила пролаз», то есть успела незаметно пробраться через Урал, по одному и по два, и залечь в береговые камыши. Когда их собралось довольно, то они выехали осторожно на степной кряж, оставив пикеты и маяки за собою, на берегу реки, и пустились к станице. В другое время, может быть, набег их и был бы удачнее, но как теперь всюду были приняты необыкновенные предосторожности, то шайка и наткнулась, при самом въезде в селение, на выставленный за скотным двором секрет, то есть ночной отводный караул. Три казака, из коих один приказный, услышали издали фыркание лошадей и топот их; все трое, перемолвившись шепотом, прилегли наземь, чтобы не окликавая отличить и распознать приближающихся конных, а подпустив их шагов на тридцать и различив положительно киргизские малахай, и расслышав говор, встретили неприятелей залпом из трех винтовок, бросились с гиком вперед, ухватив пики, и разогнав этим мгновенно толпу,

кинулись впопыхах к лошадям своим, сели и поскакали, один в пикет, и двое по станице, распространяя повсюду тревогу. Но не успел еще первый из них доскакать до пикета, как там уже запылал ярким пламенем маяк, обвитый камышом и соломой шест: сигнал этот приняли по всей линии, вверх и вниз, и вскоре целая полоса по Уралу осветилась заревом маяков. В то же время, казаки со всех постов спешили по призыву туда, где первый маяк загорелся. Через час времени, после трех выстрелов секрета, тревога обняла уже верст по сто в обе стороны линии, по направлению к Гурьеву и к Уральску; все было на ногах, отовсюду спешили на помощь.

Осторожные воры, киргизы, не желая бороться с открытой силой, тотчас же отступили, зажгли встреченный на пути стог сена, приколотили ни за что ни про что мужика, бабу и двух ребят, семейство сызранского сапожника, отправившегося по ремеслу своему из одной станицы в другую, и перебрались вплавь через Урал. Значительный отряд казаков не успел еще собраться; но человек пять смелых наездников, зная хорошо тактику неприятелей своих и потому предвидя их действия, перебрались заблаговременно через реку и, ложась, прислушивались, чтобы подстеречь их переправу. Шум воды под ногами конскими действительно обнаружил невдалеке шайку, на так называемом броду, хотя отчасти надо было и тут переплыть русло; а разгоревшийся стог сена, хотя и был от этого места верстах в двух, осветил несколько поверхность реки, и шайка встречена была ружейными выстрелами. Но сила преодолела, и казаки наши отступили, захватив, однако же, одного раненого киргиза; кроме того, первыми тремя выстрелами, близ станицы, был убит один киргиз, а другой также ранен и захвачен; таким образом, казаки добыли языка, что было для них очень важно, потому что теперь знали, какая именно была шайка эта, какого рода и племени и из каких аулов, а когда это известно, то уже всегда было более надежды отыскать виновных или заставить однородцев их за них поплатиться.

К утру собрался небольшой отряд в Сарайчик. В то время вообще не было строгой формы для казаков, а штаты, как называлась форменная перевязь с подсумком, надевались только во время внешних командировок. В то время уральцы ходили, по обыку, в алых и малиновых кафтанах, с откидными рукавами по синему поддевку, и в высокой малиновой шапке с перехватом; сабля была принадлежностью войсковых чиновников, а рядовые до-

вольствовались копьём, винтовкой с рожками и пистолями. В степных же походах, которые нередко делались, как в настоящем случае, спешно и по домашнему распоряжению, по поводу набата — каждый садился на коня в домашней одежде своей: в простом синем кафтане, в хивинском полосатом халате, в чапане, в стеганке, поддевке или куртке, но всегда с добрым оружием, и в черной, высокой смущатой шапке.

Отряд этот выступал уже с зарей: седла и необходимую поклажу погрузили на бударки, легкие лодочки; туда же сели и казаки, человека по три и по четыре, взяв лошадей за чембуры; через час кони были уже оседланы на противоположном берегу, и отряд подымался на кряж, потянулся змейкой по степи и долго ее виднелся издали черной полосой по желтоватому ковылю.

— Погоди ж вы, разбойники! — сказал один казак, падая носкам сапога в мочку пики своей, — разве не даст бог сойтись с вами, а то будете вы помнить Сарайчик!

— И чего их, собак жалеют, прости господи! — сказал другой, — вот ведь, которому дашь аман, он-то самый и наделает тебе больше всех хлопот; я говорю, что волк, так волк и есть, попался в руки, так бей его досуха, а прикормишь да отпустишь — так сам на свою голову кистень выковал. Я знаю, что это опять Китайка проказит; уж от него нам добра не видать. А кабы прошлую осень подняли его на копыя, как был в руках; так бы с ним и не хлопотать. Так ли, Сидорыч, — продолжал он, обратившись к подъехавшему чернобородому, смуглому казаку, очевидно персидского происхождения, почему он и прозывался Кизылбашевым, — так ли?

— Так, — отвечал тот, не подымая глаз и проворчав что-то про себя, а затем прибавил вслух, — поднять-то на копыя мало б кого надо; есть люди и тошней киргиза. — И отъехал в сторону.

— Вишь, хорасанская кровь! — сказал один из первых, — гляди, ведь он все еще зубы точит на старого супротивника своего, на Пахолкина: аль опять они не поладили?

Объясним эту выходку. Кизылбашева отец был пленный персиянин, выходец из Хивы. Приписавшись к войску, крестившись и женившись там, он известен был в войске назойливым, скрытным нравом своим и передал по наследству это свойство персидской крови старшему сыну. Семейство их жило довольно бедно, потому что рыболовство им как-то не давалось, а торговлей промыслять без истин-

ника очень трудно. По этому поводу сын смолоду вышужден был идти на службу, на которую и тогда, как теперь, вызывались одни охотники, с уплатою им довольно значительных подможных денег; эти обстоятельства и отношения заставили Кизылбашева-сына оставаться холостым почти до тридцати лет; в эти годы только сделался он владельцем отцовского хозяйства и приобрел столько своего, что мог купить невесте сороку, род богатой кички, что в то время считалось совершенною необходимостью и без чего ни один казак не мог подумать о сватовстве. О приданом же и тогда, как теперь, у уральских казаков никогда не бывало речи: тесть наделял дочь свою или зятя, по своему усмотрению, и то несколько лет спустя после женитьбы, когда убеждался, что молодые хорошо и согласно живут.

Задумав жениться, Кизылбашев стал заглядываться на Орину Миронову, дочь урядника Красоточкина, и хоть ему, в его годы и с его чернородой рожей, не совсем к лицу было любезничать, но он, по принятому обычаю, выходил к базкам, то есть к скотным дворам, встречать и провожать вместе с Ориной Мироновной стадо, а также хаживал зимой вслед за девками, на синчик, то есть, на молодой лед, скользить, играть и бегать. Если б Кизылбашев был вовсе не по нутру Красоточкину, то он бы сам проводил дочь к базкам или на синчик, и сказал бы там тому, кто ухаживает за его дочерью: «не прогневайся, брат; но не наша девка, чужая»; но как ничего подобного не случилось, а Орина Мироновна, хотя и называла поклонника своего в глаза заморской пуцелкой — то есть чучелкой, потому что Орина Мироновна, как и все землячки ее, пришепетывала — хотя и не раз угроживала, что наденет ему подойник с молоком на голову, но либо пожалела молока, либо пожалела молодца, потому что угрозы не исполнила и, как Кизылбашеву казалось, бранила его и отбивалась от него только для забавы и приличия.

В таком положении было дело это, когда вдруг, недуманно, негаданно, добрые люди из соседней станицы прибыли в дом Красоточкина и привезли поклон и ласковое слово от старика Пахолкина, который сватал Орину за сына, за молодого сотника. Это было, конечно другое дело и не Кизылбашеву чета: сотник Пахолкин был молодец молодцом, а у отца его было хуторок на Камыш-Самаре, другой на узеньях, где ходило косяком до десятка добрых коней, да, кроме того, старик ежегодно выменивал у киргизов тысячи по две и по три баранов, отгоняя их на убой в салотопни. При таких отношениях, не только Кизылба-

шева и в помине не было в этом деле, но об нем и думать позабыли; Красоточкин дал слово, и через несколько дней жених навестил невесту, а вскоре опять приехал и привез сѣй в подарок такую сороку, которая выставлена была целые две недели на показ, и казачки съезжались даже с Баксяя и из Кармановской станицы посмотреть на этот подарок.

Кизылбашева, который, как мы уже сказали, довольно долго крепился и собирался, покуда обстоятельства не позволили ему подумать о сватовстве, неудача эта крепко смущала. На беду не стало дело за такими людьми, которые начали подтрунивать над бедняком; в особенности же девушки, будто сговорились, стали спрашивать его, при встрече, отчего его теперь нигде не видно? Злобное сердце его вскипело мстью, и он не раз искал случая, чтобы отомстить Пахолкиным или Красоточкиным — все равно — за неудачу свою, тогда как ни те, ни другие и не думали о нем и мирно и весело сыграли свою свадьбу.

Со времени этого происшествия прошло уже с полгода, но Кизылбашев не считал еще, как видно, дела своего конченным и, как можно было догадываться по ответу его, который мы слышали, замышлял что-нибудь недоброе. Повод же к этому был вот какой: в собранном паскоро отряде находился не только счастливый соперник Кизылбашева, Пахолкин, но и два брата его и дядя, и сверх того сам старик Красоточкин с сыном и племянником; словом, так как казаки соседних станиц вообще все почти между собою в родстве и свойстве, то в набранном из Сарайчика и ближайших станиц отряде было много казаков, рядовых и чиновных, состоявших в более или менее близком родстве с Пахолкиными и Красоточкиными. Кизылбашев, состоявший на линейной службе, где изредка только встречался с кем-нибудь из этих людей, теперь внезапно сошелся со всеми с ними лицом к лицу. Встреча стольких ненавистных лиц возмутила его и пробудила давнишнюю злобу.

Отряд сделал до вечера, с привалом, очень большой переход, но, не настигнув хищников, остановился, с тем, чтоб на завтра продолжать поиск свой и напасть на аулы, к которым грабители принадлежали. Зная опасность своего положения, казаки приняли все обычные предосторожности и не только выставили цепь вокруг всего стана, но и еще особенную вокруг всего табуна, потому что лошадей надобно было пускать ночью на подножный корм.

Когда стали вызывать по наряду караульных в ночную цепь, на вторую или третью смену, то в числе чередных

одного не досчитывались: оказалось, что Кизылбашева нет. Пустили голос и прокричали по всему отряду, искали везде, полагая, не заснул ли он где — но нигде его не оказалось, и никакого следа его не нашли. Никто не знал, что подумать. «Сошел с ума наш Кизылбашев», говорили казаки, «диво куда он запропастился: а был тут с вечера — разве не подхватили ль его как-нибудь втихомолку карсаки (т. е. киргизы)?».

А Кизылбашев между тем, разузнав о близости аулов, решился на небывалое дело: он бежал из отряда с тем, чтобы подвести неприятеля, напасть враспloh и уничтожить, как он надеялся в слепой злобе своей, весь отряд. Несчастливая мысль эта поселилась в нем уже в то самое время, как только весь отряд был в сборе и Кизылбашев увидел, что тут находилась большая часть мнимых неприятелей его, по крайней мере ненавистных ему людей. И в надежде погубить их, он не пощадил никого и не подумал даже о себе самом...

Еще было темно, и восток не обозначился заревом; весь отряд покоился, одни только часовые на цепи перекликались, как три отчаянные молодые киргиза, будучи подведены к отряду отступником и изменником, легли на землю, в таком расстоянии от отряда, как только могли слышать фырканье и чиханье казачьих лошадей, и поползли по траве. Один служил вожаком, другие два ползли за ним и вовсе не подымали головы, полагаясь во всем на передового, который останавливался на каждых десяти-пятнадцати шагах и осторожно озирался кругом, едва только отделяя голову от земли. Они ползли с такою осторожностью, что шороху было не более, как от змеи. У каждого из них висел на поясе добрый нож: одежда на них была самая легкая — одни лохмотья; оружия, кроме ножа, никакого. Таким образом подползли они вплоть к цепи, и увидеть их, по темноте ночи, было невозможно. Выждав удобную минуту, когда оба смежные часовые оборотились в противную сторону, воры проползли внутрь цепи и вскоре очутились посреди пасущихся, стреноженных лошадей. Тут каждый из них окликал потихоньку и огладил по лошади, поспешно перерезал ножом тренугу и сделал то же у нескольких соседних лошадей; тогда все трое вдруг вскочили на коней, со страшным, внезапным гиком пустились скакать во весь дух, без узды, куда лошади угодно, продолжая дикий, неистовый рев свой, погоняя лошадь под собой тычками ножа и поражая им на скаку лошадей вправо и влево. Весь табун шархнул, ни одна

тренога не удержалась, и ошалевшие кони понеслись вслед за проскакавшими всадниками, опрокинув перед собою караульную цепь.

Казачи в ту же минуту вскочили, ухватившись за оружие; и была пора, потому что шайка в несколько сот человек, с таким же неистовым, диким ревом, кинулась теперь на отряд. Как ни жесток бывает подобный приступ, но при устойчиве и встрече ружейным огнем, нестройная толпа эта всегда поспешно отступает, возобновляя нападения свои постепенно с меньшею отвагою и меньшею удачею, потому что казаки выигрывают время, могут собраться в порядки и успевают зарядить ружья. Так было и тут: киргизы, после нескольких отчаянных попыток, отступили; вопли их слышались в отдалении; отряд даже пустился было преследовать их, но пеший конному не товарищ, и сотник Пахолкин остановил бесполезное рвение казаков. В целом отряде не осталось более пяти лошадей; лучшие казаки вскочили на них и понеслись во весь дух за отогнанным табуном.

Заря уже начинала заниматься, когда погоня взяла на вид хищников, гнавших лошадей с возможною поспешностью. Одна только из пяти лошадей была довольно бойка и надежна, на остальных нельзя было положиться. Урядник Красоточкин, лихой старик, тесть Пахолкина, сидел на этой лошади и решился попытать счастья, не дожидаясь отставших четырех товарищей своих. Он пустился во весь дух, обскакал табун, не обращая никакого внимания на тревогу, поднятую киргизами, повернул круто в бок лошадям, сколол одного из воров, кинувшихся ему навстречу, и с таким же диким ревом проскакал поперек всего табуна, увлекая шарахнувшихся снова коней за собою. Дав значительный круг и скача впереди, Красоточкин воротил благополучно часть табуна и привел его в стан, между тем как отставшие четыре казака подоспели и защитили отбитую добычу свою от новых нападений.

Как только лошади прибыли в стан, то мгновенно были оседланы, и Пахолкин пустился с лучшими казаками в погоню за шайкой. Настигнув ее, он частью разбил, частью рассеял ее и успел захватить в плен до пяти человек, в чем, кроме показания хищников, и состояла цель поиска его; эти пять человек должны были выручить весь отряд из беды.

Убитых не воротить, и потому киргизы об них мало заботятся, кроме того, что стараются увезти трупы с собою для погребения; но о пленных они чрезвычайно хлопочут

и для выкупа их готовы сделать все, что могут, ничего не жалея. Когда ободняло, весь отряд собрался опять на становище; пересчитали людей и лошадей и увидели, что, кроме Кизылбашева, все казаки были налицо, в том числе двое или трое раненных пикой или чеканом; но недоставало еще до семидесяти лошадей. Рассмотрев и разобрав пленников своих, Пахолкин выбрал из них одного простого киргиза, сверх того еще и раненого, дал ему одну из плохих лошадей и, настрашав порядком, приказал ехать к султану Юсуфу Галикееву, начальнику шайки, и объявить, что если до полудня не будут доставлены все лошади и беглец Кизылбашев, то киргизы найдут на этом месте четырех пленников, забитых до смерти нагайками; отряд же выступит, с тем числом конных, сколько есть, для разграбления аулов Галикеева и будет резать все, что ни попадется ему под руку.

Часа через три гонец от султана Галикеева прискакал, соглашаясь на предложения о размене пленных, но просил прибавить несколько часов срока, потому что лошади были загнаны далеко и послано за ними в догонку. Размен состоялся на половину: коней пригнали; за раненых и неотысканных казачьих лошадей киргизы добавили своих; но Кизылбашева, которого, конечно, не пожалели бы, при таких обстоятельствах, выдать не могли, несмотря ни на какие настояния Пахолкина, уверяя, что он скрылся. Поэтому сотник счел себя вправе не выдавать и пленных, утверждая, что договор со стороны киргизов не исполнен; тогда эти вздумали требовать выдачи обратно лошадей; завязался спор, а наконец и драка, которая кончилась весьма невыгодно для киргизов; казаки жестоко наказали их, напав еще вторично на приблизившуюся шайку и гнали ее, побивая, до самой ночи. Таким образом, отряд Пахолкина воротился благополучно в Сарайчик, с песнями и победными кликами, не потеряв ни одного человека, а сделав свое дело: наказав хищников и отогнав довольно скота. Весть об измене Кизылбашева, о котором не было ни слуху, ни духу, разошлась вскоре по всему войску, и едва ли на чью-нибудь голову было когда-либо произнесено столько проклятий, сколько досталось от мала и велика на долю позорной памяти этого несчастного полуперсиянина. Прошло несколько лет, и о Кизылбашеве не было речи; все сведения из степи подтвердили первоначальное известие, что он пропал без вести.

Однажды, в темную и бурную осеннюю ночь, повторилось почти то же, что было описано нами в начале этого

рассказа: шайка киргизов прорвалась или прокралась внутрь линии неподалеку Кожехарово; пущенные по линии маяки подняли на ноги все население, и собранный отряд пошел вслед за грабителями. Он к вечеру остановился, прислонившись тылом к озеру, где было хорошее пастбище, выставил впереди цепь и послал разъезд до известного урочища, где был крутой, обширный яр, чтобы удостовериться, нет ли там засады.

Разъезд подъехал к урочищу уж в сумерки и пустился на несколько верст, для осмотра, вдоль яра. Все было мертво и пусто, нигде и следов аула или стоявшей шайки не найдено. Вдруг (я говорю по словам разъездных казаков) конный казак выезжает вплоть перед ними из оврага: кивнув головой, он берется за шапку, будто здоровается, и робко объезжает вокруг разъезда. Явление это до того поразило казаков, что они стояли несколько минут, как вкопанные, и даже не окликали встречного и не подали голоса... Наконец, урядник, узнав в казаке этом Кизылбашева, назвал его по имени и звал к себе, убеждая покаяться в грехах своих и добровольно явиться к начальству... Кизылбашев не отвечал сперва ничего, но покружив, стал расспрашивать, что делается в войске: кто теперь атаман, дома ли такие-то казаки, и проч. Урядник повторил ему настоящие свое, чтоб он ехал с ними, а когда тот, кивнув опять слегка головой, передвинул шапку, в виде поклона, и поворотил лошадь к оврагу, то урядник кинулся за ним и протянул уже руку, чтобы схватить, как вдруг его не стало. Урядник и разъездные казаки перекрестились, прочитали «аминь, аминь, рассыпья»; поискали еще несколько времени переметчика, но не найдя ничего, воротились.

То же почти случилось на следующую весну, когда небольшой казачий отряд послан был на помощь султануправителю по поводу баранты и угонов. И тут опять, ночью, нечаянно подъехал к отряду казак, будто из земли вырос; робко приближался, но все держался поодаль; и опять расспрашивал, что делается в войске. Все, кто знал Кизылбашева, узнали его; казаки бросились и окружили его, но он пропал опять на месте, будто провалился сквозь землю.

С этого времени уральским отрядам частенько случается видеть в степи полунощника; и полунощник этот не иной кто, как Кизылбашев. Много прошло лет, много десятков лет прошло с той несчастной ночи, когда безрассудная, злобная месть воспламенила персидскую кровь этого

несчастливого и как он, посягнув на одно из самых страшных преступлений, продал свою душу — и все еще привидение его шатается по обширной степи, ищет и не находит покоя и, встретив русский отряд, подъезжает к нему и спрашивает о том, что делается на Руси и в родном уральском войске... Теперь уже привыкли к нему и знают его; казаки не пугаются более этого загадочного явления: как только увидят они издали, ночью, чужого казака на белой лошади, в чапане и шапке старинного обыка, с густой и черной круглой бородой, со смугло-желтым, болезненным цветом лица, с мутными, непостоянными глазами, так и творят молитву и говорят друг другу: «гляди, полунощник!»

УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

Пришло жаркое, знойное лето, которое длится в полуденных степях наших ровно четыре месяца: май, июнь, июль и август, — пришло и налегло душным маревом на уральскую степь, чтобы поверстаться за суровую пятимесячную зиму. Уральское войско, вытянутое станциями своими лентой по течению реки Урала верст на восемьсот, ожило после кратковременного отдыха; по городкам, форпостам и крепостям стали бегать и суетиться, словно земля под народом накалилась и не дает никому ни стать, ни сесть. Вскоре все войско стянулось повыше Бударинского; тысячи три служилого народа, — а тысяч шесть было уже на службе: три по линии да три на внешней, — тысячи три, не считая работников, столпились на голой, бесплодной степи, на сухом море, привезли на подводах каждый бударку¹ свою, ярыги или сети, привезли по работнику киргизскому в мохнатом лисьем малахас — видно, собрались пугать лето, — стали на первом плавенном рубеже и ждут пушки². А где же Проклятов, лысый гурьевский казак, который век на службе, а от уряду бегаёт, потому что беден, а семья у него большая? Тут он, глядите, стоит в толпе под яром, без шапки; лысина от бровей до затылка, прикусив губу, уставив зоркие глаза на рыболовного атамана, который один-одним разъезжает, ровно князь какой, по реке; на него уставил глаза Проклятов, как легавый на куст, под которым сидит куропатка; в правой руке держит коротенькое весло, левою ухватился за тонко выстроган-

¹ Долбленный челнок, тонко и красиво обделанный, легкий и ходкий. Он употребляется на всех летних речных рыболовствах.

² До пушки, которая палит по условному знаку рыболовного атамана, никто не смеет ступить на лед или спустить бударку на воду; все кидаются вдруг и взапуски по вестовой пушке.

ный и окованный нос бударки, ждет по знаку атаманскому пушки, чтобы секунды одной не прозевать, столкнуть челнок на воду, выкинуть ярыгу и вытащить осетра. С Проклятова пот льет градом только еще в ожидании будущих благ; а что же будет, как пойдет работа?

Век на службе Проклятов, редкий год дома, а от урядничьего чина три раза отмаливался: хочет быть рядовым казаком. Урядник идет, куда пошлют, по очереди, наемки не берет ни гроша, а казак возьмет с миру почем придется, да и сам сыт и обут и домашние тож: потому-то он от уряду бегаёт, а от зверя, как он называет рыбу, не бегаёт, лишь бы она от него не ушла. Не любит он только этих водяных сверчков, что у нас раками зовутся: он их, поганых, и в руки не возьмет ни за что.

Проклятов — гурьевский казак старинного закалу: ростом невелик, плотен, широк в плечах, навертывает и в тридцать градусов морозу на ноги для легкости по одной портянке, надевает в зимние степные походы кожаные либо холщовые шаровары на гашнике, и если буран очень резок, то, сидя верхом, прикрывает ляжку с наветренной стороны полою полушубка. Морозу он не боится, потому что мороз крепит; да и овод, и муха, и комар не обижают у него коня; жару не боится потому, что пар костей не ломит; воды, сырости, дождя не боится потому, как говорит, что сызмала в мокрой работе, по рыбному промыслу, что Урал — золотое дно, серебряна покрывка, кормит и одевает его, стало быть на воду сердиться грех: это дар божий, тот же хлеб. Проклятов до того любит воду — коли нет вина, — что на морском рыболовстве и на морской службе по Каспийскому морю пьет без всяких околпачностей воду морскую и отвечает вам на вопрос: «Хороша ли?» «Горонит маленько!» Борода ему дороже головы; в этом отношении Проклятов сущий турок; но, отправляя сына на внешнюю службу, в Москву, он выбрил ему бороду, приказав отпустить ее, когда воротится домой, и утешив и себя и сына в этом несчастии тем, что-де родительницы замолят грех. Дома Проклятов не певал отроду песни, не сказывал сказки, не пел, не плясал, не скоморошничал никогда; о трубке и говорить нечего: он дома ненавидел ее пуще водяного сверчка, да и не бывало ее таки в заводе ни у кого в целом войске. Сказывали, что есть чиновники войсковые, которые, в похвальбу перед сторонним начальством, носили тайком от своих в руке табакерочку; да это, может статься, и напраслина, как ее много бывает на свете. На походе — Проклятов первый песенник, хоть и

гнусит немного, на старинный церковный лад; первый плясун, и балалайка явится на третьем переходе, словно из земли вырастет, — и явится трубка и табак; а родительницы дома на досуге отмаливают и замаливают. Родительницами называет он не только старуху мать свою, но и тетку, и сестру, и хозяйку, и дочь: весь женский пол. Они все знают церковную грамоту, служат сами по старопечатным книгам, хозяйничают из покупного добра, — потому что своего, кроме рыбы и скота, нет ничего, ниже хлеба, — ткнут шелковые пояски, шьют сарафаны на себя с отборной девятой пуговицей, а рубахи — с шелковыми рукавами; вяжут понемногу чулки — другой работы у них нет. Главное занятие их: воспитывать ребят в постоянных правилах и обычаях домашнего изуверства, которое, как мы видели, соблюдаясь с неприкосновенною святостию на дому, нарушается без всякого стеснения на службе и вообще вне войсковых пределов. Описывая, какую погоду любит и не любит старик Проклятов, мы забыли упомянуть, собственно, о буране, о земной метели, от которой ежегодно гибнет множество людей и скота. Ее Проклятов не жалует; это крутит сатана, бунтует против святой власти, и от этого буран — погода из ряду вон и не годится шкуда. «Тут и скотина одуреет, — говорит Проклятов, — не токма что человек».

Пришла осень — старик опять идет с целым войском, ровно на войну, на рыболовство. На тесной и быстрой реке столпятся от рубежа до рубежа тысячи бударок — тут будлавке упасть негде, не только сети выкинуть; а Проклятов, как и все другие, плавает связками, попарно, вытаскивает рыбу, чекушит ее и сваливает в бударку; саратовские и московские промышленники следят берегом плавучую толпу рыбаков и держат деньги наготове; к вечеру разделка. Тут, кажется, все друг друга передушат, передают и вечера не доживут: крик, шум, брань, стук, толкотня на воде, как в самой жаркой рукопашной свалке; давят и душат друг друг, бударки трещат, казаки, стоя в них и управляя ими, раскачиваются в обе стороны, чуть носом воды не достают — вот все потонут, все друг друга замнут и затопят, — ничего не бывало: все разойдутся живы-здоровы, чтобы завтрашний день начать со следующего рубежа, опять по пушке, ту же проделку; и так вплоть до Гурьева, до взморья или по крайней мере до низовых станиц. Проклятов гребет, рвется, из шкуры лезет, летит взапуски, гребет сильно коротеньким весельцем своим, им же правит, им же расчищает себе дорогу в этом непроходимом

лесу бударок, расталкивает их вправо и влево, не заботясь о том, куда которая летит, — и ярыгу вытаскивает, и рыбу чекушит; и его толкают взад, и вбок, и вперед, — нужды нет, он только кричит и бранится, и, зная уже, что никто его не слышит и не слушает, потому что всякий занят своим, он и сам продолжает свое, облегчая только стесненное положение свое бранью, на вей ветер. Впрочем, никогда не употребляет он коренных русских ругательств; и это также можно делать только в командировках и в походах; дома грешно.

Пришла зима — Урал замерз, снежное море покрыло необозримую степь; голодные и холодные киргизы сидят смирно и спокойно на зимовках: не до того им, чтобы прорываться по ночам тут или там и угонять стада и табуны, — все замерзло; а Проклятов опять снаряжается на рыболовство, на багренье. Опять он тут, под самым Уральском, где в сборе целое войско, опять мечется по пушке как угорелый, зря, очертя голову, с яру на лед, на людей, топчет, давит, не щадя ни себя, ни других, — просекает наваренную сталью пешней в три маха двенадцативершковый лед, опускает шестисаженный багор, коего другой конец, перегибаясь чрез плечо, волочится по льду, поддевает рыбу, подхватывает ее подбагренником, кричит, как будто кто его режет: «Ой, братцы, помогите!» — коли сила не берет управиться одному с белугой, кричит неумолчно, хоть и знает, что ему никто не пособит, как и сам он никому не подаст помощи за недосугом, — а кричит; вытаскивает ее наконец кой-как сам на лед, упарившись зимой в одной рубахе до мокрого поту, — и, окунувшись раза три по шею в воду, выбирается с добычей своей на сухой берег. Окунулся он потому, что тысячи рыболов, кинувшихся на лед, на одну зазнамо хорошую ятовь¹, искрошили в четверть часа весь лед под собою, вытаскивая на всех точках рыбу, и вскрыли всю реку. Проклятов выгородил себе кой-как небольшой комок льду, отстоял его, удержался на нем, сложив тут же три-четыре рыбки, рублей на сто или побольше, и, упираясь багром, который гнется, как веревка, и захватив пешню своими ногами, а подбагренник в зубы, переправился на этом пароме благополучно на берег, сдал тут же товар и взял деньги. Льдина переворачивалась под ним раза три, да Проклятов на нее и не глядел: он только

¹ Ятовь — омут, в который ложится красная рыба на зимовку. Она ложится тесно, в несколько ярусов, и спит; шум и стук ее в то время не пугает, и ее просто ощупывают баграми и вытаскивают.

берег рыбу свою, привязав ее к ноге обрывком или поясом, да снаряд.

Пришла весна — лед тронулся, река вздулась, разлилась; утки, гуси, казарки потянулись огромными вереницами вслед за журавлями на север — и Проклятов опять уже ладит бударку, снаряжает плавенные сети и тянется без малого четыреста верст сухим путем вверх по реке, чтобы после воротиться вниз, домой, водою. Спросите у него, когда он, прищутив левый глаз, ровно прицеливается, следит низкую стаю лебедей: «Неужто-де птица летит своим разумом в указанный ею перелет?» И он вам, не призадумавшись, ответит: «У зверя не разум, а побудка; птица в перелет идет побудкой». Итак, побуждение природы, которое мы, не зная по-русски, взяли из словаря иностранного и назвали инстинктом, слово, впрочем, очень приятное, — Маркиан Проклятов, не зная ни по-французски, ни по-немецки, называет побудкой. Ему это простительно.

Проездом Проклятов у каждого форпоста расспрашивает обстоятельно стариков, то есть смотрителей за водами и лесами, о том, «благополучно ли рыба с осени ложилась, где и как вскатывалась и каков надежен залов». Где дорога подходит к береговому яру, там Проклятов оборачивается туда, куда его тянет, носом на воду; жадно глядит на Урал и по временам как будто прислушивается и облизывается. Если вам случалось видеть неистовых голубятников, псовых и ружейных охотников, которые выходят из себя, если при них только помянуть слово об охоте, то можете вообразить себе и Проклятова. Серые глаза его загораются каждый раз, когда дело коснется рыбы и рыболовства; брови двигаются, играют, высокий лоб сияет, губы подбираются. У Проклятова не дрогнула бы рука приколоть всякого, не говоря о киргизах на левом берегу, — приколоть на месте во время ходу рыбы всякого, кто осмелился бы напоить скот из Урала. «Рыба — тот же зверь, — говорит старик с ожесточением, — шуму и людей боится; уйдет, а там ищи ее». Впрочем, казак наш сражался на своем веку не с одним этим зверем, с красной рыбой; он, не говоря о походах туда-сюда и о всегдашней войне с кайсаками, уходил немалое число кабанов, когда молод был, в гурьевских камышах, а когда их там уже не стало, то на Прорве и на устье Эмбы. Кабан подсек даже под ним однажды коня. Одно из замечательнейших происшествий в жизни Проклятова было с ним по поводу охоты за кабанями, а именно: встреча глаз на глаз с шутовкою, или русалкою. Маркиан, вопреки закону, отправился однажды

накануне какого-то праздника, в светлую лунную ночь, на ночевье и, отъехав к устью через Золотницкий проран на бударке своей верст пятнадцать от Гурьева, залег в мертвой глуши и тиши близ проломанной кабаном тропы. Вскоре послышался отдаленный шелест, потом камыш затрещал. «Ломится зверь», — подумал Проклятов и взвел курок винтовки. Но зверь не показывается, а треск камыша, приближаясь постепенно со всех сторон, вдруг до того усилился, что у Маркиана на голове волос поднялся дыбом; не видать ничего, а камыш трещит, валится и ломится кругом, будто огромный табун мчится по нем напролет. Проклятов привстал, отступил несколько шагов к убежищу своему, к бударке, а на возвышенном бугре стоит перед ним шутовка, нагая, с распущенными волосами. «Сколько припомню, — говорил старик, — она была моложава и одной рукой как будто манила к себе». Сотворив крест и молитву, Маркиан стал отступать от нее задом, добрался до бударки, присел на колени и, ухватив весло, ударился, сколько сил было, домой.

Проклятова знали все как человека добродушного, который, несмотря на бедность свою, помогал многим, кто бывал в нужде или еще беднее его. Он жалел убить старого пса, который жил у него годов десять и под старость сделался калекой. «Пусть живет нахлебником, — говаривал старик, — не обидит нас, не объест». Но когда ему случилось сходить в зимний степной поиск, на Бузачи, то он, отбивши там пару навьюченных верблюдов и заметив, что во вьюках что-то жалобно пищало, не призадумавшись выкинул двух голых ребятишек на снег и спокойно, без оглядки отправил их своим путем. «Ничего, ваше благородие, — отвечал он после офицеру, который хотел было для порядку побранить его, — ничего, уснули. Мамок, что ли, с собою возить для этих щенят, — про себя сказал он, рассмеявшись. — Еще у меня и свои-то, может статься, спдят дома не евши; пыне хлеб рубль семь гривен за пуд».

В походе не брали Проклятова ни зной, ни стужа, ни холод, ни голод. «Обтерпелся, — говаривал он, — да сызмаленьку привык; только лошади жаль, коли без корму стоит, а человеку ничего не станется». Из всего оружия казачьего Проклятов менее всего жаловал саблю, называя ее темляком, который-де болтается без пользы. Винтовка на рожках, из которой стрелял он лежа, растянувшись ничком на земле, и пика, которою работал, прихватывая по временам, где можно, гривки, — вот вся его надежда. В открытую конную атаку он не хаживал: «Не случилось,

говорит, да нашему брату ломовая атака и несподручна»; криком и гиком брал, врасплох брал, и с тылу, и в засаде; а подметив, где жидко, где проскочить и прорваться можно, — не жалея коня, гнал и бил неприятеля донельзя и не щадил никого. «Коли бежит неприятель, — говаривал Проклятов, — так разве в землю от тебя уйдет, а то покидать его нельзя; гони со свету долой, покуда бежит да не оглянется и не увидит, что ты за ним один. И бей тоже, покуда бежит: опомнится да станет, так, того гляди, упрется — и вся работа твоя пропала». Старик любил винтовку свою на рожках и привык к ней; стрелял смолоду гусей, лебедей, уток, сайгаков, корсуков, кабанов — все пулькой; но форменным карабином он очень обижался, на это у него были свои понятия и рассуждения. Лошадь выезжал он всякую в две-три недели, не заботясь о том, бьет ли она только задом или с козла; подпруг и катаура никогда туго не подтягивал, а считал плеть-нагайку лучшим самоучителем, без которой наука ни одному неучу не дается. Подпрукает, подойдет, погладит, ухватит за уши, даст подержать сыну либо племяннику, накинёт седло, сядет — а там дело уже поневоле пойдет своим чередом; сколько бы ни носила лошадь, сколько бы ни была, когда-нибудь да уходится и присмирееет. В упряжку выездить иную, особенно киргизскую, помудренее, да и то ничего. Сперва боком, за один гуж, вертись и вези как знаешь; а там, как обойдется маленько, с постромки да в оглобли. Плеть первая наука.

Не только на коне и на пресной воде, но и на море Проклятов был как у себя дома. Сызмаленьку привык, дело домашнее. Он хаживал и на косных и на посудах, кусовых и расшивах, не только из Гурьева в Астрахань, но и к Колпинскому кряжу и дальше. Поблизости, в своих водах, бывал Проклятов на морском Курхайском рыболовстве, в одной артели с другими, потому что одному собраться тяжело, а на Тюк-караган, Мангишлак и в Кайдак хаживал по службе. В старые годы пускался он, бывало, и в открытое море на бударке своей, на крошечном долбленом челноке, за лебедями, промышлял перьями и шкурками и пухом; ныне промысл этот, как слишком опасный, давно уже запрещен. Проклятов знал не хуже штурмана зювест и норд-ост, фок, грот-брам, топ, как там у них называют топсель, знал шкот и галс, и фал, хоть и называл обыкновенно последний подъемною снастью. Проклятов был, сам того не подозревая, отчаянный моряк; лавировал и боролся мастерски с бурей и волнами, как с своим

братом; и это делал он также оттого, как объяснялся, что «привык так с молодых лет, что море у них — дело соседнее, под рукой». Бывал он и в отnose на аханном рыболовстве¹, и таскало его на льдине по морю недели по две; а между тем льдина все крошилась да крошилась от волн и бури, и Проклятов видел день за днем и час за часом мокрую и холодную смерть под собою. Но господь миловал, казака приносило опять моряной к берегу. Тогда казак наш, бывало, тужит только о том, что снасти пропали и собраться бедняку опять не с чем. Впрочем, если бы и не вынесло его на льдине, так казаку и на санях ину пору из моря выехать удастся, да не по льду, которого уже нет, потому что его взломало бурей, разбило и разнесло, а таки просто на санях по воде, по волнам: так по крайней мере поправился недавно, на нашей памяти, товарищ Проклятова, казак Дервянов, которого таскало несколько недель в отnose. Когда лошадь в крайнем положении этом была уже съедена, то Дервянов, как человек догадливый и запасливый, снявши с нее шкуру, бурдюком или дудкой, то есть целиком, завязал ее на взрезах, подвел под сани, надул, привязал, из оглобель сделал весла, из кафтана — парус, не знаю грот ли, фок ли или брамтоп, и добился на корабле этом благополучно до встречной рыбопромышленной посуды, вышедшей из Астрахани.

Наловил Проклятов много красной рыбы на веку своем; много икры наделал и много отправил этого товару, продав на месте торговцам, в Москву и в Питер; была рыба его и за царской трапезой, когда случалось ему попадать на царское багренье, с которого отправляют, по древнему обычаю, ежегодно на почтовых тройках царский кус, или так называемый презент; но сам Проклятов по целым годам и не отведывал ни осетра, ни белуги, ни шипа, ни севрюги; товар этот дорог, «не по рылу», как выражался старик. Он объедался красной рыбы только в лето после бузачинского походу, когда был в гурьевской морской сотне за приказного и ходил есаулом стеречь войсковые воды, чтобы астраханцы не обижали; тогда было у них рыбы вдоволь, и хоть продавать ее не продавали, потому что за это строго взыскивается, а сами ели вволю. Дома варила хозяйка Проклятова по временам, когда лов разре-

¹ На аханное рыболовство выезжают на санях по льду морскому. При моряне лед взламывает и спирает; казаки говорят тогда: шиханы ставить. Если сделается после этого верховой ветер, то рыбаков уносит на огромных плавучих льдинах в открытое море. Это называется быть в отnose.

шался, черную рыбу, а не то баранов резали, ели каймак¹, а как посты все соблюдались во всей строгости, так и приходилось в году месяцев шесть хлебать постную кашу да пустые щи. На поход снабжала хозяйка своего казака кокурками², сколько можно было подвязать их в торока.

Проклятов, как человек бывалый и обтертый, хоть и не решился бы есть из одной посуды с киргизом или калмыком, «с собачьей верой», но нашего брата не совсем чуждался, а признавал человеком, таки разве мало чем хуже себя. Поэтому он готов был есть с нами из одной чашки, пить из одного ковша и не брезгал бы этим не только в походе, где все разрешается, но даже и дома; но хозяйка его была на этот счет других мыслей и старинных правил: за хлеб-соль она ни с кого и ни за что не взяла бы платы, потому что это смертный грех; но посуды своей она «скобленому рылу» не подала бы также ни за что, а полагала, что собаку, собачьей веры татарина и нашего брата — бритоульца можно кормить из одной общей посуды. Старик в этом не смел больно с нею спорить, а то бы она ему самому, как поганому, поставила щец на особицу, в черепке, как дельвала каждый раз, когда муж приходил из походу, покуда не принял еще от своих очистительную молитву. Раз как-то Проклятов поставил для дорогого гостя, которого никак не хотел обидеть, самовар и подал чайник и чашки; хозяйки в ту пору не случилось дома, зато после он насилу кой-как успокоил старуху, и ухаживал за нею, и упрашивал долго ее. Но и тут она, не бравши, как сказал я, ни за что на свете платы за хлеб-соль, вытребовала с проезжего без всяких обиняков гривенник на очистительную для посуды молитву; не взяла его, однако же, сама, чтобы не сочли этого платой, а просила отправить чашки и гривенник с посторонним человеком к старой девке, которая заведовала этим делом и очистила опоганенную посуду! Хлопот за этим было много: этого нельзя было сделать дома, а носили посуду на реку, сполоснули ее и прочли молитву.

Сыновья Проклятова были ребята нынешнего склада: высокие, стройные и крепкие, как отец. Молодой народ на Урале чуть ли не рослее старого и, что бог даст впе-

¹ К а й м а к — упаренное до густоты молоко со сливками и густыми пенками.

² К о к у р к а — пшеничный хлебец, в котором запечено яйцо. Оно держится таким образом очень долго.

ред, не изводится, а крепок и дюж. Как растут они, так рос в свое время и отец, так росли в свое время деды и прадеды их: отмены нет никакой. Проклятов с десяти годов пас табуны, ездил с отцом на рыболовство и, выставив на санях или телеге значок, какую-нибудь тряпицу, шапку либо сапог, ехал берегом в тысячной толпе саней и лошадей, провожал управлявшего на воде отца и зевал, то есть кричал, в продолжении целых суток во всю глотку. Без этого рыбак в суматохе толпы не нашел бы вечером, пристав к стану, повозки своей, а потому каждый с воды и с берегу дают друг другу голос, зевают и ровняются. Тут настришь поневоле и глаза и ухо. Поэтому Проклятов и видел серыми глазами своими ясно и чисто там, где наш брат не видал ничего кроме неба и земли; а где Проклятов, поглядевши, скажет, бывало: «Чуть мельтешишь что-то», там без хорошей подзорной трубы и не думай разгадать задачу. Он привык и на море верно мерить расстояния закромом¹, и, завесив черни, то есть скрывшись от берегу, не видал его потому только, что берег был уже под кругозором и его нельзя было увидеть ни в какую трубу и стекла.

Грамоте Проклятов не выучился за недосугом: век на службе и в работе. Ему грамота и не нужна; это дело родительниц, которые должны замаливать вольные и невольные грехи мужей, отцов, сыновей и братьев. Родительницы сидят себе дома, им делать нечего, как сохранять и соблюдать все обычаи исконные и заботиться, по своим понятиям, о благе духовном. Пусть же отмаливают за казаков, на которых лежат заботы о благе насущном, промыслы и служба.

Скот ходит у казаков уральских на подножном корму зиму и лето, круглый год, пастухи и табунщики за ним в ведро и в ненастье, в метель, дождь, зной и стужу. Пастух и табунщик выгоняют скот свой на Урале не с рожком и со свирелкой, как в других местах, а с винтовкой за плечом, с копьём в руках и всегда верхом. Там из станицы в станицу редко кто поедет без оружия, и казак-ямщик садится к вам на козлы с ружьем и в подсумке с боевыми патронами. Итак, не мудрено, что Проклятов привык к винтовке сызмала, с двенадцати годов; в опасном месте всегда, не говоря ни слова и не дожидаясь приказанья, вынет, бывало, тряпицу из-под курка, осмотрит полку, при-

¹ За крой — расстояние, на котором судно в море скрывается под кругозором. Это верст двенадцать.

кроет ее огнивом и поставит курок на первый взвод. Подъезжая к станице, он бережно опять закладывает полку мячиком или клочком овчинки, спускает на нее курок в упор, а потом еще пробует, не сыплется ль порох с полки, подбирая с руки бережно каждое зернышко.

Случалось Проклятову и голодать по целым суткам, и к этому привык он смолоду. Летом сносил он голод молча, зимой покрякивал и повертывался; летом жевал от жажды свинцовую пульку или жеребеек: это голодит; зимой закусывал снежком. Солодковый корень, чилим¹, лебеда, яйца мартышек, даже земляной хлеб² и разные другие съедомые снадобья пропитывали его в беде по несколько суток сряду. Там приходила опять пора, и Проклятов отъедался за прошедшее и за будущее. И добро и худо, и нужда и довольство живут голмянами, как выражался казак наш, то есть порою, временем, полосою. Но кониши и верблюжины Проклятов не стал бы есть ни за что; скорее, говорит, издохну, а такого греха на душу не возьму.

Проклятов ходил под гладкой круглой стрижкой, как все староверы наши, то есть не под русской, не в скобку, а стригся просто, довольно гладко и ровно, кругом. Отправляясь с полками на внешнюю службу, стригся он показачьи, или под айдар. На Урале ходил он постоянно в хивинском стеганом полосатом халате и подпоясывался киргизской калтой — кожаным ремнем с карманом и с ножом; по праздникам щеголял в черной бархатной куртке или крутке, как он ее называл, может быть, правильнее нашего. Зимой на нем была высокая черная смушковая шапка, летом — синяя фуражка с голубым околышем и с козырьком. Сверх рубахи он всегда опоясывался плетеным узеньким поясом — обстоятельство в глазах его большой важности, потому что в рубахе без опояски ходят одни татары. И ребятишек маленьких хозяйка Проклятова тщательно всегда подпоясывала и била их больно, если который из них распоясывался или терял поясок: по опояске этой и на том свете отличают ребят от некрещеных татарчат, и когда, в прогулке по вертографам небесным, разрешается им собирать виноградные грозды, то у них есть куда их складывать — за пазуху; татарчатам же, напротив, винограду собирать некуда.

¹ Водяные орехи, которые вытаскиваются со дна озер рогожами.

² Замечательный лишай Усть-Урта. Он растет, катаясь свободно по земле, по камню, без всякой связи с почвой. В нем есть некоторое сходство, судя по питательным качествам, с исландским мохом, и в голодные годы его едят. Вкус дурной, иловатый.

Проклятов дома, на Урале, никогда не божился, а говорил «ей-ей» и «ни-ни»; никогда не говорил «спасибо», а «спаси ты христос»; входя в избу, останавливался на пороге и говорил «Господи нисусе христе сыне божий, помилуй нас!» — и выждал ответного: «Аминь». В часовню ходил он не иначе как в халате нараспашку и с пояском поверх рубахи. Но, принимая кровное участие в родном и общем деле, он дал обет помолиться усердно в православной церкви, если утвердят наконец окончательно за войском сенокосы на левом берегу Урала, Камыш-Самара с узеньями и обеспечат угрожаемые нашествием астраханцев войсковые морские воды.

Так вырос, так жил и так состарился Проклятов, но крайней мере стал сесть, хотя ему было не с большим пятьдесят лет, потому что написан из малолетних в казаки по восемнадцатому году, дослуживал ныне тридцать четвертый год службы и, надеясь на милость начальства, собирался в отставные.

Он был много лет линейным, вышел потом и в градские казаки, там опять попал в линейные, в морскую сотню. В гражданские, или городовые¹, он идти сам не хотел, куда силы есть и деньги нужны; но теперь уже поговаривал: «Пора уважить старику, послужил государю своему довольно и поставил за себя двух казаков, Вакха и Евпла». Сыновья его получили малонизвестные имена эти по заведенному на Урале порядку, родившись за седмицу до дня празднования церковью памяти сих святых. От этого обычая там не отступают, и Уральское войско представляет в этом отношении полные церковные, дониконовские святцы. Спросите любого уральского казака, как его зовут, и вы редко услышите употребительное между нами имя. Но если хотите знать прозвание его: «чей ты?» или «чья вы?» или даже, пожалуй: «чей ты прозываешься?» На вопрос: «чей?» — казак ответит: «Карпов, Донсков, Харчов, Гаврилов, Мальгин, Казаргин», и вы из окончания видите, что это прямой ответ на ваш вопрос. Вы спрашиваете: «чей?» — то есть из какой, из чьей семьи. Он отвечает:

¹ Градскими казаками называются все служилые казаки, выставляющие от себя требуемые полки и команды на службу; линейными — те, которые по наемке или по мирским подможным деньгам, получаемым с градских, ежегодно охраняют линии; гражданскими казаки называют особое отделение малоспособных и дряхлых служилых казаков, выставляющих людей только в городовые команды и вообще на службу внутреннюю.

«Донского» или сокращенно: «Донсков», «Мальгина» или «Мальгин», и прочее. В Сибири спрашивают вместо этого: «чьих вы?» И от этого вопроса произошли прозвания: Кри-вых, Нагих, Ильиных и прочих.

Надобно вам еще сказать, что Маркиана Проклятова, как и всех земляков его, можно узнать по говору; он только слово вымолвит, и сказать ему положительно: «Ты уральский казак». Так же легко узнать по говору хозяйку его, Харитину, и дочерей, Минодору и Гликерию, хотя в говоре, в произношении казаков и родительниц их нет ничего общего. Казак говорит резко, бойко, отрывисто; отмечает языком каждую согласную букву, налегает на р, на с, на т; гласные буквы, напротив, скрадывает: вы не услышите у него ни чистого а, ни о, ни у. Родительницы, напротив, живучи особняком в тесном кругу своем, вечно дома, все без изъятия перенимают друг у друга шепелявить и произносить букву л мягче обыкновенного. Они ходят гулять и веселиться на синчик в сельковой шубенке, а синчик называется у них первоосенний лед, до пороши, по которому можно скользить в нарядных башмачках и выстав-лять вперед ножку, кричать, шуметь и хохотать. Последнее, по строгому чину домашнего воспитания, им редко уда-ется. Упомянем здесь еще, возвращаясь к семейству Мар-киана, что старшую дочь свою, Ксению, старик отдал уже замуж, а приданого не дал, по тамошнему обычаю, ни гро-ша; об этом и речи не бывает: жених, напротив, должен по уговору справить невесте сороку, головной женский убор, заменяющий со времени замужества, в праздничные дни, девичью поднизь. Есть сороки на Урале в десять и пятнадцать тысяч. Там девки все бесприданницы, и обычай этот, конечно, ведется с тех пор, как их было еще мало, а холостежи казачьей набиралось много.

Итак, Маркиан Проклятов дослуживал тридцать чет-вертый год службы и глядел, хоть еще и крепок был, в от-ставные, да не выпускали, велели послужить еще с год, а там обещали начать забирать справки. Между тем потре-бовали с Уралу полк в турецкую войну. Вышел на базар-ную площадь в Уральске экзекутор войсковой канцеля-рии, — прежде дельвал это войсковой есаул, — прочитал вслух казакам, которые собрались в кружок и слушали, сняв шапки, что: «велено-де поставить полк к такому-то числу, приходится пяти служивым казакам поставить од-ного; сборное место — город Уральск». Прочел и пошел домой, только и забот войсковому начальнику, а полк к сроку будет.

Заложилась наемка, как говорят казаки, или установилась цена, подможных мирских денег по восемьсот рублей. Проклятову негде взять двухсот рублей на свою долю, надо идти служить самому. Дай пойду, говорит, возьму еще раз деньжонки, авось в последний сам соберусь и своих наделю и послужу напоследях великому государю.

Пошел, запел опять песни, обзавелся трубкой, добыл на поход чубарого коня, оба уха и ноздри пороты, и редкой прыти. Полк пробыл два года в Турции, тут еще позадержали в Польше с лишком год, наконец спустили; пошли домой на Урал. Выбыло из полка, однако же, человек полтора.

Большой был праздник в Уральске, когда вступил туда с песнями 4-й полк. Родительницы выехали навстречу из всех низовых станиц, усеяли всю дорогу от города верст на десять; вынесли узелки, узелочки, мешочки, стекляницы, штофчики, сулейки: все, вишь, жалеючи своих, думают — голодные придут, так напоить и покормить. Стоит старуха в синем кумачном сарафане, повязанная черным китайчатым платком, держит в руках узелок и бутылочку, кланяется низехошкко, спрашивает: «Проклятов, родные мои, где Маркиан?» — не слышать голосу ее из-за песенников, подходит она ближе, достает рукой казака: «Где Проклятов?» «Сзади, матушка, сзади». Идет вторая сотня, спрашивает старуха: «Где же Маркиан Елисеевич Проклятов, спаси вас христос и помилуй, где Проклятов?» «Сзади», — говорят. Идет третья сотня — тот же привет, тот же ответ. Идет и последняя сотня, прошел и последний взвод последней сотни, а все казаки говорят ей, кивнув головою назад: «Сзади, матушка, сзади». Когда прошел и обоз и все отвечали «Сзади», то Харитина догадалась и поняла, в чем дело, — ударилась об землю и завопила страшным голосом. Казаки увели ее домой, а Маркиана своего она уже более не видала.

ОСКОЛОК ЛЬДА

Четырнадцатилетняя казачка Марья Чернушкина, Красногорской крепости на Оренбургской линии, выгоняла в поле телят. Еще солнце не взошло, но пожелклая трава была суха, как пыль, на нее не пало за ночь ни росинки. Помахивая хворостинкой, Маша напевала песенку и спустилась под гору к мостику, как сбоку, из оврага, внезапно на нее наскочили верхами два человека дикого вида, с длинными копьями в руках, в лохмотьях, в мохнатых шапках. Они кинулись на нее украдкой, без всякого шума, и почти не говоря ни слова, а только свирепо пригравивая, схватили ее, приподняли поспешно с земли, перевалили через лошадь, поперек седла, и поскакали в сторону. Бывало одно слово: «Киргизы!» — пугало ребенка Машу так, что она забивалась в самый задний угол, на печи, особенно с тех пор, как в станицу привезли труп старшего брата ее, казака, убитого в стычке с киргизами; тогда все женское население станицы выбежало с воплем навстречу покойнику и Маша от испуга дрожала несколько дней и не могла спать по ночам; — а теперь она сама была у них в руках! Она обеспамятела, но вскоре опять пришла в себя, закричала и забилась на лошади изо всех сил, когда ей, как спросонья, показалось, будто ее кинули в воду: в самом деле вокруг нее шумела вода и перед собою она видела только бурную пену; вода неслась быстрым потоком под ногами лошади, и будто уносила ее с собою: у Машин закружилась голова и сердце обмерло, она резко взвизгнула и, сама не зная, что делает, хотела вырваться: это была переправа вброд через Урал. Киргиз ударил ее раза два, чтобы уgomонить и удержать на лошади, но она так сильно рванулась, что упала в быстрый поток. Невольно стала грести руками и выплыла на ближайший азиатский берег.

Но и тут ей не было никакого спасения; следя за нею, воры уже успели выехать на берег, соскочили с лошадей и спокойно ожидали добычу свою, которая не могла их миновать: им стоило только протянуть руки к идущей навстречу добыче. В изнеможении Маша отдалась им опять; они посадили ее на заводную лошадь, связали ей ноги под брюхом лошади и потащили ее крупной рысью за собою.

Солнце уже взошло и вскоре обсушило Машу. Верст 70 проехали воры в глубь степи почти в один дух, и она до того утомилась и измучилась, что чувства и понятия ее притупились, и она почти обеспамятела от скорби, боли, жажды и усталости. В крутом овраге воры остановились, дали пленнице своей испить воды, убедившись сперва, по сродной им предосторожности, что она несколько отдохнула, и дали ей немного круту (сыру). Она с жадностью пила, но есть не стала, уснула и с воплем пробудилась, когда после недолгого отдыха и забытья пришла опять в себя и постигла отчаянное положение свое.

Так или почти так прошла целая неделя, в больших и малых переездах и роздыхах. Наконец, разбойники прибыли в свой аул, кочевавший на песчаном Кара-куме, близости реки Сыра, где все население осматривало бедную Машу кругом и со всех сторон, любуясь марджой, то есть пленной русской женщиной, и оценивая на глаз, чего она стоит и сколько можно будет за нее получить. Здесь продержали ее несколько недель, заставляя пахать кумыс или пряхть верблюжью шерсть и обращаясь, впрочем, с пленницей довольно ласково. Особенно полюбила ее молодая, бойкая девка, в кованых остроносых сапогах и остроконечной шапке с перьями; девка эта приходила по несколько раз в день присматривать за Машей, заговаривала с нею, стараясь ее развеселить, и даже отстаивала ее против выходок злой старухи, хотевшей заставить пленницу, молоденькую девчонку, выминать в руках сыромятную кожу.

Подошли чумекейцы с караваном, который шел в Бухару, некоторые из старых извозчиков прибыли в аул, где находилась пленница, для смены заболевших или ослабевших верблюдов, и, услышав, что тут свежая русская пленница, стали об ней осведомляться: хозяевам представлялся случай выгодно сбыть ее. «Марджа! Марджа!» — раздалось по всему аулу — и Маша, зная уже новое название свое, переименованное, впрочем, из имени ее и многих землячек ее, — Маша вышла из кибитки и оглянулась: к ней шел хозяин ее с тремя посторонними, в числе коих был

один из прибывших с караваном бухарец, в пестром халате и чалме. Купец осмотрел Машу, пошутил даже с нею, зная несколько слов по-русски, уговаривал ее не горевать, а просить хозяина, чтобы он продал ее в Бухару, где ей будет жить хорошо, привольно и весело, не так, как у этих степных, необразованных мужиков; затем он старался приласкать ее, потрепал по щеке и стал бить с хозяином ее по рукам. Это длилось несколько времени, а Маша стояла молча и смотрела: хозяин ее, назначив цену, скидывал по временам что-нибудь или повторял одно и то же, а купец набавлял или также кричал свое, и каждый раз били они рукой об руку, переталкивая при этом Машу, в горячности своей, как продажного барана, то на ту, то на другую сторону. Этим каждый из них выражал окончательную волю или намерение покончить дело на своем слове. Наконец дело сладилось; купец развязал пояс, расплатился и, кивнув рукой, позвал Машу за собой. Как неживая, она последовала за ним; молодая киргизка побежала за нею следом, обняла ее и подарила ей, за большую редкость, простую, большую булавку, которой чрезвычайно дорожила. Лучшего подарка у нее не было, и не скоро, может быть она опять достала подобную редкость.

Недели две качалась Маша на верблюде, плакала и тосковала и опять по временам прояснялась, не зная чего-то ей ждать, что сулит ей будущность; быть захваченной в плен киргизами, очутиться на Сыре, потом быть перепроданную бухарцу и на пути в басурманскую столицу — обо всем этом она слышала, конечно, в рассказах о других, но к себе рассказов этих не применяла, себе судьбы такой не ждала. А ей всего только был 15-й годок — а отца и мать покинула она, вероятно, навсегда и непростившись даже с ними, погнав спокойно буренушку свою в поле и полагая свидеться с ними через полчаса... Теперь, голая, однообразная и сухая степь расстилалась перед нею во все стороны до бесконечности, все наводило тоску — а с родиной простилась она навек! Около недели спустя после переправы через большую реку, за которой следовала во все безводная степь на четыре дня ходу, места становились более жилимыми, начали попадаться обработанные поля, сады, окруженные глинобитными стенами, землянки или земляные лачуги. Издали появилось что-то вроде стен или земляной насыпи, с остроконечной башней, которая, среди гладкой и пустынной местности, казалась довольно высокою. Все пали на землю и стали молиться — это была Бухара-и-Шериф.

В тот же день вечером, Маша была представлена эмиру или хану бухарскому, которому купец поднес ее из чести, как пешкеш, подарок или приношение из дальней стороны. Хан, сидя на ковре с четками в руках, окинул ее глазами и приказал передать в ведение стряпухи, также русской пленницы. Эта старуха, управляя уполовником вместо атаманской булавы или шестопера, несмотря на униженное положение свое, умела держать всю дворню ханскую в безусловной подчиненности; сарты и таджики смеялись выходкам ее и повелительным приемам, но слушались ее; она готовила плов и бараннну на самого эмира и потому не только сменяла часовых под воротами ханского замка по своему произволу, но распорядилась нередко и на ханском пушечном дворе, и ясаулы хотя и перебранивались с нею по временам, но никогда не решались отменять ее распоряжений.

Мало-помалу Маша стала привыкать к своему довольно сносному, впрочем, положению. Умная, ловкая и проворная, она приобрела наперед благоволение этой непосредственной начальницы своей и поступила под особенное ее покровительство; вскоре, и не искав того, вошла в доверенность к младшим женам ханским и носила от них продавать на базар тюбетейки и другие безделушки их рукоделья, выручая за это несколько танег на шелк, лоскутья и иглы, которыми жены ханские коротали взаперти прескучное время. Состоя во дворце на побегушках, Марья ознакомилась со всеми жильцами его, а равно с обычаями и всем местным бытом. Глядя на жен ханских, сидевших десятками в самом строгом заключении, Маша Чернушкина, по русским понятиям своим, смотрела на них с сожалением и не променяла бы на их судьбу даже и свою. Эмир сам знал ее, потому что она иногда ему прислуживала, был к ней довольно ласков и, захворав однажды, заставил ее сидеть при себе всю ночь; он был человек хилый, изможденный, и у него вообще был обычай — держать вокруг себя, во время частой болезни, одну только женскую прислугу. Марья, как сметливая и услужливая хожалка, ему полюбилась, и с тех пор он не отпускал ее от себя ни на шаг, когда бывал нездоров; а это случалось с ним сплошь и рядом. Он к ней привык, и никто не мог услужить больному, брюзгливому эмиру лучше Машин.

Время шло однообразно; Маше исполнилось уже 17 лет, а старый и хилый хан был, так сказать, ее оберегателем; как ханская невольница, была она для всех недотрогой, ее боялись и уважали; но многие ждали, не пожалует ли

им хан Марью в невольницы же за какую-нибудь услугу. Старостиха или стряпуха, с своей стороны, прочила ее за какого-то любимца своего, пушкаря, также из русских, который очень старался Маше во всем угождать. Вследствие этого, стряпуха приняла бедную Машу еще ближе под свой надзор и покровительство, оберегая ее от всяких обид и искательств; и грозный уполовник ее не раз обрушался всею тяжестью своею на задорные головы покорных рабов и храбрых работников ханских, при малейшем посягательстве их на добрую славу хорошенькой, живой и умной девушки. Хан не отказывал стряпухе своей в сватовстве ее, но и не давал положительного согласия; старуха подучала Машу воспользоваться первым удобным случаем и замолвить об этом самой словечко; Маша на это не решалась, ей стыдно было просить себе жениха; так дело это и тянулось, оставаясь до времени не решенным.

Однажды эмир опять захворал и впал в жестокую горячку. Это было среди знойного лета. Маша высидела при нем бесценно несколько суток: то держала голову его на своих коленях, то отгоняла мух, то подавала пить или обмывала лицо его, то опахивала от жара, вертя быстро в руке своей четвероугольное, плетеное опахало, на деревянной оси или стержне: она устала до изнеможения, но не смела покинуть больного властелина своего, который стонал, метался, забывался, опять приходил в себя и все просил Машу, чтоб она его уберегала и выходила: умирать ему не хотелось. Разметавшись в жару, он вдруг отчаянно застонал: «Горит, горит во мне! Марджа, достань льду, достань мне сейчас же осколок льда, и я тебя озолочу!» Маша вскочила и побежала, сама не зная куда и за чем, потому что лед в это время года в Бухаре принадлежал к необычным редкостям; у кого он был, тот хранил и таил его, а у хана, жившего изо дня в день и притом всегда на чужой счет, вообще никаких запасов не водилось. Но Маша бежала без памяти и слышала только в сенях, как эмир кричал еще ей вслед: «Марджа, льду! Если принесешь, отпущу на волю и выдам, за кого пожелаешь!»

Выбежав из ворот ханского замка, Маша кинулась, как бешеная кошка, на какого-то прохожего таджика, с визгом и криком вцепилась в него и барахталась изо всех сил, между тем как он толкал ее и старался от нее освободиться и уйти. На крик сбежались люди с ханского двора и старостиха явилась с уполовником. Маша кричала только: «для хана, для эмира, эмир приказал!»— и силилась вырвать что-то из рук таджика. Старостиха тотчас же от-

пустила ему по голове уполовником полновесную нахлобучку и принялась кричать повелительно: «отдай, отдай, для эмира!» Прочие помогли ей, схватили строптивного таджика и хотели его тащить к хану на расправу, за слушание; вольно ему дураку было проходить так оплошно мимо ханского двора, как называют там эту кучу огороженных землянок, притон или логовище бессмысленного и кровожадного зверя. А Марья, сделав свое, давно уже в это время стояла перед ханом, с деревянной чашкой, в которой лежал осколок льда. Эмир жадно лизал его высоко-степенным языком своим и в удовольствии и неге повторял по временам обет свой отпустить Машу на волю и пристроить ее, если он только выздоровеет.

Подивитесь же Машиному счастью: выбежав без ума на улицу, она встретилась носом к носу с таджиком, и этот первый, встречный ей человек, нес в чашке осколок льду!.. Чудес, конечно, нет в наше время, а дивные вещи бывают: и случай, который я рассказываю, не выдуман, а был на деле.

Эмир выздоровел скоро: через неделю он уже сидел на своем ковре, еще желтее и бледнее обыкновенного, со впалыми щеками, со ввалившимися, бессмысленными глазами, с отупевшим умом, но он уже сидел и почитал Машу своей избавительницей. В пятницу поехал он верхом в мечеть. У Маши сердце больно забилося; она ни с кем не смела говорить о том, что обещал ей хан; но прислуга, стоявшая за войлочными пологамы дверей, слышала слова его, и в целом глиняном замке было всякому известно, что эмир обещал русской пленнице волю. Явились женихи; ее сватали зажиточные бухарцы, с условием, чтобы она приняла мусульманство.

Маша, в ответ на это, бранилась, затыкала себе уши и проклинала их в глаза; они смеялись и отходили в сторону; а старостиха, по данной ей повадке, грозилась на них страшным орудием своим; сватал Машу и русский пушкарь, но и его она не слушала, и тогда старостиха подымала уполовник свой на нее; видно, пушкарь сумел задобрить стряпуху и склонить на свою сторону.

Прошла еще неделя, настал мусульманский пост, и эмир позвал к себе Машу. «Я тебе обещал волю, если ты меня выходишь: ты свободна, выбирай мужа. Вот тебе десять тилла на хозяйство».

Маша рухнулась ему в ноги и взывала. В четыре года она выучилась свободно говорить по-татарски, а эмир понимал язык, как свой. «Пресветлый хан, говорила она, не

губи меня, когда хочешь сделать добро; вольный идет на все четыре стороны: отпусти же меня домой...»

Хан насупил брови. «Этому не бывать, — сказал он: — этого не позволяет вера наша. Отпускаю тебя на волю, но жнви здесь».

«Эмир, — завопила Маша, — у вас своя всра, у нас своя; перед богом всякая вера хороша, коли она добро творит; я молилась за тебя по-своему, ты умирал, бог меня услышал, ты теперь здоров; не бывать бы этому, если б я молилась по-вашему: тогда бы бог меня не услышал; тогда бы ты погиб... воля его есть на то, чтобы всякий держал веру своих отцов! Солнце Востока! что тебе в одной, бедной пленнице? Не найдешь ты разве работниц? Эмир, я не встану, я буду лежать, покуда не прикажешь ясаулам своим убить меня на месте за то, что я за тебя молилась, но я не встану; отпусти меня домой!»

Хан подумал, пожал плечами, развел руками — ясаулы подскочили было, чтоб вытащить Машу за дверь, но он взглянул на них, и они остоленели. Хан приказал ей удалиться, а к ночи созвал совет свой козыев и улемов, и предложил им на разрешение вопрос: может ли он домой отпустить пленницу эту, дав, во время болезни своей, в том самому себе перед богом святой обет, потому что он был в горячке, сильно страдал и не помнил, что делал? Он просил книжников не упустить из виду, что пленница эта спасла его от смерти, что он внутри сердца своего дал такой обет, и наконец, что речь идет не о человеке, а о девке. Улемы хотели было заняться предварительно решением вопроса: точно ли эмир обязан был ей своим выздоровлением? Но, как хан подтвердил самым положительным образом, заверив ханским словом своим, что без нее бы он умер непременно, то совет и не мог более в том сомневаться, а потому не только решил, что коли аллаху угодно было после такого обета продлить жизнь эмира и даже употребить для сего недостойным орудием своим эту куль, рабыню, то и обет исполнить должно и отпустить Марию можно; но сверх того приискал к тому случаю, как водится, для успокоения высокостепенной совести, приличный стих из корана, в котором, впрочем, речь шла вовсе об ином. Хан повторил стих этот с благоговением несколько раз, в тупом раздумье своем, и успокоился.

С последним осенним караваном веселая и резвая Маша стала собираться в путь; эмир сам призывал к себе караван-баша и передал пленницу на его ответ. Старостиха была оборотом этим очень недовольна, она бранилась и гро-

зились, но на прощанье вспомнила полузабытую родину свою, стала вздыхать и задумываться и вдруг сделалась, вопреки обычая своего, мягкой и плаксивой. Пушкарь сильно тосковал, напоследок даже плакал, как ребенок, и отдал Маше на дорогу образец своей работы, наказывая ей строго, чтобы она не забыла его дома освятить.

Одна Маша была весела и шаловлива и не помнила себя от радости; все трудности пути переносила она шутя. Недель через шесть прибыли в Орскую; тут нашла она родного брата на линейной службе. Его отпустили домой и на третий день прибыл он с сестрой в Красногорье. Трудно было узнать, с первого взгляда, в этой рослой, статной и бойкой девке, четырнадцатилетнюю Машу, которая три года пасла красногорских жителей телят. Вся станция бежалась; восклицания, рыдания и смех прерывались только по временам звонким чмоканьем приветственных поцелуев; пропавшая без вести Маша благополучно возвратилась под родительскую кровлю! Она хвалилась впоследствии, пересказывая любопытные свои похождения, что в плену быть ничуть не страшно, но идти туда вторично не соглашалась. Между Красногорскими казаками вскоре нашелся жених, к которому она была не так строга, как к бедному пушкарю бухарского хана; а хозяйки расторопнее и работающее Маши, конечно по всем станицам от Неженки до Орска, трудно было бы отыскать; мало того, хотя Каменная, как всем вам известно, славится на пространстве этом красотою казачек своих, но знатоки этого дела уверяют, что такой статной и видной женщины, какая вышла из Маши, не было даже и в Каменной.

БИКЕЙ И МАУЛЯНА

Глава I

КАРАВАН

«Идет, идет!» — раздалось в пестрой толпе, стоявшей отдельными кучками, смотря по званию или сословию, знакомству и связям, зрителей: — «Караван идет!». И толпа, многоязычная, многоглавая и разнообразная, как сама молва, зашевелилась. Ребятишки, оборванные татарчата, полунагие, но в огромных мохнатых шапках, обгоняли с криком друг друга и давали почтительные круги около зрителей высшего сословия, чинно выступавших в голове отряда; разнородная челядь теснилась вслед — хотя тесниться было не для чего, и простора на все четыре стороны на необозримой степи довольно. Тут шло несколько чиновных и должностных, с фамилией и с семейством; тут были торгоша, мыльные и сальные, в долгополых сюртуках и в пестрых шейных платочках; были и приписные и беглые мещане, отбивающие у первых меновой торг с кайсаками, коим отсыпают нередко щедрою рукой за барана несколько помадных банок нюхательного табаку, да мерочку муки, пополам с золою, с известью и песком; были и татары, промышляющие шубами, тулупами, яргаками и шкурами, такие же пройдохи, как и те; было и несколько человек, так называемых конфетчиков, т. е. просто лавочников, содержащих в городе, в частных домах, плохие лавки под названием магазинов. В Оренбурге есть и гостинный двор, но это огромное здание более походит на арестантский двор или на монастырь; лавки все обращены внутрь, а снаружи видны одни только стены; все глухо, пусто, мертво, и покупщики неохотно туда заходят. В толпе нашей были и казаки, коих, впрочем, можно было признать казаками только по навыку, по остаткам малиновых лампасов, сквозящихся в дыры подпоясанного полотенцем стеганого ха-

лата; и тут же расхаживало и несколько темно-зеленых сюртуков не солдатского сукна, с прозелеными выпушками, с медными бляхами на груди... Это сердцеведы наши, отгадчики тайных дум и затей всякого, кто взад или вперед переходит рубеж — они отгадывают по шапке — что в голове, по голове, — что за пазухой! Впрочем, здесь нет утонченной образованности: мне случилось однажды увидеть опыты киргиза пронести овчинный тулуп без пошлыны: он просто накинул его, среди знойного лета, на плечо, поверх двух халатов, заложенных полами в кожаные шаровары, и уверял, что он всегда так ходит.

В толпе, о которой говорим, поражает нового зрителя странность одежды и нарядов, а слушателя — общее употребление татарского языка. Тут видите вы многополосные халаты, желтые и красные кожаны, сшитые шерстью вверх конные дохи и ергаки, тут шапки невиданного покроя и неслыханного цвета; кожаные шаровары и армяки; и все это изношено, изодрано — что и придает целому какой-то пестрый, махровый вид. Но верх безобразия представляют здесь собою жалкие человеко-твари — байгуши, киргизские нищие: степные дикари эти нищают целыми аулами и поколениями и гибнут голодом и стужей без всякой надежды на помощь. Земляки их, в этом отношении, безжалостны, неумолимы. Полинейные кайсаки вообще так бедны, что на 20 тысяч кибиток, зимующих от Гурьева до Звериноголовска, на протяжении 1850 верст, считают кругом по пути душ обоего пола на кибитку и притом только по семи голов рогатого скота, по пяти лошадей, по одному верблюду, по сту баранов; но в этом числе есть богачи, у которых десятки тысяч овец и коней, и голыши, у которых на целое семейство одна дойная коза и более доходов решительно никаких; на козу эту выучит целое семейство все имущество свое и питается молоком ее — через день и два, поочередно; это не сказка, а быль.

Толпа народа, которую я описал, стояла на левом, азиатском берегу Урала, неподалеку от оренбургского менового двора; она подалась, при восклицании: «караван идет!» несколько шагов вперед и обратила внимание свое на стелящееся по степи облако пыли. В тылу у зрителей был огромный каменный меновый двор, коего стены бесконечного протяжения, казалось бы, готовы заключить в себе всех верблюдов Средней Азии...

Позади менового двора, верстах в двух, на том же левом, пологом берегу Урала, зеленилась рощица, одна-однихонька в обширной степи; на противоположном, крутом,

европейском берегу реки, высилось несколько каменных зданий, разрушающийся губернаторский дом, собор — а повыше, в форштадте, церковь Георгиевская, знаменитая тем, что Пугачев, во время приступа к Оренбургу, употребил колокольню Георгиевскую вместо барбета: он втащил на нее пушку, из которой стрелял, за неимением снарядов, пятаками. Это обстоятельство, сказывают, хорошо помнит один почтенный старец, которого строгий, тогдашнего века, отец, больно высек, чтобы восьмилетний ребенок, бегавший без спросу собирать пятаки, помнил Пугачева. Так в старину секли у нас ребятишек на меже, чтобы они помнили грани.

Итак, вот, что было в тылу зрителей; но что же было перед ними, там, куда обращены их мысли, взоры и шаги? Я недавно услал к своим вид, снятый неискусною, но услужливою рукою, с зауральской природы, сидя на вышке оренбургского менового двора, или, пожалуй, на крыльце бывшего губернаторского дома ¹, все равно; видом этим я служить не могу, потому что я его услал; но если вам угодно сделать снимок, не имея подлинника, то возьмите в руки перо или карандаш, положите перед собою большой лист бумаги или склейте их несколько десятков вместе; начните карандашом с одного конца и ведите прямо, до другого края бумаги, а потом подпишите выше черты: небо, а ниже: земля, и я, не выдав художественного произведения вашего, скреплю: с подлинным верно, приложу и руку и печать, или, пожалуй, тамгу, которая здесь, у нас, занимает место креста нашего безграмотного мужика, и к коей мусульмане здешние оказывают большое уважение, уверяя, что сам Чингис-хан роздал во все роды и племена рукоприкладные знаки. Итак, вы познакомились с видом в зауральскую степь; справедливость требует однако же сказать, что такой печальный вид степь представляет только, начиная от Оренбурга до взморья; Оренбург, по уверению книжников, стоит мало выше океана; здесь-то и степь наша сама принимает вид сухого моря. Выше — места разнообразные, частью гористы и лесисты; но бедный Оренбург, перенесенный с места на место до трех раз ², судьбы своей не миновал: он наконец-таки расположился в безлесной и голой пустыне.

¹ Выстроеного ныне вновь, на том же месте.

² Оренбург был первоначально заложен на месте Орской крепости, потом перенесен туда, где ныне Красногорская, а наконец уже основан там, где стоит и поныне.

Отдаленная пыль, ложающаяся клубом под ветер, постепенно приближалась к зрителям; из ровной необозримой степи возникали движущиеся громады и, обманывая зрение, казались не верблюдами, а огромными слонами. Маревое, это обыкновенное в степях состояние нижних слоев воздуха в жаркие летние дни, показывающее все отдаленное в превратном, безобразном виде и так часто обманывающее нас призраком воды, — маревое это и теперь превращало лошадей в верблюдов, а верблюдов в слонов. Это, как я упомянул, обыкновенное явление в знойные, ясные летние дни; в темную, весеннюю или осеннюю ночь, обширный круг зрения, сливающийся с отдаленным небосклоном, представляет здесь новое зрелище: вас окружает далекое, великолепное зарево, огненная полоса замыкает пределы зрения и ослепляет очи. Не мудрено, зазевавшись, оступиться в это время и полететь с оренбургского вала, с которого романтическое общество наше редко наслаждается этим зрелищем. Причиною зарева этого степные палы, пожары; весной и осенью зажигают старую траву, пускают пал; земля удобряется золою, а зеленая трава пробивается скорее и гуще; старая трава, в особенности ковыль, образует толстую, непроницаемую кошму, и молодая травка не может пробить ее свежими ростками. Где есть возможность выкашивать старую траву, палы вовсе не нужны; но и вообще, они делают столько же или еще более зла, как добра: истребляют зверя и птицу, которые водятся весной, и, что еще хуже, уничтожают леса, скошенное сено, иногда хлеб и даже стада и целые аулы. Палы — главнейшая причина тому, что одни только жалкие остатки лесов в степи доказывают их прежнее существование.

Но я опять уже покинул свой рассказ и замолел другое. Воротимся к каравану. Несколько вершников, ездивших встречать караван, по делу или от безделья, мчались по гладкой дороге, на которой бы и лучший уровень остался без дела, и наездничали вокруг спешившихся, их карет и колясок зрителей... Кареты и коляски, восклицаете вы, в киргизской степи! Да, господа, так дело было; я этому не виноват; но, повторяю, так было и так бывает ныне и будет вперед. Оренбург, в котором с каждого перекрестка во все четыре стороны виден крепостной вал, вмещает в себе почти столько же рыдванов и колымаг, сколько числится в городе малых и больших домов. Куда на них ездят? спросите вы; да мало ли куда: то за угол, то за другой, — визит, дамский визит, сами вы знаете, дело великое, а с визитом не ходить же пешком, да и не ездить же, упа-

си бог, и на дрожках! Ей-ей, иногда бедному вершинку — фалетору, по-вашему — некуда деваться, так колымага напирает, так крут поворот от ворот до ворот — нужды нет: пошел четверкой! но зато, браниться бранись, а на мир слово покидай — зато оренбургский карандас, пли по-симбирски тарантас, а также разлюли-долгуша — повозка на долгих, зыбких дрогах, самый удобный и выгодный снаряд для езды в поле и в дороге; ломки мало и опрокинуть его почти нельзя вовсе. На башкирских и казачьих лошадях, с лыковой упряжью, по небитым дорогам, с неукими лошадьми и кучерами, ездить в колясках или даже в бричках — решительно невозможно. Но — караван наш уже тянется канителью мимо зрителей: верблюды рычат, медленно поворачивают долговязые шеи свои в стороны и разглядывают чуждого для них покроя людей: продетый в носовой хрящ шерстяной или волосяной аркан, привязанный за хвост предшествующего верблюда, напоминает однако же мечтателю, что при таком снаряде задумываться невыгодно; приклонив и протянув журавлиную шею свою, делает он два, три перемета рысью и потом опять продолжает плавный, шаткий и валкий шаг свой, и огромные тюки, висящие в высоких, туго набитых мешках, по обе стороны вьючного седла, постоянно раскачиваются большими разводами взад и вперед. Так тянется верблюд за верблюдом, несколько верст; легко расчесть, что походным строем этим, гуськом, пойдет их на версту не с большим сотни две. Верблюды каждого возчика-киргиза составляют небольшое особое отделение; хозяин разъезжает сбоку, на коне, а иногда и сидит, как и работники его, пополам с кладью, на верблюдах, назначенных под собственный скарб, дрова и продовольствие. Каждый шаг этого подвижного амбара, который нагружается двумя батманами, 16-ю пудами, раскачивает и кидает ездока своего от горба до горба: незавидная езда! килевую качку эту может переносить равнодушно только привычный моряк; иначе, не только укачает любого, но, чего доброго, выломит из крестца поясницу! Чалмоносные хозяева товаров восседают обыкновенно, подобрав ноги, в люльках, койках или клетках, подвешенных по обе стороны верблюда: мохнатый возчик, в яргаке, в меховой огромной шапке, сидя на верблюде между страннообразной клады своей, походит на какого-то лешего или домового с того света. Проходя мимо вас, кажется, отвешивает он, на каждом шагу верблюда по нижайшему поклону: не беспокойтесь, не откланивайтесь, он это делает нехотя, поневоле. По обе стороны поезда тя-

нется реденькое карантинное прикрытие, отрядец казаков, встретивших караван в некотором расстоянии от линии: но в голове каравана, на первом верблюде, висит в люльке своей караван-баши, караванный голова. Это важнейшее и главное лицо целого явления; он один отвечает за успех и неудачу избранного степного пути, который пролагает вновь при каждом новом походе; он делает привал, роздых, дневку, назначает подъем, принимает меры против грабежа — которые, впрочем, при неизъяснимой беспечности народов этих, состоят большею частью только в том, что стараются избирать менее известные пути, не проходить чрез враждебный род, а в крайности откупаются от хищников и никогда почти не защищаются, хотя все, с ног до головы, вооружены. Голова берет и переменяет, где нужно, жожаков, юл-баши, словом, он хозяин на походе, и весь караван у него в безусловном повиновении. Дошедши до ворот менового двора, верблюд его припадает на колени. Караван-баши слезает и, подошед к стоящим здесь таможенным чиновникам, здоровается с каждым по-братски, принимая руку его в обе ладони свои и кланяясь. С близкими, старыми знакомцами здороваются азиатцы наши, взявшись за обе руки и прижимая, взаимно и попеременно, руку друга к сердцу своему.

Наконец караван вступает в меновой двор. Верблюды идут в проходной, складочный сарай, по-русски: пакгауз, по слову: чок! припадают, ложатся, арканы развязываются, и огромные тюки и мешки сваливаются в кучу. Глядя на эти груды или целую гору товаров, которые доставлены из отдаленного края, из Хивы или Бухары, из Китайского Туркестана, доставлены с трудом и усилием, даже с опасностью жизни, захотите вы узнать, какой это клад? что за товары? — кашемирские шали, которым нет цены? — восточные ковры, изделие, в коем шелк подделан шерстью? — драгоценные камни? — алмазы, яхонты, бирюза? — по крайней мере жемчуг?.. — одним словом, хотя что-нибудь подобное тому, что мы привыкли называть восточными товарами, что вывозят другие народы из Азии? — Ничего не бывало; это — стыд сказать, а грех утаить — но взгляните на оренбургский меновой двор, и вы увидите сами — это хлам и дрязг, почти такой же, как вы сейчас видели на возчиках, на конвойных, на байгушах; это стеганые бумажные халаты, где подбой и покрывка состоят из бязи, толстой и самой простой выбойки; халаты эти составляют не прихоть, не щегольство жителей здешних, но вся линия, все народы и сословия линейных жителей носят

каждодневно халаты эти, как русский мужик свою сермягу. Далее: это войлоки, по здешнему, кошмы,— это толстые бязи, выбойки, бумажные одеяла, самые грубые ткани и изделия, которые, кажется, не стоят перевозки на сто верст, не только через все пространство степей Турана. Несколько мешков урюку, али бохары, фисташек, манны, вяленых полосок дынь в плетешках, что все известно вообще под именем кунак-аш, гостинца для приятелей, и все это перегажено шерстью, пылью и всякою нечистью; наконец видите вы несколько хлопчатой и пряденой бумаги,— и вот все. И по всей оренбургской линии то же, и вот, в чем состоит весь торг наш с соседнею Азней!

Заметим еще и то, что русские вовсе не ходят с караванами в Среднюю Азию: торговля эта принадлежит исключительно бестолковым, безрасчетливым и безмерно корыстолюбивым мусульманам. Русский изворотлив, сметлив, предприимчив и переимчив у себя, дома; но караванная и морская торговля — не его рука. На Каспийском море нет ни одного русского торгового судна; все суда, за исключением рыбопромышленных, принадлежат персиянам, армянам, татарам, но только не русским. По всей оренбургской линии нет ни одного почетного торгового дома; есть так называемые богатые купцы, но они действуют как прасолы базарные, как торговки. Так называемые купцы здешние берутся за мену, и торговлю ведут почти тогда только, если уверены получить по пяти рублей на полтину или около того: они дают киргизу зимою хлеба или товаров на 50 рублей, засчитывают ему это за сто, обязуют поставить весною за это сотню ягнят, поручают их для прокормления, для паствы, ему же, принимают осенью, в условленном месте линии, сотню жирных баранов, отдают их в стрижку даром, из шерсти, гонят на Волгу, бьют на сало и выручают 12—16 рублей за барана, а мясо и шкура опять не входят в счет. Это образчик менового торга с кайсаками, и не лучше этого живет и торговля караванная. Но возвратимся к своему предмету.

Караван пришел. Некоторые бухарцы отправились в город, к общему приятелю и земляку своему, титулярному советнику Хаджи Назарбаю; большая их часть осталась на меновом дворе. В это время у ворот менового двора, на степной стороне, произошел шум: два конные киргиза довольно жарко спорили между собой; один из них был одет чище и лучше всех, доселе нами виданных: вместо рубахи были на нем, как водится, легкий бумажный халат; шаровары малинового бархата, с золотым шитьем; зеленые са-

поги из ослиной чешуйчатой кожи — chagrin — с окованными серебром закаблучьями, со вздернутыми носками и даже со вставленными в конце их кожаными хвостиками или косичками; сверх халата синий бархатный чекмень халатного покроя, с косым воротом, обшитым узенькими галунами, кожаный тисненый пояс, с привешенным той же работы карманом и с ножом; огнива, этой необходимой принадлежности калмыцкого пояса, кайсаки обыкновенно не носят, потому что трубок не курят: в этом отношении мусульмане здешние вообще составляют род раскола; курить, как уверяют они, запрещается у них законом, который порицает всякую роскошь и излишества. Вот почему последнее посольство наше в Бухарию не совсем удачно избрало подарки свои для хана: хрустальные кальяны не могли быть им приняты, потому что он, как богомольный человек, не хотел подать такого соблазна народу. Впрочем, в целом Турне и даже в самой Бухаре курят, украдкою и утайкой, много; но бьют за это на базаре жестоко, если поймают с поличным.

На бритой голове помянутого мною молодца была небольшая остроконечная, как воронка, тубетея, опущенная выдрой, а сверх тубетеси бархатная алая высокая шапка, колпак, с позументами по швам, с распоротыми с двух концов и загнутыми в четыре хвостика кверху полями: кроме этого, кайсак этот был в полном вооружении: копьё трехгранное, с насечкою, на украшенном цветной резьбою длинном копейце; за плечами ружье, коего оправленные в сайгачьи рога рожки выказывались из-за левого плеча; за поясом пистолет в оправе, на поясе чекан, айбалта, род топора на длинном топорнице. Такое полное вооружение на кайсаке весьма замечательно, тем более, что приезжающие к меновому двору должны миновать Новоилецкую или Бердяно-куралинскую линию, где оружие собирается. Но как Бикей находился собственно при караване, где и возчики и купцы всегда бывают более или менее вооружены, то при нем и были оставлены доспехи. Не менее достойно замечания полное и исправное вооружение нашего приятеля; обыкновенно на сотню вооруженных киргизов едва придется по несколько самопалов, ружей без замков, с фитилями; прочие все вооружены плохими копьями да чеканами. Порядочное ружье или пистолет доставляет хозяину своему уважение целого аула. Луков и стрел сами киргизы не делают, а достают их иногда у башкир или из Индии, Персии, Кабула, через Бухарию. Сабли носят только почетные. Со времен незапамятных хранится кой у кого коль-

чуга и шлем; и доспехи эти дают уже хозяину полное право называться богатырем.

Обращаясь к рассказу, я прошу читателей заметить стоящего перед нами всадника: мы с ним еще не раз и не два столкнемся: это Бикей, сын Исянгильдыя, глава киргизского прикрытия, которое, состоя из танинцев, охраняло караван от грабежей родов: Чумекей и Джагалбай. По дружбе с караван-башем, который был, как обыкновенно, чиклинец, Бикей проводил его вплоть до менового двора, хотя дружина и разбрелась уже за переход или два в степи.

Бикей Исянгильдиев был один из старшин отделения Гасан рода Тана. Отец его, Исянгильди Янмурзин, с почетным прозванием Аксакал, Белая борода, был богатейший из оренбургских киргизов и управлял уже слишком 10 лет танинцами, и именно, отделением Гасан, которое было известно спокойствием и благосостоянием своим с тех самых пор, как, отделившись от земляков своих, составляющих большую часть внутренней, Букеевской орды, снова перекочевало за Урал, постоянно занимая часть левого берега его, противу станиц нижеуральской линии. Миролюбивый Исянгильди умел избегать гибельной баранты, которая не обогатила еще ни одного рода киргизского, хотя и обратила целые аулы в байгушей, в пищих: старик всегда старался держаться кочевьем своим по близости линии, не общался с неблагонамеренными, отдаленными родами и нередко прекращал благоразумием случайные ссоры одородцев, своих с соседями, задабривая их обоюдно небольшими подарками из собственных стад и табунов. Впрочем, Исянгильдию не мудрено было быть и тароватым; у него, как ведомо тем, которые были знакомы в то время со степью, у него было более десяти тысяч одних лошадей, не считая овец, верблюдов и рогатого скота. Некоторые уверяют, что это преувеличено, что у Исянгильди не было более восьми тысяч коней; другие, что было до двенадцати. Помиримся на половине, и этого, кажется, будет довольно. Исянгильди был первый или один из первых богачей в степи,— это бесспорно.

Но отец не ладил с сыном; благоразумный и почтенный, чужими и своими уважаемый Исянгильди Аксакал — не ладил с младшим сыном своим,— умным, бойким, славным молодецеством и добротою души Бикеем! И отчего бы это? Так нередко бывает на свете, други; подите и разберите их, кто прав, кто виноват,— или дайте мне досказать и судите сами. Скажу теперь только еще, что Бикей

уже нет, а девяностолетний Исянгильди нередко и поныне ¹ качает головой и нашептывает ля иллях иляллах,— поминная сына, который некогда, в юности своей, был его любимцем.

Султан Кусяб Гали, старшина одной из дистанций понизовых кайсаков, принадлежащих к западной части орды султана-правителя Бай-Мохаммеда Айчувакова, Кусяб Гали сидит теперь у меня; и между тем как он, протягивая руку за расставленную перед ним на тарелочках закускою, спрашивает за каждым кусочком у общего нашего приятеля, у муллы: халял или харам (тоже что у евреев коширь и трэф), и мулла мой не позволяет ему есть ни копченого медведя, ни заячьих полотков, не позволяет также носить шелковой рубахи, уверяя, что это прямо и ясно запрещено кораном,— между тем, говорю, хочу пересказать вам то, что султан Кусяб мне говорил о причине глубокой вражды отца и сына; а султан Кусяб женат на родной сестре Бикей, на дочери Исянгильдия, следовательно, дело ему известно.

У старика Исянгильдия было три жены, а от каждой жены по нескольку детей. Он просватал одну из дочерей от первого брака за кайсака байбактынского рода, отделения Игусагат, но она умерла еще невестой, и жених потребовал возврата калыма. Обычай велит возвращать жениху калым по смерти невесты в том только случае, если жених ее не навещал еще в ауле отцовском; в противном случае, жених лишается калыма или той части его, которую уже выплатил. Надобно полагать, что нареченный зять Исянгильдия имел право требовать возврата калыма, ибо мать умершей, не имея другой родной дочери в наличности и не желая выдавать благоприобретенного, уломала старика Исянгильдия отдать байбактынцу, в зачет умершей, одну из дочерей второго брака, так сказать, падчерицу свою, ибо второй жены Исянгильдия в то время уже не было в живых. Несправедливое дело это состоялось, из этого мы видим, что, как говорится, и правда живет часом кривою, и что жены везде и всегда — не в пример будь сказано — из мужей своих под старость веревки вьют. Старик Исянгильди, слывший мудрым и справедливым, когда судил и рядил чужую расправу, в собственном своем деле погрешил и покривил, а потом уже сознаться и исправить беды не хотел. Итак, отдали птенца из второго гнезда, а калым за него остался в первом; вот начальная

¹ Писано в 1833 году.

причина всех бед. Бикей вырос, возмужал и, считая себя заступником и опекуном одногнездов своих, лишившихся матери, стал требовать их достойное. «Вы продали сестру мою», говорил он, «не как невесту, но как куль-кыз или джасырь, как рабыню; вы не взяли почетного калыма, для приобщения его к достойному ее семейства, то есть к семье второго гнезда или брака, но вы отдали ее, как отдают кяфыра, неверного, за сотню баранов, а верблюда за полтора десятка, и разделили добычу утайкою между собою, как тати; или подайте нам весь калым сестры моей, или отдайте одну из двух девок, дочерей первого брака, которые теперь подросли, и мы найдем ей жениха, отдадим ее за калым и будем квиты». Отец отвечал на это угрозами: старик привык к покорности и повиновению. Мачеха虐待ливала его на Бикей, а двое старших сыновей ее, взрослых, возмужалых, ожидавших со дня на день выделки, приняли, как само собой разумеется, сторону отца.

Если знать коротко быт степных кайсаков, если войти в обычаи и понятия их, то можно и должно оправдать Бикей. Там, где многоженство бывает причиною всегдашних семейных раздоров, где временная владычица над волею, умом и сердцем господина своего пользуется властью своею всегда к накладу прочих,— там птенцы одного гнездышка прижимаются ближе друг к другу и заключают противу прочих оборонительный и наступательный союз; сыздетства уже привыкают они видеть в матери родной заступницу, а в других женах отцовских клеветниц и безжалостных притеснительниц; в отце — неумолимого, безрассудного карателя, от грозной руки коего уклониться можно только обманом, новою клеветою и доносом или, возмужав, открытою силой. Никогда мусульманин не чтит мать свою, не считает обязанностью ей повиноваться: он видит в ней ту же рабыню, то же жалкое существо, созданное для нужд и прихотей отца, которое видит и во всех других женщинах; какими же глазами должен он смотреть на прочих жен отцовских, на сожительниц его, которые живут и промышляют одними только кознями, сплетнями, к накладу целого семейства?— Здесь наше мерило нравственности не прилагаемо, не применяемо: закоснелое невежество и тупое изуверство требуют иного изучения и приложения. А отдать девку замуж без калыма, кроме утраты через это законного достоинства, почитается сверх того величайшим бесчестьем. Вот как надобно смотреть на действия Бикей и вообще на целое происшествие. Многоженство мусульман всегда бывает поводом к раздорам семей-

ным, которые может переносить равнодушно только закоснелая в исламизме душа. В оренбургском крае есть много семей татар, башкиров и тептерей, в которых благоразумные деды и прадеды, испытав горе это на себе, священным закланием на смертном одре своем постановили, чтоб и потомки их всегда довольствовались одною только супругою, и завещание это обыкновенно соблюдается строго. Все почти мусульмане соглашаются в том, что это лучше; но соблазн велик, и люди, как всегда и везде, говорят одно, а делают другое.

Бикей, которого мы покинули, когда он перебранивался с двумя всадниками, неподалеку от менового двора, повернул круто коня от двух братьев своих, которые, узнав, что он провожал из глубины степи караван хивинский, приехали тунейдцами требовать от него дележа честно приобретенной им платы,— повернул, и отвечал на угрозы их: донести отцу о причине самовольной отлучки его в степь, что он, еще в зыбке лежа, потянулся и разломал ее, а ныне уже и сам собирается строить колыбель будущему сыну своему! Надобно знать, что у киргизов всякий муж должен припасать детскую зыбку вновь, для каждого новорожденного своего, сам; люлька эта выгнута из прутьев, походит на небольшую кукольную койку, и между прочим, в случае смерти младенца, опрокидывается на могиле его, где и остается навсегда. Делать зыбку, значит, быть независимым, иметь жену и хозяйство.

Если хотите, можем, на обратном пути от каравана, дать круг по меновому двору, где сосредотачивается торговля и промышленность двух частей света. Под навесы бесконечного протяжения, в каменные лавки с окованными дверьми и железными запорами — не заглядывайте: там, кроме замков на запорах этих ничего. Все мертво и пусто. Только по двору толпятся тут и там верблюды; несколько баранов ожидают, на привязи, смиренно участи своей; торгаши наши расхаживают между ними, ощупывая курдюки, и с криком и шумом, с клятвами, божбою и ругательством, почти насильно отымают и выменивают баранов этих у нерешительных продавцов, которые, кажется, только этим способом умеют сбыть свой товар; кой-где сидит, на голой земле или на рогоже, торговка, судя по лицу, какое-то среднее отродие между русским, турецким, чудским и монгольским племенами; сидит, обвешивает и обмеривает кайсаков на товарах, составляющих запас подвижной мелочной лавки ее. Загляните в этот короб, или сколоченный кожаными наугольниками ларец, из которо-

го она выбирает и навязывает мохнатуму покупателю своему и квасцы, и гвоздику, и кусочки купоросу, осторожно стряхивая с них в бумажку рассыпанный по всему ларцу табак; взгляните на перепутанные мотки, клубки и узлы серых ниток и алого шелку, на завернутые в оторванном клочке бумажки ржавые толстые иглы, шилья и гвозди, па деревянные ложки, на дружественный союз разнородного скарба этого, присыпанного, думаю, для единообразия, табаком, мукою, пылью,— и все это даст вам надлежащее понятие о торговых сношениях Европы и Азии на точке взаимного их соприкосновения.

Глава II

СОСЕДИ НАШИ

В архиве канцелярии оренбургского военного губернатора хранится, при одном деле, между прочим, бумага, на полях которой помечено собственною рукою тогдашнего военного губернатора следующее:

«Написать о сем обстоятельстве в Азиатский департамент и упомянуть, что, по сим и другим сведением, в Хиве должны находиться до 2-х тысяч человек русских пленников. Сделать выписки из подписей и повестить об участии сих несчастных в те места, отколе они показывают себя родом. Перед выходом каравана изготовить ответ на письмо сие, в виде объявления, и без подписи, коим уверить пленников наших, что правительство печется об их освобождении; послать, по просьбе их, тельные кресты и евангелие, для подкрепления веры и надежды страдальцев.— Доставившему письмо сие, сыну старшины Танинского рода, Гассановского отделения, Исянгильдия, старшине Бикею, выдать из сумм, на сей предмет имеющихся, сто рублей и пять аршин алого сукна на чекмень».

Читатели видят, о чем идет речь: Бикей Исянгильдиев доставил переданное ему, через верного кайсака, из числа кочующих за рекою Сыр (Сыр-Дарья), письмо от русских пленников из Хивы. Убедительные жалобы и просьбы, полуграмотным языком, изложенные, трогают и сокрушают в холе и довольстве проживающего читателя и заставляют призадуматься над тем, что мы называем обыкновенно судьбою человека. Письмо было писано на вылощенной русской бумаге приготовленную на клею сажею, вместо чернил; свернуто трубою, измято во множестве перело-

мов; зашито в ветошку и во многих местах протерто, так что иных слов даже нельзя было и разобрать.

Писатели извинялись неведением приказного порядка, как писать просьбы большим сановникам; говорили, что не только не могли доведаться об имени и отчестве военного губернатора, или вообще о том, кто ныне представитель главного пограничного начальства, но недавно только узнали, от новых пленников русских, на рыбном промысле Эмбенского участка Каспийского моря захваченных, что в земле русской воцарился новый государь; приносили благодарность за доставление им, с прошлогодним караваном, двухсот серебряных крестов и пяти евангелий и молили о присылке еще до тысячи, хотя бы то и медных, крестов и нескольких священных книг: Евангелия, Четьи-минеи и Требника; горько оплакивали рабство свое, в котором, нагие и босые, холодные и голодные, маялись они на тяжелой земляной работе, подвергаемые непрестанным побоям, единственно, дабы помнили о рабстве своем и не имели бы ни сил, ни досуга помышлять о чем-либо ином; сказывали, что в хивинском юрте (ханстве, владении) бывает по одному разу в год, после рамазана, праздник, называемый кул-байрам, — пир рабов, на который все без исключения невольники имеют право приходить и гулять на свои собственные деньги и на пожертвованные жителями припасы: при каковом случае и сочтено, что одних русских пленников, не считая персиян и других иноверцев, находится в Хиве до 2000 человек; в заключение, просили помощи, сами не зная какой, сказывали, что неурожай последних годов вогнал пуд муки в тилла, то есть до 16 рублей; что они гибнут голодом, особенно старики, которые, пробыв в плену и тяжелой работе лет 40 и более, ныне, при дряхлости своей, брошены хозяевами, по случаю дороговизны, без всякого призрения, на произвол судьбы; называли себя напрасно и невинно страждущими верно-подданными Белого Царя, христианами, погибающими в руках неверных масурман: слово, составленное писцом вероятно из басурман и мусульман; поручали себя и души свои молитвам единоверцев своих и пребывали, по отпуске письма сего, во ожидании великих милостей, богомольцами; за сим следовало десятка два различных подписей, и при каждой прежнее звание и родина пленника, например, казаки Островной станицы: Павел Зайцев с сыном, астраханский мещанин Егор Щукин, служащий казак Иван Печоркин, отставной солдат Андрей Еремин и другие.

Из списка, составленного по всем сведениям, которые

только могло собрать оренбургское пограничное начальство, видно, что с 1758 по 1832 год увлечено в плен киргиз-кайсаками с оренбургской линии 3797 человек; а следовательно, средним числом около 52 человек на год. Из этого числа возвращено, отбито, выкуплено и бежало, в течение 73 лет, всего 1154 человека. Самый счастливый для нас год был 1830, в течение коего не похищено ни одного человека; самый бедственный 1774, где увлечено 1380 человек; читатели заметят, что это было смутное время, последовавшее бегству калмыков с приволжских степей и разбоям Емельки Пугачева. В новейшее время, 1823 год был один из самых беспокойных, и с линии похищено 113 человек. Поводом этому служило занятие Илецкого участка, лоскута земли, лежащего противу Оренбурга, между реками Илеком, Бердянкою, Куралою и Уралом, и известного бесконечно огромным плато каменной соли, который, по выкладкам досужих книжников, может снабжать нас 14 тысяч лет сряду миллионом пудов соли в год. Ныне, в последние годы, кайсаки вовсе перестали таскать людей с линии, ибо некоторое устройство в степи весьма затрудняет им сбыт и даже самую утайку невольников, а страх поплатиться головою отбил батырей от этого опасного промысла. Учреждение трех султанов-правителей, вместо одного хана, много способствовало введению некоторого порядка и повиновения; а последние походы в степь, малыми и большими отрядами, показали кочевым и хищным обитателям ее, что степь для нас проходима¹. Но независимо от приложенного расчета, адайские киргизы и туркмены, залегающие на северо-восточных берегах Каспийского моря, таскают, с помощью астраханских татар, ежегодно от ста до двухсот рыбаков с каспийского рыбного промысла. Подробного расчета им нет. Пленников своих продают кайсаки хивинцам, изредка и бухарцам, но несравненно большая часть их идет в Хиву. В отдалении от линии, есть и в самой степи, у кайсаков, русские невольники, но весьма немного, и, кажется, обыкновенно только по согласию с бродягой — иначе всегда легко уйти или дать знать о себе на линию.

От одного из таких-то бедующих земляков наших привез Бикей, по связям и знакомствам своим в степи, письмо и сделал это менее из видов корысти, из расчетливости или даже приверженности к правительству, а просто по

¹ Со времени хивинского похода 1837—1840 г. не было уже ни одного примера похищения с линии или с моря русских хивинцами.

личным связям и по приязни с линейцами, с уральскими казаками, с которыми жил в дружбе и сношениях личных, водил хлеб-соль. Они-то наказывали ему почасть: «раздобыть весточки от родимых», по которым заживо панихиду отслужили, поминая их наряду с преставившимися. За всякое покушение высвободить или увезти пленника, равно за перевозку писем их, хивинцы жгут, режут и вешают: несмотря на это, мы ежегодно получаем оттоле письма и ежегодно уходят пленники. Приключения и похождения этих отверженных, лишенных всех прав человечества — кроме смысла, которого, на беду, лишитъ существо это невозможно — приключения их дивны, непостижимы: часто превосходят они всякое вероятие, но не менее того не вымышлены. Один был захвачен, мчался 8 дней на коне, связанный по рукам, по ногам, ночи проводил, связанный же, под душною кошмою, на четырех концах которой лежали зверские стражи его, и не видал в 8 суток ни зерна пашенного; другой не помнит, что с ним было: его били обухом по голове каждый раз, когда он приходил в себя, чтобы он одурел, оглупел и не имел ни средства, ни охоты к побегу; третий родился уже в Хиве от русских пленных родителей, вырос там и нашел средства бежать, сквозь тысячи сторожей, сквозь степи безводные и бескормные и пришел на Русь святою христианином, пронесив при себе 19 лет записку, данную ему отцом о родине и о родичах его; еще иной вышел чудными похождениями из плена, в котором находился более полувека — 56 лет; и годы эти протекли однообразно, неизменно, как один день; — опять иной, наконец, за исполинскую силу свою, произведен, с проименованием Пелюан-Кул — силача-раба, в первые сановники ханства, или, по крайней мере, двора, подчинил себе богатырским кулаком своим и двор и ханство, ходил в шелку, ел сытно, а улучив время, ушел, покинув честь и место, увел четырех аргамаков ханских, видел за собою погоню, слышал в ночи, как на него пожи точили, клал уже голову на плаху, — а прибыл, миновав все беды, подобропоздорову на родину свою, и ныне — мужик 12 1/2 вершков — торгует в Астрахани прящиками!

Итак, братья Бикей, которых видели мы вскоре по прибытии каравана на меновый двор, не получив от него желаемого побора, возвратились в свои аулы и донесли отцу Исянгильдию, что сын ему не повинуется, что он не идет на зов отцовский. Новый раздор, новые поджоги ненависти и мести; сводные братья, не желая выдать калыма сестры Бикей, то и дело подстрекали обе стороны, раз-

дражали старика день за день новыми доводами непокорности и строптивости сына; в отсутствие же этого, поселяли они в отце подозрение, что тот хочет лишиться его власти и доверенности народной; что, получив уже старшинское звание, в виде почетном, ныне добивается у правительства отцовского места, и потому подыскивается, прислуживается у русских и якшастся с лишайцами. И слабый старик, черствый, упрямый, виноватое дело свое хотел поставить правым, не давал отчета в незаконных делах своих, а требовал на суд сына. Так прошли месяцы, годы, и отец питал уже безотчетную ненависть к лучшему сыну своему; не мог видеть его, не загораясь багровою кровью; а сын, в гордости правоты своей и чистоте дела, за которое стояли все однодворцы и земляки его, говорил и действовал смело и самостоятельно. Он никогда не забывался противу отца, никогда не грешил противу патриархальных обычаев дикарей степных, у коих белая борода уважается безусловно целым семейством, родом и племенем: но братьям всегда говорил он правду в глаза, — правду, которая тем более колола, что Бикей не бранился с ними, как это водится нередко у земляков его, на весь аул: никогда не выходил, как они, из себя, а отражал все нападения их какою-нибудь сильною, смелую и язвительною насмешкой, а сам оставался при своем и делал свое. Это, правда, самый горький, унижительный и непримиримый способ состязаться с противниками, в особенности со слабейшими и с теми, у коих не чиста совесть.

Братья Бикей, о которых мы говорили, были Джан-Кучук и Кунак-бай. У кайсаков есть монгольский или калмыцкий обычай, который встречаем также у полукочевых башкиров, но которого не знают другие мусульманские народы, давать имя новорожденному по произволу, с первого встречного предмета или понятия. Так например, замечательное имя Куте-бар, принадлежащее довольно замечательному лицу, показывает, до чего простирается вольность кайсаков в избрании имен, и как мало стесняются они при этом какими-либо условиями. Имя Исянгильди — в переводе: добро пожаловать, здорово пришел; Кунак-бай значит: богатый друг, но Джан-Кучук, душа-собака, собачья душа, есть кличка, достойная негодяя, которому принадлежала или принадлежит, ибо он жив и доньше, Джан-Кучук был один из тех дикарей, которого можно и должно называть просто зверем, не распространяясь в картинном изображении бессмысленно-зверского права его, не исчерпая на него весь запас поносных и ру-

гательных слов богатого русского языка. Кайсак свылся и сжился со всеми ужасами разбойничьей междоусобной жизни и тешитя огнем и ножом всюду, где только судьба и случай предает ему на истязание живое существо; он никогда не удовольствуется убиением врага или противника, обыкновенно даже избегает этого, если боится заплатить после за это куш; но он изобретает муки и истязания, перед которыми вся нынешняя школа юной Франции должна почтительно поникнуть главою и подать ему, Джан-Кучуку с сотоварищами, венец первенства и совершенства.

Суд и расправа кайсаков прилинейных ныне в руках у султанов-правителей, кои, числом трое, управляют оренбургскими кайсаками с 1824 года, со времени уничтожения ханской власти в степи. Полезное преобразование это последовало по случаю самовольного удаления бывшего хана Шнргазы Каппова в Хиву. Он возвратился с раскаянием, когда хан хивинский обобрал у него, мало-помалу, все подарки царские: алмазы, пожалованные жене его, ханше, ханджар и прочее, и живет теперь милостью правительства нашего, но веса и значения не имеет вовсе. Султаны-правители состоят под непосредственным ведением пограничной комиссии, подчиненной военному губернатору; уголовные дела решаются по нашим, русским постановлениям; но суд и ряд удаленных от линии родов киргизских находится в руках сильного; а сильный — это богатый или прославившийся разбоями наездник. Султаны, потомки Чингис-хана, коим дают прозвание ак-сюяк или ак-сюнмяк — белая, благородная кость, отличаются чисто монгольскими очерками лица; они завоевали степь, вероятно, гораздо позже заселения ее кайсаками. Султаны, кажется, были вытеснены на юг из Сибири, при завоевании ее русскими; народ кайсацкий принял их, как белую кость Чингиса, с благоговением, и они живут доселе больше или меньше на счет этого народа. Впрочем, не должно думать, чтобы султаны имели какую-либо власть над чернью киргизской: эта совсем в другом к ним отношении, чем хара, черные, простые калмыки к цаган-ясац, к белой кости своих нойонов и зайсангов; простые калмыки более нежели крепостные: они рабы безответные; а кайсак волен и свободен и очень-очень мало повинуетя своим султанам. Несмотря на это, султаны иногда преимущественно достигают власти и влияния на одноземцев своих; известный султан Арунгазы, умерший в ссылке в Калуге, был человек необыкновенный: он приобрел неслыханную дотоле власть над народом, который трепетал от голоса его, питал к нему ра-

болепную и безусловную покорность. Это у кайсаков явление довольно редкое; обыкновенно не ставят они султанов и старших своих ни во что и повинуются им разве только там, где требования их подкрепляются русскими отрядами. Но Арунгазы умел ладить с народом; при нем, между прочим, баранта — этот истый бич кайсаков, почти вовсе вывелась, никто не дерзал прибегать к этому гибельному самоуправству, а шел с жалобой и просьбой к Арунгазы: и ярлык, с грушевидною печатью султана, был свято чтим получателем, который, вместо ответа, мирился и разделялся немедленно с обиженным. Султан Арунгазы казнил неоднократно смертью; он просто резал их, связанных, ножом, как баранов! На вопрос мой у кайсаков, кто при этом служил ему за палача? — отвечали мне, что каждый, у кого только на ту пору случался на поясе нож, кидался, наперерыв, исполнить повеление хана — как они обыкновенно называли султана Арунгазы. Мне указали, между прочим, и на Джан-Кучука, который лежал на грязной кошме, подставив черный бритый затылок солнечным лучам, под коими термометр Реомюров показывал за 40 градусов, — указали на него, и сказали: «и этот ловко режет и служил бывало ножом своим хану!»

Несмотря на такие и иные ужасы двух крайностей: безналичия и самовластия, азиатца трудно вразумить, что дела могли и должны бы идти иначе и лучше. Соседи наши стали и стоят уже несколько столетий на одном месте, на одной и той же степени невежества и изуверства: не оглядываются назад, не смотрят вперед и коснеют в тупой, животной жизни. Кочевые народы, сверх этого, дорожат своею дикою, бестолковою независимостью, по крайней мере столько же, как неукротимые их тарпаны и куланы. Кайсаки до того ненавидят правосудие наше, наши обряды судопроизводства, что предпочитают им всякую домашнюю расправу, лишь бы дело было кончено на словах, в один прием, лишь бы обвиняемому и прикосновенному не тягаться месяцы и годы, не сидеть, ожидая медленной, томительной переписки, в каком-нибудь гнилом остроге, где он весьма нередко, не дождавшись конца расправы, гибнет. Кому мало простора между Янком и Сыр-Дарьею, тому тесно и душно заживо в подземном склепе.

Коренной суд кайсаков таков: хан или султан, с почетными аксакалами, биями, старшинами и муллами, садятся в глубине кибитки; истец со свидетелями по правую, ответчик со свидетелями по левую руку; первый начинает говорить и рассказывает дело, со всеми подробностями;

свидетели поддерживают его, дополняют, поясняют и подтверждают; потом другая половина рассказывает дело с начала и до конца по-своему; во все это время одна половина другую перебивать не смеет, и всеми присутствующими сохраняется глубокое молчание. Наконец все выходит: султан или хан советуется с биями и муллами, произносит приговор, и обе половины призываются для выслушивания его; тем дело кончено, нет ни споров, ни апелляций; решение выслушивается в молчании, с уважением, и исполнение следует за ним. Не скажу, впрочем, чтобы приговор этот был всегда справедлив и бескорыстен; пешкеш, то есть почетные подарки и гостинцы, у азиатцев во всеобщем употреблении, и дело редко без этого обойдется. Но кайсаки на это жалуются тогда только, если уже корысть судьи превосходит силы и достояние просителя; умеренные взятки считаются делом позволительным, даже необходимым,— это обычный пешкеш или буйляк. У оседлых азиатцев, где нет ничего патриархального, бывает гораздо более зла и безотчетного самовластия, что делается в Хиве, в Бухаре, это рассказать можно, но поверить трудно. Раджа кашемирский забивает особым фирманом, которым под смертною казнь воспрещается продажа или утайка хлеба, забирает весь годичный запас его в свои житницы и платит хозяевам по произволу. Тут всякий спасает, хоронит, зарывает в землю, что может; редкий отдает хлеб свой, не подставив наперед раз, другой подошв своих; а иной гриплачивается, за неудачную попытку утанть его, головою. Наконец дело слажено: житницы раджи полны, а народ без хлеба. Тогда докладывают ему, что народ есть хочет; голод свирепствует, народ умоляет открыть продажу, не погубить, не выморить всей земли свосей... Раджа еще медлит, голодные толпы облегают сераль его, с утра до поздней ночи просят, без умолку, хлеба. Тогда, наконец, объявляется необычайная милость раджи: продажа купленного хлеба разрешена; особые чиновники, диван-бегги и ясаулы, отпускают просо, пшеницу, сорочинское пшено, на вес, по десятиричной, противу закупа, цене. Это не вымысел, а истинно происшествие, которое, сверх того, повторялось уже несколько раз в стране, благословенной природою и угнетенной зверскими завоевателями. Но кашмирец не видит тут ничего чрезвычайного; он плачет, кричит и терпит; умирает с голоду и терпит; у него и думы нет, чтобы хан, раджа, аталык, мог когда-либо поступить иначе: — он слышал сыздетства, что предшественники раджи делали так; он рассказывает детям и внучатам, что

потомки раджи будут поступать также; и дело, по его мнению, основано на непостижимом промысле аллаха и на книге пророка его. Бухарец или хивинец спокойно смотрит на самовольные, безответные, ужасающие нас поступки хана: смотрит и не смигнет глазом, когда, перерезав, по тому же неизменному обычаю, глотку несчастного опального, чтобы кровь его сперва обагрила землю, вешают его, уже зарезанного, среди Регистана, дворцовой площади,— смотрит на это и даже никогда не спросит: за что зарезан и повешен такой-то? Он знает одну только причину: хан велел, никак, аталык, бушбеги приказали, — и делу тому конец. Но приведите того же азиатца в наши тюремные замки — и всегда равнодушное к бедствиям ближнего лицо его впервые в жизни изобразит страх и ужас. Ему, азиатцу, по крайней мере невозможно будет объяснить, что это не что иное, как мера благоустроенной предосторожности. Этого он не поймет.

Бикей, о котором начинаю говорить в десятый раз и все опять сбиваюсь на иные, посторонние предметы, но на предметы вероятно немногим читателям близко знакомые,— Бикей кочевал с гассановским отделением рода Тана, противу нижнеуральской линии, водился и знался с чиновниками казачьими, был любим русским начальством за прямоту, бойкий ум и какой-то вид образованности; Бикей дарил и угощал кунаков своих с линии всем, что было у него любого и дорогого; у кайсака, для гостя, заветного нет; зато уже и сам он, будучи вашим гостем, берет, за словом, что ему приглянется. Бикей жил не по шутке, не по духу отца, а и пуще братьев. Дружба и связи с линейцами давали ему нередко средства и способы к высвобождению задержанного однодворца, к прекращению полинейных раздоров за потраву стожка, выставленного, кажется, с намерением, в степь, чтобы тебенеющие, тощие кони растеребили его, и хозяин имел бы случай и повод взыскать с кайсака пару баранов, или за украденную овцу, за съеденную кобылу; и Бикей, который так ли, иначе ли, но умел ладить с тогдашним атаманом и, по какой бы то ни было нужде, даром в Уральск не ездил, а каждый раз привозил какую-нибудь добрую весточку, — приобрел любовь и доверенность своего народа. 88-летний Исянгильди и сам уже видел, что ему не под силу тягаться и управляться наравне с молодецким сыном; но сознаться в этом и уступить народному гласу не хотел. Вместо того, чтобы видеть в сыне этом подпору и верного сподвижника, искал он в нем, натравливаемый братьями Бикей, врага-соперни-

ка и самозванца. Чем менее он находил все это в Бикее, тем более коварные клеветники старались усиливать темные доносы свои на действия Бикее и выставять открытого, бойкого, несколько легкомысленного сына скрытным, буйным, самовольным и умышляющим. Когда же, бывало, Бикей, одетый гораздо щеголеватее всех однородцев своих, в широм чкмене с позументами по косому вороту, с остроконечною тюбетеей набекрень, вскочив на коня, которого берег и любил пуще глаза правого, стрелой пускался по аулу, и сотни голосов провожали его кликом: джигит! батыр! батыр! — а девки, сидя на земле и снуя по колышкам основу из верблюжьего гаруса на самоцветную армячину, оглядывались на Бикее, поправляли бархатную, стеклянью и перьями украшенную шапчонку, — а старухи, выминая в одеревенелых руках своих жесткую, черствую сыромять, вымоченную в молоке, прокопченную на дыме, перебранивались с шаловливыми ткачами, — тогда братья Бикее обыкновенно отворачивались от него, насунув заленные колпаки на бровистые очи, и вступая в кибитки свои, ворчали вполголоса или перебранивались с отцом за то, что он дает Бикеею много волн.

Приступая теперь к новой главе рассказа, который, по многим отношениям, заслуживает, как происшествие, быть памятником, не знаю, как быть: предоставить ли читателям моим отгадывать, к которому из двух разрядов былей или небылиц принадлежит Мауляна моя, или уже сказать, что говорю не сказку, а голую бывальщину? Знаю, что многие бытописательных рассказов не любят, многие в них и не верят; а иные, знатоки и браковщики, говорят и пишут, что повестей чистоисторических нет или быть не должно; что голь не заманчива, а правда гола, как крючок без наживки; что на нее ни рыбы, ни рака не поймашь! Как хотите, господа; мне вас не переучить, а и того менее разуверить; может быть, и тут, как всюду, правое дело середина. Скажу однако о рассказе моем, на всякий случай, вот что; не только все главные черты его взяты с подлинного, бывшего дела, но мне не было даже никакой нужды придумывать ни одного побочного обстоятельства, вплетать какую-либо выдумку; все происшествие рассказано так, как было, и было в точности так, как рассказано. Не хочу пускаться здесь ни в какие логические, риторические и поэтические рассуждения; замечу только, что излишне, кажется, было бы переиначивать дело и мудровать над ним, если оно, само по себе, будучи изложено просто и в таком точно виде, как было, представляет цепь действий и последствий,

составляющих одно стройное целое, основанное на чудном сплетении умственных способностей и нравственных качеств человека, на обычаях народных, местных; словом, если простой рассказ происшествия живописует нам человека, в смысле общем, и человека в значении частном: раба страстей, привычек и обычаев родины своей, того клочка земли, к которому не прирос он корнями вещественными, подобно чилиге, таволге и ковылю, прирос однако же корнями духовными, незримыми и не менее глубокими. Так, нет на свете человека, который бы не был рабом в этом двояком смысле: рабом в себе и от себя, от природы, как существо конечное, земное — рабом раба, как существо, подчинившее себя каким-то произвольным, часто смешным и нелепым условиям, привычкам, приличиям, обычаям... Очень мало людей гибнет от прямого зла, от сатанинской жажды губить людей и тешиться их томлениями; а гибнут сотни и тысячи от недоумений, от недомолвок, от обычаев и обыкновения, от каких-то условных правил и особых ухваток и ужимок житейских и условных и законов приличия. Переберите у себя в памяти несколько вам известных случаев, где люди жертвовали людьми, и эти гибли для жизни общественной,—и вы со мною согласитесь. И здесь, в повести моей, увидите вы то же: это было, где люди высказываются в двояком отношении своем к себе самим и к местности.

Глава III

БАТЫР

Отношения Бикеля к братьям своим и к отцу были бы уже достаточны сами по себе, в быту черствого, дикого народа, чтобы поселить непримиримую вражду между той или другой стороною; но ко всему этому присоединилось еще одно обстоятельство, важнейшее по существу и по последствиям своим.

У кайсаков есть обычай — просватывать дочерей еще в малолетстве; стараются получить за нее калым или выкуп¹ чем скорее, тем лучше. Родители жениха и невесты условливаются в этом калыме, в плате, приношении со стороны жениха; молодой парень и дсвчонка слынут парюю,

¹ Во многих русских губерниях крестьяне тоже дают калым за невест, и плата эта называется кладкой.

калым выплачивается исподволь, в течение нескольких лет. Жених, возмужав, ездит из своего аула гостить в аул невесты, иногда на весьма значительное расстояние, в богатом убранстве и на лихом коне, и если хочет показать невесте молодцом, в сопровождении одного только или двух старших товарищей. Ага, старший брат или дядя, обыкновенно бывает товарищем — юлдашем — странствующего рыцаря любви. Тогда родители невесты сберегают для него заветное место, лужок, который означают, как и всякое занятое уже под кочевье место, воткнутом в землю копьём; там они раскидывают кибитку, или, буде есть, небольшой шатер, где жених, выкупив невесту свою в каждый приезд сызнова у старух, родственниц се, которые защищают ее иногда до нешуточной драки, тешится и нежится невозбранно, за все время пребывания своего в ауле. Влюбленный же кайсак получает нередко от девки, которая отвечает склонности его, завернутую в бумажку алую шелковицу, немного гвоздики и два, три совиных перышка, носимых обыкновенно девками на шапочках своих и служащих представителями девственности. Переезд жениха в сотню, другую, верст, а иногда и более, по степи, бывает не безопасен. Каждый, без исключения путник — джюлаучи, каждый белец или бродяга — конх, мимоходом сказать, в степи довольно, и даже из числа ссылочных в Сибирь, — каждый человек, достигнувший аула, почитается гостем и может быть уверен в безопасности своей; но на переезде степном нередко встречается он с толпами джюрючки, барантовщиков, отправляющихся по междоусобным расчетам в известный род, для грабежа и самоуправной мести: и эти-то отряды, на воровском поиске своем, не щадят уж, в неукротимом иступлении своем, никого; или, наконец, путник встречается с записными разбойниками, добывшими себе славу батырей непобедимых, немилосердых, промысляющих и дышащих разбоями и грабежами. К этому сословию принадлежал, например, покинувший после жалкой, но достойной смерти своей незабвенную по себе славу и нареkanie батырь чиклинского рода, разбойник Кутебар: он, ездив мирить чумекейцев с чиклинцами, съехался ночью с дружественным, джегалбайлинским отрядом; не опознав друг друга, обозвались путники, по взаимной окличке, из предосторожности, ложными родами; толпа джегалбайлинцев сказалась чумекейцами, а Кутебар, у которого совесть была крепко не чиста насчет бедных чумскейцев, конх он варварски ограбил и разорил, не рассудил за благо попасться им в руки, особенно ночью,

глаз на глаз; он испугался отзыва: чумекей, и кинулся бежать; добрый конь и вынес было его уже из мнимо вражеской толпы, но, поскакав в противную сторону, налетел он на копыта двух отсталых оборванных худоконных мальчишек и пал, с обломками их копий под ребрами. Тщетно силился он сорвать зубами платок, коим, вместо чехла, был замотан пистолет его; он пал, изодрав себе губы и изгрызши, в отчаянии и второпях, собственные пальцы свои до костей!

Такая шайка, увидав в степи конного путника, немедленно обскакивает его, старается догнать или окружить; если он не может уйти и скрыться, доколь неумолимая погоня едва мелькает вдалеке, то становится на колени и с покорностью и смирением ожидает участи своей. Но его редко пощадят; то что в ином месте могло бы спасти вас, здесь всегда погубит: кайсак не знает сострадания к слабому, к безоружному, охотнее всего нападет сам-сот на одного, а еще охотнее на сонного, на жен, на детей. Неверного, то есть иноверца, уводят в плен и продают, как товар, обыкновенно в Хиву; но довольно странно, что русские, калмыки и персияне (последние как шииты) преимущественно попадают в рабство, а евреи, индийцы и армяне никогда не лишаются свободы, не обращаются в неволю и на базарах востока не продаются. Правовежного же татарина, башкира или своего брата кайсака обирают грабители до нитки, в буквальном значении слова, и покидают на произвол судьбы. Если вблизи нет аулов, если ограбленный не набредет на них случайно, то его ждет участь ужасная. Предвидя гибель свою, не отстает он от следующих путем своим грабителей, доколе не будет ими избит до полусмерти или доколе сам, выбившись из сил, не свалится с ног. Тогда провожает он глазами удаляющихся вершников, следит их по самый небосклон,— и остается один, на необъятном море степей; один, без помощи, без пищи, без средств и без надежды. Зной неимоверный печет голое тело его, палит обнаженное темя; голод и жажда истомляют силы — он шатается, утратив всякое соображение и познание местности,— и достается, почти заживо, на снесь плотоядному беркуту и стае хищных коршунов, которые творят по нем тризну его же плотью, между тем как трусливые степные волки и шакалы отпевают покойника по ночам дружными, заунывными голосами. Но иногда это нагое, покинутое, изнуренное существо, бродя в каком-то безумном, полуживом состоянии по иссушенному океану, достигает подвижного жилья собратов, и если найдется милосердый и щедрый обладатель стад и табунов, то вы-

ходец с того света поступает к нему, за поденное скудное пропитание, в работники. Неимоверно, что может перенести слабое существо это, человек, это бренное, хилое животное! В одном ауле поймали киргиза соседнего рода, который подполз было высматривать и выжидать удобного для воровства часа. Избивши сго нагайками в один биток, посадили его, связанного по рукам и по ногам, позднюю осенью, в мороз, по шею в воду; его вытащили из воды только на другое утро, когда находившийся там случайно с отрядом офицер наш приказал вынуть хотя труп мученика. Но он, ко всеобщему удивлению, был еще жив; тело его побагровело и посинело, черные губы дрожали, — более знаков жизни не было. Его завернули в кошму, положили около огня, и киргизы, зная приятеля своего, поставили ему огромное корыто бишбармаку или кулламы, пятипалого или ручного кушанья, крошеного бараньего сала и масла. Лишь только покойник наш отошел на тепле, как начал визжать едва внятно, потом рука из-под кошмы протянулась к корыту, и горсть за горстью отправлялась в пасть усопшего. Съевши таким образом полное корыто крошеного сала и мяса и выпивши целый турсук — сшитый из шкуры двух окороков конских мех — кумысу, наш отпетый встал, встряхнулся, сел на коня и вышел тот же молодец, что был вчера об эту пору! Другой, родной брат известного ныне Джана-кашки, пустился зимою сам-шесть на промысел, был пойман, избит весь в один синяк, раздел донага и пущен. Он, зарывшись в снег, просидел там ровно пятеро суток, с одною овчинкою, которая служила ему во все это время и пищею, и подстилкою, и покрывком. Он был отыскан уже на шестой день, и то случайно, и жив поныне. Он уверяет, что ему было совсем хорошо, и тепло и сытно; он спал день и ночь, а просыпаясь сосал овчинку.

Итак, не мудрено, что пробраться степью за 200, 300 верст, сам-друг или сам-третьей, считается молодецеством: и естественно также, что суженый, навещая невесту свою, стыдится отправляться с толпою или караваном, а прокладывается сам-друг или один.

Удивительно, что ни один мало-мальски порядочный кайсак не откажется и не призадумается ехать, куда угодно, пускаясь на произвол судьбы и на авось; что, в случае плена, переносит и выдерживает бесчеловечные, зверские мучения с неимоверною твердостью, не испустив ни одного стола; но что при первой опасности, в стычке и на бою, первое, врожденное движение кайсака, это — оглянуться назад, свободен ли обратный путь? а второе: стру-

сильно и бежать по этому пути без оглядки! Кайсак черств, стоек, терпелив, равнодушен и особенно живуч до невероятности, предприимчив и дерзок на похождения и покушения, но открытого боя не любит,— это не его дело.

Бикей давно уже засватал девку соседнего баюлинского рода, отделения Байбакты, дочь старшины Тохтамыша, по имени Дамиля; или, лучше сказать, отец просватал его, а сам он поглядывал еще по сторонам. Он не торошил отца уплатою калыма, ибо молодецкая жизнь ему еще не надокучила; он медлил, сам не зная чего, хотя и не думал противиться воле отцовской и обычаю народному, и сам считал Дамилю своей невестой. Однако, доселе, он как-то еще с нею не свыкся, не слюбился.

В таком положении было дело, как один из соседних султанов объявил годовщину, тризну, по каком-то покойном родственнике своем,— празднество, совершаемое обыкновенно с расточительным великолепием, если только скачка, пляска, ристалица, борьба, игры и песни нескольких сот, а может быть и тысяч, дикарей, которых тароватый хозяин кормит бараниною и кониною и наливает кумысом донельзя, можно назвать великолепием. Большая часть гостей,— а приглашен всякий на 500 верст в окружности — приводит с собою и подносит хозяину лошадь, барана, верблюда или хотя турсук кумысу; и этот обычай уменьшает значительно расходы хозяина, у которого огромная толпа съела бы в два, три дня все достояние его. Даровой скотины этой бывает также большею частью достаточно для ставок в скачках, хотя ставки бывают иногда довольно богатые; косячок лошадей или даже 15—20 верблюдов. Но в обжорстве состоит главное празднество. Некоторые гости выпарывают из кожаных шароваров своих карманы, завязывают внизу штанину вокруг ноги и во время обеда наполняют все пространство это крошеным жиром и мясом, этим любимым и всегдашним кушаньем, известным, как упомянули мы, под именем куллы или бишбармаку, ручного или пятипалого блюда. Скромнейшие гости завязывают остатки в концы своего пояса, но все без исключения набивают рот огромными пригоршнями крупно искрошенного мяса и глотают его почти целиком. Друг друга потчуют они, и особенно почетнейших, поднося им верхом накладенную горсть мяса, жиру и хряща: учтивый вельможа обязан захватить все это разом в рот и проглотить, причем нередко у него очи на лоб вылазят, и вся рожа вздуется горою,— но дело сделано, и приличие соблюдено. Люди — везде люди, везде рабы обыкновений и приличий!

Уже историк Абул-Газы, которого можно бы справедливее назвать сказочником, в своей истории монголов и татар, восхитившись пиром, который дан был Угус-ханом, начинает воспевать его в стихах так:

Девятьсот кобыл, девять тысяч баранов убил:
Девяносто девять кожаных водоемов пошил,
В девять вина, в девяносто кумысу наливал,
Да целое войско свое на пиру угощал!

После еды и обжорства, четвероногие обитатели степей, кони — первые действующие лица, а люди уже второстепенные; это пир, где лошади, как и всюду у этого конно-рожденного народа, занимают первые, почетные места; где можно только отличиться батырством на коне и этим стяжать скаковые ставки богачей и лестный, дружный припев и похвалу нескольких десятков степных красавиц, которые, садясь верхом в кружок, воспевают томным и тоскливым напевом, но чистыми и приятными голосами, молодецество нового джигита, воспевают наобум, иногда не дурно вылившимися стихами.

Как редки стали, впрочем, ныне в степи хорошие киргизские кони, можно заключить из того, что иногда из огромного табуна в несколько тысяч лошадей почти нечего выбрать: пяток, а много десятков; остальные — дрянь. Это происходит от бестолочи и небрежения; кайсаки, ровно как и башкиры, считают только, сколько голов скота у них, и этим похваляются, а прочее все предоставляют аллаху и великому его послу. В оренбургском крае, не выключая степи, числится до миллиона лошадей; 20000 идет ежегодно в продажу, и в том числе более половины в степь; время, когда, наоборот, кайсаки пригоняли табуны свои для продажи на линию, ушло далеко и, кажется, невозвратно; ныне линейцы становятся беспечными пастухами, а киргизы засевают хлебом огромные пространства.

К скачке, как известно, готовят, подмаривают, подъяровывают степных лошадей; в этом деле, по крайней мере, столько же удачи, сколько искусства; недояруешь — скакун загорится, тяжел, не дойдет; переяруешь — ослабеет и опять-таки станет. Подготовка эта состоит в том, что лошадей, по зорям, проезжают шагом и рысью до поту, а потом оставляют на всю ночь в седле и без корму. Если вспомнить, что лошади эти не видят и не знают овса — изредка любимого скакуна, баловня, кайсаки поят кобыльим молоком, — что они некованы и круглый год на подножном корму, то нельзя не согласиться, что порода эта

необычайно крепка. Одноконный кайсак делает в сутки верст по сто, а двуконый полтора. В Бухару, мерные 1500 верст, кайсак о двуконь поспевает в две недели и иногда скорее. На скачках кайсаки берут обыкновенно расстояние от 30 до 50 верст; скакуны на этом расстоянии, проходят версту в полторы минуты, иногда и скорее, в 1 минуту 20 секунд.

Борьба кайсаков и башкиров почти одинакова; но она не походит на борьбу русскую. Под силки не берутся, под ножку не любят и не знают; а закинув друг другу пояс за поясницу, заматывают каждый в него обе руки, упираются один в другого правыми плечами и возятся, что медведи, иногда четверть часа на одном месте. Здесь решает сила: ловкость и искусство изменяют.

Бухарцы, к слову молвить, борются крайне забавно: они раздеваются и разуваются, выступают полунагие, в одних шароварах, ходят и кружат друг против друга, словно петухи, изноравливаются, прицеливаются со смешными ужимками, и вдруг, улучив время, наскакивают один на другого, схватываются как, и за что ни попало — за ногу, за руку, за голову и сцепившись мнут, ломают и царапают друг друга, как и кто может.

Но возвратимся к своему пиру. Вместо того, чтобы говорить вам — Унгбай обскакал Бузауа, а Минднар Сафарбая, Кутлугильды поборол Кагарманда, Искендера и Урмана, — вместо этого, опишу известную у кайсаков и страстно любимую ими игру, в которой победителя ждет награда неоцененная, а смех и поношение ожидают побежденного. Дело вот какое: состязаются молодой парень с отборною, молодецкою девкой. Девка эта выезжает на лихом скакуне, взмостившись, по обыкновению, на высокое, попонами, одеялами и подушками покрытое седло; она выезжает на лучшем и заветном коне отца или брата, носится по чистому полю, налетает на молодцов, замахивается на них плетью, а колн который не увертлив, так часом того и приоденет; кричит, хохочет, резвится и вызывает на бой. У кого сердечко по ней разгорится, тот кидается на коня и пускается в погоню. Начинается травля и скачка — народ ревет, красавица мчится стрелой, — молодец нагоняет — она дает крутой поворот вбок, другой, опять вперед, назад, наконец парень донимает ее: то заскакивает вперед и, осаживая коня, старается только коснуться ее рукою персей ее: то, настигая ее с тылу и вытягиваясь в маховую сажень, едва не достгает рукою... — она мечется и кидается, то с тылу, то сбоку... — девка, не щадя ни парня, ни коня его, ни пле-

ти своей, с которою, право, шутить вовсе невыгодно, стегают зря и с плеча и очертя голову по чем попало; молодец свивается клубом, налетает соколом, подвертывается жгутиком и, коснувшись однажды рукою груди ее, обнимает уже смело сильными мышцами противницу свою, и она уже не смеет противиться; и степные кони дружно мчатся по мягкой траве, а обнявшиеся всадники, покосив повода, не заботятся о направлении скакунов своих. Если же молодец принужден бывает отвязаться от девки, не нагнав ее, не коснувшись рукою персей ее, тогда, как говорится, хорони головушку в мать сыру землю, — от посмеяния и житья и проходу нет. А вдобавок тогда уже девка его нагоняет и, не давая своротить, гонит перед собою до упаду и лупит нагайкою, камчей, при громогласных криках и хохоте народа. Это выходит: и стыдно, и больно.

Девка, в алом бархатном чапане, под золотою стежкой, в трехцветных бухарских сапогах из чешуйчатой ослиной кожи, в острой, конической бархатной шапочке, унизанной бисером и украшенной селезеными и совиными перышками и темно-зеленым, искусно набранным всячим пером, длинными поднизями и сетками, кистями и плетешками из разноцветного бисера, корольков и стекляруса, — девка эта появилась верхом на просторе. Она, вопреки обыкновенному мнению, смешивающему кайсаков наших с калмыками, с которыми они ничего общего не имеют, лицом несколько не была калмыковата: приятный продолговатый облик, не томные, не нежные глазки, но быстрые, искрометные темно-карие очи необычайной жизни и блеска; черты лица особенные, свойственные кайсачке, но не менее того прекрасные.

Пригожество и красота — вещи условные; не знаю, приглянулась ли бы вам моя степная красавица с первого раза, особенно если бы вы пожаловали в зауральскую степь прямо с партера Александринского театра, из филармонической залы, с пышного придворного бала; — если ж нет, то виною этому был бы, вероятно, только тяжелый, мешковатый наряд ее; я думаю, что если бы вы обжились немного со степью и с дикарями ее и дикарками, если бы привыкли только к этим тройным и четверным неподпоясанным халатам, неуклюжим чоботам и мужиковатой поступи, то стали бы вглядываться в иное свежее, дикое, яркое и смуглое лицо, в котором брови, ресницы, очи, губы и подборные, скатного жемчуга зубы украсили бы любую из московских и питерских красавиц, похожих нередко — извините меня, неуча, — на куколку, которую шаловливые

девочки умывали, и смыли с нее и румянец, и алый цвет уст, а в голубых глазках оставили один только бледный, мутный намек на прежний цвет их. Плосковатое лицо и несколько выдавшиеся скулы не делают на меня никакого неприятного впечатления, а высокое чело и благообразный нос вполне соответствуют приятному облику кайсачки.

Итак, девка эта села и понеслась, давая круги; шумный говор и разнообразное движение оживило толпы и пестрые ряды множества гостей и зрителей; насмешки и колкие шутки сыпались градом от девок, баб и стариков на молодежь, на парней, которые стояли, почесывая бритые затылки и отшучиваясь площадными островами, но и не думали скакаться со смелым вершником, который, избочениваясь на каждом повороте, давил толпу тяжеловесных мужиков; между тем как эти едва успевали увертываться и расступаться. Следом за нею раздался хохот, и неповоротливые парни почесывали лбы, плеча и спины, на которых глухие удары камчи, удары нежной, девичьей руки, отзывались презрительными синяками.

Бикей следил ее глазами, — оглянулся опять, кинул взоры на нее — опять вокруг, на толпу, как будто удивляясь и не веря, что нет шункара, нет кречета на эту пигалицу. И в тот же миг она полетела вихрем на него, — народ отхлынул с криком, и ребятишки в давке завизжали. Бикей шагнул с места, — как стоял, сложил руки и выставив ногу вперед, так и остался, вперяя жадные очи в батырку на рыжем, нескладном, неутомимом скакуне. Она, пролетая мимо, замахнулась было на Бикей, занесла руку и, быстро опустив карающую десницу, обмахнула повисшею на темляке нагайкой два быстрых круга около головы его — и промелькнула.

Не знаю почему, но милосердие это странно поразило Бикей и круто им повернуло; он закричал: бирк-бул! держись! и уже несся вслед за непобедимую, за которую никто более не посмел гнаться; все знали горбоносого скакуна ее, знали, что она, не щадя ни плеч, ни головы друга-противника, секла вальковою нагайкой оплошавшего и не настигнувшего ее состязателя; знали и то, что ее, со времени возмужалости ее, на всех игрищах и пирах никто еще не догонял, не обнимал. Понятно, что ловкость, смелость и умение здесь еще важнее быстроты скакуна: посадите легких как пух красавиц наших на любого степного коня, — и они пропали: нет пощады, нет спасенья, они... о ужас! в объятиях неистового монгола-татарина, который, вероятно, при всей осторожности своей, изомнет и изломает все

хрящеватые, воробьиные ребрышки их, всю, так пазываемую, талию — извините, чуть не проговорился, не сказал, стан!

Не станем разбирать, как и чем взял Бикей: заветным ли гнедым жеребцом, которого выбрал жеребенком, на свою долю, из отцовского десятитысячного табуна, и в котором души не чаял, — или чем другим — скачкою ли взял, сноровкою ли, или просто тем, что ринулся в погоню неожиданный, словно камень из-за угла, — все равно: довольно нам потешиться картиной, оглянувшись на этот испуганный и оглушающий рев тысячи зрителей, и встретить взором всадников наших в самую ту минуту, когда Бикей, обняв стан Мауляны крепкою правою рукою, почти лежал, растянувшись и перегнувшись боком с упрямого жеребца своего, который мчался рядом, но почти в целой сажени от рыжего, горбоносого скакуна побежденной и задыхающейся от смеха Мауляны.

Мауляна эта была нареченная невеста старшего брата Бикеева, который, однако же, не заблагорассудил с нею скакаться и стоял в толпе зрителей; но все, что видели мы теперь, не могло быть по нраву злобному и ревнивому жениху, который, как нередко видим это в природе, был занят рукою ее и облечен знамением: он не имел приятного и молодецкого монголо-татарского лица Бикеева, в котором большие, яркие глаза и нос дугою соединяются с плоским лбом и выдающимися вперед щеками; он был очень дурен собой, и на изуродованном оспою подбородке его редкая борода пробивалась только на одной, правой половине. Он отвернулся и пошел прочь от толпы; и шумные восклицания: «гоу, гоу, гоу, батырь! джигит!» — поражавшие громогласно слух его, раздирали со всех сторон бешеное сердце. Оно вскипело мстиею, ненавистью, и клокотало, доколе алая кровь еще текла в жилах Бикейя.

Глава IV

БАРАНТА

Что такое баранта?

Если один кайсак у другого украдет или угонит скотину, то за это платит он туляу, пеню; если же он отказывается от пени или не сознается в воровстве, а род или аул его не выдает виновного, то баи и аксакалы разрешают обиженному искать права силою; он набирает товарищей и отправляется, говоря: барам-та, пойду до, пойду за — вот,

вам, барамта, или, как говорят русские, баранта. Но при этом самоуправстве трудно знать лад и меру; один захватывает более, чем ему, по обычаю народному, следовало, другой предъявляет иск неправый; третий, пользуясь смятением и беспорядками, поживляется сам на свою руку; опять иной, в сумятице, невпопад угоняет скот не того хозяина, которого бы следовало; иногда у вора нет добра никакого, а род его отказывается от платежа и ответа; за все это насчитывается новая пеня, а за случайные или умышленные убийства, во время баранты, со стороны нападающих, — кун, весьма значительный и часто неуплатимый; бывает все это причиною и поводом тому, что взаимные расчеты, а с ними и баранты и междоусобия, поддерживаемые еще сверх этого султанами, которые в мутной воде рыбу удят, расплодились и размножились до бесконечности. Баранта обратилась в какой-то губельный, разорительный промысел степных дикарей; все роды и племена перепутались во взаимных счетах и начетах и пользуются каждый случаем для взаимного разорения и нападения. И здесь, как всюду, мое и твое служат поводом, началом и корнем взаимной вражды и усобицы. Строгая, суровая зима, в продолжение которой ртуть стынет в тепломерах наших, и степные бураны, заносят они путника, кружат и мнут мысли и чувства его, до того, что он не в состоянии различить пяти пальцев своих перед носом, — едва удерживают неукротимых, свирепых хищников, в лютой подобной барсу, в трусости — степному волку; но, лишь только сочные ростки пробиваются на ранних солонпеках, отощавшие на зимней тебеневке кобылы мгновенно добреют, разъедаются, — как и дикари, пробуждаются от зимней спячки своей; сытный, питательный кумыс разливается алою кровью в иссякших жилах их, красит щеки, паливает блеском и жизнью потухшие очи, — и шумные толпы уже пускаются во все стороны на поиск, разоряют без милосердия друг друга, беспощадно губят собственное достояние и насущное пропитание свое. Баранта, туляу и кун, кун, туляу и баранта — вот, в чем заключается почти все уголовное уложение, все правосудие степных дикарей. Известно, что суд и расправа всех мусульманских народов основываются на законе, на коране; а потому и всякий кади или казы, судья, бывает лицо духовное; но нигде это не соблюдается менее, чем у кайсаков, которые неохотно признают над собою власть, а самоуправство предпочитают всякой иной расправе. Но кун у них священная вещь; киргиз, нанимающийся в работники, услов-

ливается нередко с вами, будете ли за него платить кун, коли он умрет на ваших руках? Цена куна вообще полагается за мужчину 1000, за женщину 500 баранов. Расплачиваясь другим скотом, зависеть будет от сделки, сколько баранов полагать на лошадь, корову или верблюда. За убийство султана полагается 1000 верблюдов, — кун огромный, который едва ли когда бывал сполна уплачиваем, а установлен, как объясняет и сам султан Кусяб, для того только, чтобы никто и никогда не мог посягнуть на священную жизнь белой кости. Между тем и в прежнее и даже в новейшее время, убийства султанов изредка случались. Вот вам пример киргизской расправы: двое кайсаков поссорились, при перекочевке, за луга; от ссоры до драки у них не далеко — они подрались, один другого укусил за палец, и бабы насилу розняли дураков. У раненого палец разболелся; его отдали, как водится, на попечение и ответственность виновного. Был ли тот плохой лекарь, или уж так судьба порядила, довольно того, что прикинулся волос, а вскоре вся рука до плеча распухла, разболелась, конец концов — больной умирает. Родные его приезжают в аул лекаря за телом покойника, как водится у достаточных людей, на белом верблюде; но, противу обыкновения, вооруженные, с криком; с шумом, с ругательствами, с угрозами; это было строгою зимой; девчонка, испугавшись приезжих и бушующих в тесной кибитке батырей, выскочила из-под кошмы, в которую завернули было ее от стужи, выбежала из кибитки, отшатнулась и замерзла в тридцати шагах от жилья своего. Сделка и мировая произошли на следующем основании: ты обязан заплатить кун за того, которого ты укусил и залечил; а ты должен заплатить кун за девчонку, которая от тебя погибла; следовательно, укусивший товарища смертельно в палец платит, вместо тысячи, только 500 баранов, ибо за остальные 500 повстался смертью девчонки.

Я уже выше заметил, что разбой степные отличаются от баранты, вошедшей в законную силу. Все торгующие на линии купцы наши знают, что на слово киргиза, при меновых сделках, почти всегда положиться можно; кайсак пригонит вам, в назначенный день и месяц, в назначенную точку линии, лошадей или баранов, взявши деньги даже наперед; но он всегда украдет их снова, коли дадите ему на это случай, и будет этим хвалиться: он вещи не тронет, ибо называет это: урлык — воровством; а украсть коня, бараана — молодечеством, джигитлык: это то же, что у нас поймать чужого голубя или сманить собаку. При переско-

чевке нередко покидают кайсаки целые груды скарба своего, прикрытые кошмами, войлоками; этого никто не тронет, между тем как доброго коня нельзя достаточно уберечь и устеречь; его только разве не уведут из-под вас! За воровство вообще полагается у кайсаков туляу, пеня, особенно если украденная скотина будет уже съедена: и расчет при этом довольно страшен и сложен: за украденную лошадь платят три девята, три тогуза скота; первый тогуз состоит: из одного верблюда, двух тельных, к будущему году, коров, с нынешними телками, бычка и яловой коровки; итого: девять. Второй тогуз: лошадь вместо верблюда, а прочее все то же. Третий тогуз: корова, две овцы с ягнятами нынешнего помету и обещающие то же на будущий год и, наконец, два козленка. За верблюда полагается таких же шесть тогузов, ибо верблюд идет за два коня, а корова в ценности равна лошади. Начет этот столь значителен, что редкий вор согласится добровольно и даже редкий в состоянии уплатить требуемое, а отказ или даже замедление в уплате нередко влечет за собою угоны, грабежи аулов и убийства. Начеты эти переходят с деда и отца на сыновей и внучат, дробятся с родов на поколения, с поколений на частные лица и семейства.

Собираясь на баранту, на разбой, хищники съезжаются иногда десятками, особенно если хотят только сделать ночное нападение, для отгона табунов; иногда же и сотнями и тысячами, и тогда уже нападают на аул открытыми силами, на рассвете или во время полуденного жара и всеобщего отдыха. Идущие на промысел этот берут лучших коней, ибо все киргизы храбры копытами и ногами скакунов своих, но берут самую плохую сбрую и одежду и обвешиваются, полунагие, одними лохмотьями изношенных и изодранных халатов. Вооружение их состоит тогда почти исключительно из легких длинных копий или даже одних заостренных в конце копейщ, без железки, да из чеканов. Огнестрельного оружия не возят они с собою на баранту частью, чтобы не обременять себя попусту, частью же, чтобы не вводить себя в искушение: убить человека не долго, как они говорят, да после кун выплачивать накладно. Отряд этих грабителей наводит уныние, тоску и омерзение, особенно если взвесить дух и храбрость воителей, коих десятки тысяч можно рассеять и уничтожить сотнею, другою добрых казаков, — если взглянешь на этих выроdkов, неумолимых в зверской жестокости своей противу слабого и трусливых до бесконечности, где дело дойдет до устойчивки!

Буйные чиклинцы, в числе 3000 человек, нагрянули, в самый знойный полдень, когда все покоилось в аулах, когда, по обыкновению, все кайсаки, скрывшись от зноя в кибитке, спали глубоким сном,— нагрянули на танинцев. Аулы, на которые сделано было нападение и при конх находился старшиною Исянгильди, состояли из 400 кибиток, раскинутых, по пяткам и по десяткам, черными холмами, по обширному, отлогому скату. Издали глядя, невольно сравниваешь их с черноземными холмами кротов, по зеленому лугу беспорядочно наброшенными. Все покоилось. Не было видно ни души. Рассыпавшиеся стада и табуны занимали по несколько десятков верст во все стороны; пастухи при них спали, раскинувшись в траве. Чиклинцы ворвались, отдельными толпами, в передовые стада и табуны, и прискакавший сломя голову в аулы, с известием о вторжении неприятеля, привел за собою почти на хвосте и самих грабителей. Старик Исянгильди вскочил — все взревело в один голос; каждый кидался к оружию, схватывал лучшее платье и добро свое, вскакивал на первую попавшуюся ему лошадь — и летел во весь дух — навстречу врагам, думаете вы? нет, этого здесь не бывает; здесь нападающий всегда уже победитель: все кидалось и летело в противную сторону, сгоняло и спасало стада и табуны, сколько можно было еще их занять и удержать. Обширная степь ожила, зашевелилась, пыль поднялась; толпы рассеянных всадников мелькали и пропадали; кони ржали и оглушали топотом своим окрестность; хриплые, дикие крики победителей и побежденных раздирали воздух. Вместе с мужчинами, или еще и наперед их, кидались на коней молодые девки и улетали; остались в аулах, при скарге и имуществе, хилые, хворые старики, дети и бабы. Итак, дело кончено, скажете, и обойдется без кровопролития, и чиклинцы вовсе не встретят и не найдут своих неприятелей? Посмотрим. Грабители, взбивая тучи пыли, уже налетели с ревом на аул — уже крик, визг и проклятия смешались с гулом и топотом, с ржанием и бляением; уже копыта, подобно железным шупам неумолимых винных досмотрщиков, которые нередко, на заставах наших, прокалывают и платье, и посуду, и книги у проезжающих, — уже копыта погружаются там и сям, сквозь решетчатые стены, в беззащитные, одинокие кибитки, и оборванные, полунагие потомки Батя и Чингиса, с неистовством и исступлением, колют, бьют и режут все живое и живущее, до чего дошарились копытами своими под тюками и кошмами, но теперь завязывается жестокий и от-

чаянный бой, упорный, какого вы не видали, коли не видали, как мать отстаивает детище свое: вот зрелище, вот черта, где я узнаю природу; киргизка и самка степного барса одинаково дерутся за детенышей своих и не уступают их, доколе сами еще живы! Оставьте бледных и хилых горожанок, нежных красавиц наших, запасующихся мамками и кормилицами и отдающих новорожденное из лона своего прямо к чуждой и купленной груди, — идите сюда и посмотрите, как та же слабая женщина отстаивает своих малюток! Бабы вооружаются багганами; каждая схватывает длинную, крепкую дубину, которою обыкновенно подпирается середина кибитки и которою кайсачка мастерски владеет, привыкнув управляться этим орудием не только каждый раз, когда ставит переносное жилье свое, но и вообще всегда, когда только случается поправлять турлык, узук или туундук, кошемные полсти и лоскуты на боках и на кровле кибитки, ловить и принимать вилообразною оконечностью баггана арканы, шерстяные веревки и тесьмы, перекинутые через верх подвижного жилья их, — итак, этим багганом вооружаются бабы и отстаивают каждая свою кибитку. Угроз грабителя она не слышит, копыта его и чекана не страшится, и если он не поразит ее смертельно при первом ударе, то меткий взмах баггана раздробляет голову разбойника или коня его — и это все равно; свалившийся с коня всадник убивается нещадно до смерти тем же оружием, страшным в сильных руках свирепой дикарки! Жена султана Медет-Галия, убитого джалбайлинцами в 1831 году близ Орска, отстаивала таким образом семью свою; она уложила перед жильем своим двух вершников на вечный покой, и не прежде, как уже сама испустила дух, две дочери ее были схвачены и увлечены разбойниками на поругание.

Грабители не сочли нужным мириться и тягаться с амазонками, свирепыми, бесстрашными, отчаянными, а потому, угнав скот, приколов несколько детей и стариков, на конях наткнулись врасплох и невзначай, захватив с десятков баб и девок, не успевших добежать до аула или не имевших сил или причин обороняться до последнего издыхания, — отправились восвояси. Мужчин, одноверцев, кайсаки в плен не берут; но девки и бабы считаются товаром; их сажают на добытых коней, связывают ноги под брюхом лошади и гонят по пути домой. Коран позволяет мусульманам иметь до четырех только жен вдруг; но иные владельцы и вельможи, по примеру пророка, или, переводя точнее и вернее, посла аллаха, берут до девяти; со-

жительниц, мусульманок, кроме этого, держать не дозволено вовсе; но услужливые толковники объясняют: купленная или взятая в полон красавица — собственность каждого, товар; с нею делают, что хочу; и на этом-то основании, запрещение распространяется только на единоверок, мусульманок. Пригожие девки, на баранте захваченные, достаются обыкновенно на долю батырей, и участь их нередко бывает почти та же, как если бы они вышли замуж в отдаленные аулы; иногда полусупруг даже, полюбив пленницу свою, посылает родителям ее подарки, калым и вражда забыта. Вот вам романическое похищение красавицы в киргизской степи! Но молодые матери, коих брали в неволю, разлучая с детьми, нередко посягали на жизнь свою, если им не было средств и надежды на побег. Были примеры на оренбургской линии, что мать киргизка, коей дитя продано было отцом в ужасной крайности за несколько пудов хлеба, убежала из степи, являлась на линию, крестилась и оставалась при дитяти своем.

Барантующие удалились; табуны, послушные голосу нового вожака, заскакавшего вперед и летящего на борзom коне во весь дух восвояси, исчезли; все стихло; только пыль стлалась издалека, и амазонки наши бродили по аулу и собирали, в ожидании мужей и детей, раскиданную утварь. Медленно и в величайшем беспорядке, попарно, по три, по десятку, тащились, мчались и плелись победители; кто налегке, кто с баранами, кто с вьючными верблюдами, лошадьми, коровами и быками; трехтысячная толпа растянулась на несколько десятков верст — каждый думал только о себе и о заграбленном имуществе, более ни о чем.

Бикей, ездивший в гости ли куда-то или за делом, возвращался медленно в свои аулы, когда, поднявшись на пригорок, остановился и вперил всепроникающие очи свои в мерцающую обманчивой водою даль — явление, о котором я уже где-то говорил; оно в знойные дни обольщает и обманывает нетерпеливого, истомленного степного путника, и на поэтическом языке древнего Тибета столь выразительно называется: жаждою сайги, у арабов сераб, у кайсаков мунар, у французов и у русских мпраж, а у — извините — у нашего простолюдина: марево. Только необыкновенная привычка, сметливость и зоркость может отличить что-либо в этом пламенеющем воздушном море. Надобно видеть степного дикаря на родине его, на опасном перепутье, как теперь наш Бикей: он следует по сухому океану своему — как китайцы, руководимые счастливою и слепою догадкой, называют степь эту, — проходить ог-

ромные пространства, где не проложено следа человеческого, и выведет вас, наконец, в струнку, на желаемое урочище. И я не шутя скажу, что кайсак делает это по какому-то непонятному, темному чувству, в коем сам себе не может дать отчета, и которое только сравнить можно со способностью перелетных птиц... Отвезите вы кайсака на край света, в страны, о коих у него нет ни малейшего понятия, и пустите его там — он оборотится, как магнитная стрела, которую ничем нельзя сбить с толку, и пустится прямо на родину свою. Не только из западной и восточной Сибири уходят кайсаки нередко домой, но есть несколько примеров, что, сосланные за преступления в Архангельск, пролагали они себе новый путь от берегов Ледовитого моря, чрез безлюдные тундры, пустынные, мертвые степи, за родной Яик; они достигали благополучно, и почти не касаясь путем жилья людского, до кровных степей своих, и доселе снова проживают между своими, похваляясь дивными и едва вероятными похождениями своими. Надобно посмотреть на кайсака, когда он на пути увидит нечто живое в знойном волнистом море, искажающем для нас все предметы самым чудовищным образом: вы едва только отличаете что-то и нечто, а он, приподнявшись на стремянах и прикрыв брови рукою, читает как по книге: столько-то всадников налегке, вооруженных — они едут на изморенных конях — нас увидали — это не напки; это чиклинцы, дюрткаринцы, джагалбайлинцы... — Бикей, проговорив все это про себя, поворотил в ту же минуту от них вправо, помчался, и через час настиг танинцев своих, которые стерегли спасенный ими скот и ожидали известий из аула. Стоит только тронуть, задеть и расшевелить кайсака, и он вспыхнет ярким пламенем: Бикей был окружен в минуту сотнею молодцов, которые, будучи еще из числа самых бойких и смелых, вооружились и приготовились, в случае крайности, защищать и отстаивать стада и табуны свои. Бикей, не спрашивая ни о чем, не слушая никого, ругнул первого встречного, который сунулся было к нему с вопросом: ни хабар? что нового? что делается в ауле? — ругнул и прочих молодцов, вправо и влево, распушил их на чем свет стоит и вызывал охотников за собою. Взяв не более сотни человек налегке, исправно вооруженных и снабженных запасною, заводною и уже оседланною лошадию, пустился он в погоню за неприятелем. Пересаживаясь до трех раз с коня на коня, открыла наконец дружина наша, с вечернею зарею, следы грабителей, и до рассвета еще, следуя по свежеизмятой росистой траве и по тому именно

направленно, куда трава ложилась, настигла беспорядочные, беззаботные толпы чиклинцев, которые беспечно тянулись почти гуськом, рассеянными и раздробленными толпами. Конец концов — легко предвидеть: сотня танинцев с Бикеем нанесли мнимым победителям своим гораздо большее поражение, чем накануне еще претерпели от них сами. Все летело без толку, без ладу, без цели, стремглав; все спасалось бегством, покидая добычу; не было ни сопротивления, ни устою; бикейцы едва успевали спихивать настигаемых ими чиклинцев копьями с коней. Если и невозможно было отбить всех табунов, коих часть угнана была уже при самом начале вчерашнего нападения, то, по крайней мере, новый батыр с молодцами своими пригнал в аулы свои значительную часть отбитых им стад, табунов и почти всех навьюченных верблюдов, и покрылся, в лице народа, неувядаемою славою. Как мало нужно иногда для этого, и как мало таких, которых и на это малое достает! Но в то же время, Бикей озлобил старших братьев своих, коих врожденное чувство самосохранения удерживало от всяких запосчивых, воинских покушений, и коих предприимчивый дух удовлетворялся наименее опасным бегством. Теперь танинцы стали указывать на них перстами и вслух и в очи пеняли за трусость их и за бездействие; без головы, говорили они, и руки и ноги не служат; а вам, предварителям и старшинам нашим и наследникам престарелого старшины, предстояла славная обязанность — быть главою тысячи вам покорных рук и ног и наказать чиклинцев за дерзостное их покушение! И это все опять в порядке вещей: трус бежит рядом с трусом или еще впереди его; но опасность миновалась — и он же его презирает.

При этом же самом набеге, передовая, оборванная, голодная, зверская толпа чиклинцев наткнулась на аулы соседственных и союзных с танинцами баюлинцев, на отделение маскар, на кочевую родину Мауляны. Конец один; отвратительная картина одинакова; не стану говорить пространно и подробно, как и здесь опять алчная толпа грабителей подстерегла мирные аулы, и свирепость людская не знала ни меры, ни пределов; не буду говорить, как и кто бежал, кто и куда схоронился — скажу только, что торжествующие грабители вели восемнадцатилетнюю Мауляну в числе одиннадцати молодых пленниц. Ей дали малорослого, кривоногого конька, взятого в ее же ауле; не связывали, из особенного к ней уважения и милости, ног, а один из двух услужливых парней, которые ехали с боков милой пленницы нашей и взапуски забрасывали ее шут-

ками и прибаутками, вероятно, не совсем тонкими и скромными, — один держал в руке повод копя ее, а другой, по другую сторону, чембург. Девка сидела плотно, отшучивалась и отбранивалась, не оставаясь в долгу, мазала иногда ластившихся около нее стражей своих медом по губам, — а сама держала ухо на чеке: она была коротко знакома с уродливою клячей, на которую ее посадили, и которая несмотря на уродливость эту и на распоротые вилообразно ослиные уши, была понадежнее иного пятивершкового слона орденского кирасирского полка; Мауляна, сметив и улучив пригодный миг, наклонилась вперед, как будто хотела поправить холку или уши лошаденки, но в тот же миг скинула с нею, через голову, гладкую, плетеную из тонких черных волос уздечку, гикнула, круто повернула копытка своего ногами в сторону, прямо на одного из конвойных своих, ринулась па него во всю силу распростертыми руками, сшибла его с лошади и ускакала; ускакала, в виду сотни пли более хищников, кои большею частью на измученных в продолжение набега клячах тщетно носились за нею, рассеявшись и разметавшись по обширной степи. Мауляна благополучно прискакала навстречу Бикею, который мчался еще по пятам грабителей, настигая и сбивая бегущих, отбивая скот и имущество земляков своих, единогласно признавших Бикея первым батыром на целом пространстве между Янком, Тоболом и Сыр-Дарьею, а может быть и целого света.

Бикей и Мауляна возвратились со славою при громогласных кликах народа: его величали джигитом, батырем, султаном, наконец, ханом; качали на руках при громогласных восклицаниях, не обращая никакого внимания на отца, который, к стыду своему, мог завидовать кровному сыну, ниже на злобных братьев, которые в это время поклялись, каждый порознь, клятвой мести, а турок и монгол, которых божба не стоит гроша, сами вы знаете, в мести даром не клянутся!

Глава V

НОВАЯ ЧЕТА

Колебание души и нерешимость обыкновенно приписывают нравственно слабому человеку; прибавлю еще, что свойства эти сверх этого составляют принадлежность права, утонченного образованием нашего века. Только это

рассудительное, тонкошкурое творение, образованный человек, может думать, мерить и взвешивать там, где сама природа порывается действовать; у дикаря, где умственные способности более или менее поотстали, первое сильное впечатление берет верх — и тогда, прощай благоразумие и рассудительность, прощай и размышление и нерешимость! влияниям второстепенным, посторонним уже нет места; он действует скоропостижно, вслед за сильнейшим толчком, ударом, впечатлением, и всегда более завлечен от влияний и двигателей внешних, чем от самого себя.

Бикей, который невольно, и сам того не зная, подтверждал на деле истину наших умозрительных положений, и тем еще более, что был природою наделен бойкостью и быстротою духа, — Бикей, спознавшись и слюбившись с Мауляною, не думал, не гадал, не хилел и не болел целые месяцы по-пустому; не томил сам себя бездействием и нерешимостью, а побывав однажды у баюлинцев, завернул в аулы Маскар, толкнулся там через добрых людей, которых на это дело всюду много, к старику Сатлы, отцу Мауляны прекрасной, — и воротившись оттоль, пришел к отцу своему объявить, что байбактынец Тохтамыш ему, Бикейю, не тесть, а отцу его не зять; что пава многоценная, достойная украшать райские сады пророка, ныне прогуливается по аулам маскарцев, — и просил отца послать переговорить со стариком Сатлы и готовить калым ему, а не Тохтамышу.

Исянгильди так же мало призадумался над ответом, как сын его, Бикей, над запросом своим: калым был отчасти уже выплачен. Тохтамышу; «невеста твоя», сказал старик, «тангри биурса, — коли богу угодно, дочь его, Дамиля; на первый случай будет с тебя и одной, а со временем, — иши аллах, с помощью божиею, — возьмешь и другую».

— Не хочу я другой, не хочу иной, хочу Мауляпу, — говорил Бикей; но отец едва удостоил его в ответ на это, назвать взбалмошным, сумасбродным, и более ни в каких рассуждениях не пускался. В глазах его, дело было конечно, и не стоило более о пустяках этих толковать. Не так думал Бикей; он знал отца, знал обычаи народа своего, и потому, хотя также не тратил понапрасну слов, но ухватился прямо и просто за дело. Так, братцы и сестрицы, Бикей наш распростился с суженою своею; которая числилась, по выбору родителей, в невестах его уже годика три; кинул ее и выданный ей уже почти до половины калым, отыскал себе в другом ауле, в другом роде и племени невесту по душе и тестя по нраву. Кто знал Бикейя искони, не узнавал его теперь: Бикей стал новым и иным че-

ловеком; так полюбил он Мауляну и так был любим ею. Это не сказка, а быль. Из этого видите вы, что и там, за Яиком, между созданиями, коих, во многих отношениях, не решаемся мы почтить названием людей, себе подобных тварей, что и там прорывается иногда это влечение, это чувство, которое уносит человека далеко, далеко выше всех известных нам созданий. Иногда, сказал я, и именно не более, как иногда: в кои веки раз, так же точно, как и у нас; ведь и у нас также сотни людей, в образе человека, рождаются, живут и женятся и умирают, — и только. Не так ли?

Бикей — жених; Бикей, вопреки воле родительской, покинул, говорю, первую невесту и калым выплатил сам за себя 60 баранов, 20 лошадей и трех верблюдов за Мауляну, задолжавшись калымом этим уральским казакам. И вот еще новая причина ко вражде и семейным ссорам, новая здесь, в рассказе моем, а в свете, да и в других рассказать, романах и повестях, все это не ново: дети любят, а старики не выдают их, артачатся, привередничают — это всегдашняя завязка!

Год прошел скоро, и Бикей женился. Приняв молитву от полуграмотного беглого казанского татарина, ушедшего от рекрутской очереди в степь и назвавшегося там муллою, Бикей увез уже Мауляну в аул свой и уже поставил, на произвольном скате, на отборном месте, новую кибитку из белых кошм, на красных киряга-решетках, о ста двадцати стрелах или стропилах, и зажил с молодою. Вы видите, что наш Бикей не изменяет себе никогда и нигде: он и здесь опять прихотничает, щеголяет и мотает, как на все и всюду. «Я помню, — говорил мне старожил оренбургский, — когда Бикей, вскоре после свадьбы своей, приехал в Оренбург: на нем были, между прочим, шитые золотом малинового бархата шаровары; помню также, когда он пожаловал, месяца два спустя, в алых суконных; и на вопросы любопытных, куда девались бархатные, золотошвейные? — отвечал, махнув рукой: «проспал, девки украли да тюбетей пошили; пусть щеголяют на здоровье!»

Мауляна была рождена для Бикей: ей все нравилось в муже, которого ни в каком отношении нельзя было ставить в одну шеренгу с прочими земляками его: он был не рядовой. Все прихоти и причуды его, не исключая даже и бархатных шаровар, радовали и утешали ее, были ей по вкусу; она умела ценить Бикей, истинно гордилась мужем необыкновенным. Не хочу докучать читателям рассказами о подробностях жизни жениха Бикей, жениха счастливо-

го; не хочу рассказывать, как он, навещая невесту свою, каждый раз снова пробирался между страхом и надеждой, по опасному, долговому, одинокому пути; каждый раз снова выкупал невесту у старух, родственниц ее, подарками: вымененными у казаков платками, подвесками, лентами, стеклянусом, бусами; не стану пересказывать всего этого; довольно того, что он уже мужем привез, говорю, Мауляну свою в длинном щегольском поезде, под прикрытием всех друзей и сотоварищей своих, богатырей и джигитов заяицких, привез в танинские аулы и начал жить да поживать. С первым нареченным тестем ссоры у них не было никакой; жених отстал, калым пропал, и старик сказал еще спасибо за подарок. Но со своими Бикей не ладил: вражда усилилась и ожесточилась; Бикей не переставал требовать калым за сестру свою, отданную постыдным образом, как куль или кенизак, как рабыня, между тем как значительный калым, за нее следовавший, остался у старших братьев, сыновей первой жены; старик и братья спорили, восставали на Бикей дружным оплотом, и взаимная ненависть кипела, росла и укоренялась. Но вы захотите, быть может, коли Мауляна полюбилась вам хотя в десятую долю моего, захотите узнать кой-что о ней, о жизни ее и молодости? Что же я вам скажу кроме того, что она была дочь зажиточного киргиза Сатлы, рода Баюлы, отделения или поколения Маскар, что была рослая и статная молодлица, красавица и умница на все аулы, лицом приветливее, а умом смышленнее, душой милее всех подруг своих; сказать вам более? И она, как все землячки се, бегала до семи лет нагишом, на жару и на стуже, в ведро и в пенастье; хоронилась при 30 слишком градусах степного мороза, с северным бураном, от которого вся кибитка осиновым листом дрожала и которым нередко целые кошмы и полсти срывало и уносило, заметало целые аулы снегом — и она, говорю, хоронилась под лохмотья, под груды шерсти, в войлоки и кошмы, зарывалась в горячую золу когда огонек среди кибитки потухал и она, дочь зажиточного киргиза, плела, шила, скребла, вязала уздечки, ткала армячину, чинила платье и сбрую отца и братьев, выделывала жеребьячи шкуры на яргаки и дахи — вымачивала их в квашенном молоке, провешивала, смазывала бараньим салом; коптила и выминала их руками — и в дождь не промокал яргак ее работы; и она копала и собирала марену и красила козловую замшу и овечьи шкуры, и хохотала и забавлялась от души, глядя, как собранные для этого на помощь гости и гости жуют мареновый корень во

все скулы — а кайсаки положительно утверждают, что толченый или крошенный не дает такой доброй краски, как жеваный; и она также выучила верблюдов, ставила и сымала кибитку, седлала и подводила отцу и братьям коней — все это было и есть обязанность и дело баб и девок; мужчины холятся, валяются на кошмах и коврах, пьют кумыс и спят. И она рядилась, как это водится, при перекочевке; в лучшее платье свое, убиралась ожерельями и запястьями, выпрашивала у отца, у братьев бойкого скакуна, на коем заганивала куланов, и мчалась вдоль и поперек шумного, многоголосного, обширного скопища, где целое огромное селение, целый город, со всем имуществом и скарбом своим, с хижинами и с жителями, был на ходу, — где стада и табуны, изморенные за зиму тебеневкой, подножным кормом, до костей в переплете, стали входить уже в сок и силу, роскошно топтали мягкую зеленую траву, и послушно следуя голосу вожака и табунщика, опереживала огромные караваны вьючных верблюдов, коров и лошадей, которые медленно и задумчиво ставили копыта свои в ступни друг друга; все это шло своим чередом, и Мауляна выросла статна и пригожа, как видели сами. Но, скажете вы, может быть, придерживаясь любомудрия, этой, так называемой, потребности нашего века, — но это все внешняя жизнь ее, телесная — а духовная жизнь Мауляны? Об ней ни слова? Почти так, господа, потому что это и для меня самого такая же загадка: что, спрашиваю, можно выведать об этом деле на словах от степной дикарки? Какой она или близкие к ней дадут вам в этом отчет? Да полно, поймут ли, о чем вы толкуете, чего хотите? Что в ней была душа, в Мауляне нашей, и душа страстная, пылкая, необузданная, неразгаданная, а все-таки душа; что она мыслила, чувствовала, тешилась и страдала, противоборствовала и отдавалась, в этом, по крайней мере, не сомневаюсь. И вот вам, для доказательства сказанного, между прочим, перепев Мауляны и подруг ее, на одном из праздников, с молодыми ребятами. Девки и парни садятся особыми кружками, одни поодаль от других, а нередко девки и внутри кибитки, а женихи снаружи, за решеткой, и обе стороны перепеваются взапуски, отвечая друг другу в очередную четырехстишиями. Импровизаторы, запевала и запевалка выказывают при этом всю остроту и витийство свое, и толпа тешится, слушает, хохочет и повторяет те из стихов, которые ей более понравились.

Народная песня турецких и татарских племен — это рифмованное четырехстишие, не скажу какого именно раз-

мера, ибо народные барды довольствуются уже тем, коли песню их можно петь, растягивая и скрадывая слоги, где нужно, на известный напев или голос. Образец всех восточных размеров — это арабская поэма Мохаммедья, переложенная искусно на турецкий язык. Сочинитель ее, сказывают, носился с нею, как курица с яичком, и не знал, куда ее девать; никто ее не принимал, не понимал, и сочинителю ни в чем не было удачи. Оказалось впоследствии, что Аллах не давал ему таланта за одно какое-то богохульное слово, песторожно и некстати в поэме употребленное; когда же слово это, на закинута несчастным сочинителем списке, случайно стерлось и исчезло, тогда творение было оценено по достоинству, пошло в ход и слывет доселе образцовым. Ему подражают, в размерах, турки и татары; распевая Мохаммедью, они приноравливают к размеру ее и свои песни, хотя и не всегда равно удачно. В песнях этих смысл всегда оканчивается четвертым стихом; каждое четырехстишие составляет, так сказать, отдельную песенку, и настоящая народная киргизская, башкирская и татарская песни не бывают длинее четырех стихов. Небольшое число старинных, богатырских песен или поэм составляет исключение из этого общего правила. У киргизов очень мало общепринятых или постоянных песен: они поют обыкновенно наобум, о том, что у них в глазах; постегивая нагайкой по тебенькам седла своего, покачиваясь взад и вперед, тянет кайсак полчаса сряду плачевным напевом: тау, агач, су, урман, тюз — то есть: гора, дерево, вода, лес, всрблюд, доколе ему не взбрдет на ум иной предмет или слово. Но есть певцы записные, певцы наобум, без которых и пир не живет; они являются всюду, где только режут баранов, где только сходятся в кучу и пьют кумыс; они же играют и на кобызе, на гудке плотницкой отделки, состоящем из корытца или долбушки, снабженной двумя, тремя, из конского волоса свитыми струнами; играют и на домбре, небольшой, длинношеей балалайке; а те, которые понавострились на линии, у башкиров играют и на чибызге, на дудке, сопелке, запасаясь каждый раз, при каждом напеве, духом, на целую песню, за отрывистым концом которой снова переводят дыхание. Они воспевают на пирах того, кто их кормит, поит и дарит. Есть, как я упомянул, кроме этого обычай, по которому на пирах и особенно на свадьбах и поминках, молодцы и молодницы состязаются поочередно и нападают друг на друга, как у нас подчас, в словесных сшибках в гостиных: это бывает иногда довольно потешно и забавно, хотя и

длится долгой ночью: всю ночь напролет, до белого утра. Вот песенка Мауляны с подружками и ответы противников ее, — песенка, записанная татаринном скорописчиком; напсв так тих и медлителен, что вовсе не трудно следовать за певцами и певицами. Язык татарский так сжат, — да и сами слова так коротки и малосложны, что решительно нет возможности переводить песни их в меру, ограничиваясь теми же четырьмя стопами.

Он

Кто, праздничный пир встречая, алым сукном не облекается?
Чье сердце, девку завидев, алою кровью не загорается?
Не гляди на меня так: не то увяжусь за тобою;
В тебе искать буду волю сгубленную, волю молодецкую!

Она

И на проводы слезные, видала я, красно убираются;
Алому цвету не верь: цвет, сам знаешь, дело обманчивое,
А какую ты вещь сгубил — волю молодецкую — я не ведаю;
Назови приметы ее, да зачем зайдет она к девицам?

Он

На Янк-реке, на тихой воде, есть ятовья, омуты глубокие,
А зыбкая струйка его скорей алого цвета обманет!
И в очах твоих то же: очи-омуты глубокие;
Не заглядывать было, не топить в них воли молодецкие!

Она

Не разгадывать нам, девкам заяничким, загадок твоих:
Назови ты вещь, коли потерял, назови приметы ее;
Утопил, говоришь, теперь, а сказывал давече: потерял;
О, лукавы речи твои! И нашел же где, у девок, искать
утопленников.

Она

Караганка-лиса и перед волком права живет,
Проведет кругом тебя, да грех на тебя же и свалит!
Так и вы, красные, вы изворотливей караганки-лисы;
Сами вы — алый цвет, а наши, вишь, речи лукавы!

Бикей и Мауляна проживали вместе почти два года, не пуждаясь в дружбе родичей своих и не слишком замечая их неприязнь и злобу. Бикей, не заботясь ни о чем, добыл уже вес и значение не только в ауле своем, но и во всем танинском роде; но, повторяю, никогда он не искал этого, а и того менее посягал на отцовское звание и достоинство, в чем братья всегда старались оклеветать и обвинить его перед отцом, обрадовавшись тому, что нашли сла-

бую струну в старике, нашли обвинение, самая быточность которого была уже достаточна, чтобы восстановить отца против сына. Свобода собственная разгульная, молодецкая жизнь были единственною потребностью Бикей; но оскорбленное с детства чувство не переставало изливаться желчью на притеснителей своих; а постоянная дружба с полинейными уральцами и частые его с ним сношения подавали все средства врагам его, сводным братьям, поддерживать и подстрекать гнев и недоверчивость отца и старшины Исянгильдия, которого легко было уверить, что Бикей урус, русский, и добивается на линии почестей и могущества.

Мауляна была единственною его женою и единственною радостью и утешением. В этой чете столкнулись два человека, в своем роде необыкновенных: упрямая судьба одарила дикарей этих мозгом и сердцем, которые, при надлежащем развитии понятий и способностей, может быть украсили бы чело и грудь царственной четы; может быть, другой Суворов, Кир, Кант, Гумбольдт сгнули и пропали здесь, сколько окованный дух ни порывался на простор! Я знаю, по крайней мере, что кушюлы-птичий путь, то есть млечный, и темир-казык — железный кол, то есть полярная звезда, вокруг которой, по мнению кайсаков, лошадь-медведица ходит на приколе, не раз заставляли призадумываться нашего Бикей такую думою, которая едва ли когда освятила помышления прочих его земляков.

Чета эта понимала друг друга: он гордился ею, охотно хвастался, похвалялся и показывал ее линейным кунакам своим, как вещь редкую, диковинную и дорогую; она была не только гораздо пригожее всех молодежи своего аула, но и бойчее, осанистее, проворнее и гораздо умнее их. Есть доселе много людей на линии и в Оренбурге, которые видели и знали ее: вы услышите одно, и разногласицы насчет Мауляны нет, словно все условились и сговорились. Еще недавно смеялся я внутренне, сидя вечером, в дружеской беседе, где зашла речь о Мауляне прекрасной: один из самых сухих и закоснелых, угрюмых брюзгачей наших улыбнулся, ослабил уста свои и не мог скрыть пробудившихся в нем приятных воспоминаний; она поражала и озадачивала собою каждого, с кем бы ни сходилась, ни встречалась: думаешь видеть перед собою милую окрутницу, которая ловко, удачно и искусно подделалась под статью и лад дикарки, не покидая благородной, образованной осанки наших барынь и девиц лучшего круга.

Но Бикей был вечно тот же; он не умел по-нашему, в тиши, вдали от сует и притязаний, лелеять блаженство свое и вкушать его каплю по капле; не умел подладить под нрав упрямого, угрюмого старика; Бикей и теперь все еще летал, как и прежде, по скачкам, знался и водился с казаками и требовал, по старой привычке, наступая на горло, там, где можно, где должно было или просить или молчать.

— Выдели меня! — сказал он однажды отцу своему, будучи у него в гостях, — выдели меня, батюшка; я уже не ребенок, хочу жить сам по себе, своим умом, своим добром; коли ты умрешь, так братья меня разобидят в пух, я же им не захочу спустить, не подарю ничего — и быть беде, сердце мое слышит! Выдели меня до греха, отдай мне, что будет моим, и я не стану более считаться с вами, ни тягаться; пусть братья делают, от чего отстать не могут, пусть натравливают тебя, старика, на меня, а я — стану молчать, выдели только меня, батюшка, честно, правдиво, безобидно.

— А какой дележ, по-твоему, будет правдив и безобиден? — спросил старик, сидя на земле орликом, перекинув руку за руку на коленях и глянув черными глазами своими, подернутыми притворным спокойствием, на стоящего перед ним сына.

— А вот какой: дай ты мне всего скота поровну с братьями, да прибавь еще что-нибудь за калым сестры, которую вы продали как барана, — и дело кончено!

— Не только не будет тебе прибавки за сестру, — отвечал старик, покачивая головою: — но я, коли Бог пособит, вычту еще с тебя калым, который выплатил я Тохтамышу за невесту твою: возьми ее к себе, сорванец бешеный!

— Твоя воля браниться отец, а я ее не беру; есть у меня жена, а куда другой не хочу. И не будет помощи тебе от Бога на неправое дело, не призывай Его! Не годится мне, сыну, с тобою считаться; бранились вы со мною годы, не хочу я браниться с вами ни години; слушай: если бы я взял за себя Дамилю, дочь Тохтамыша, то ты бы не стал искать на мне калыма, который за нее отдал; за что же теперь правишь его с меня? разве легче тебе будет, коли возьму за себя еще другую жену?

— Пусть не пропадает даром добро мое, — отвечал упрямый старик настоятельно: — я заплатил за нее...

— Дело твое неправое, батюшка, видит Аллах, неправое; и сам ты видишь это, но... суди Бог, как знает, а кроме Него нам нет судьи. Слушай же: я с тебя правлю ка-

лым за сестру, ты с меня калым за невесту; верстай же калым за калым; пусть добро мое пропадает, да выдели меня только наравне с братьями, и я снова Божий и твой!

— Нет тебе калыма за сестру, — молвил упрямый старик: — моя дочь, а не твоя: а выделю я тебя с учетом за весь калым невесты твоей, Дамилли, и живи, как знаешь!

Это огорчило Биксея вконец и раздражило его крайне. «Со стариком нечего делать», подумал он: «старик выжил из лет; он дряхл и глуп, а все-таки отец мой; но мне ответ держать должны братья; они не ребята и не старичишки, а знают дело и понимают его не хуже меня. А уступить им — я не уступлю: они и так уже заживо обобрали и отца, и меня; выманили у него что ни есть лучших скакунов, то туда, то сюда, и я же остался у них в дураках; а мне меньше пужно, нужнее ихнего; я и так уже позамотался немного, да и не доплатил еще уральцам половины займа, на калым Мауляны, а срок подходит; они кунаки и дуслары мои, и друзья и приятели, да если я не разделаюсь с ними в срок, — так, видно, класть им будет после по тринадцати баранов на дюжину! Упрямый старик! За то, что не хочу держать другой жены, что не хочу засватанной им невесты, правит он с меня калым; будто не все одно ему, за ту ли, за эту ли он отдал добро свое, и не рассудит, что Мауляну я сам засватал, сам, за свое добро, а не он! А сам он продал сестру, что калмычку, и молчит; и те тоже, Бог их суди, притаились с ним и залегли в заплот, все заодно, на меня ж! так нет, он прав, вишь, а я виноват! добро, все это братья! Джяман кшиляр, подлецы они; у меня рука на них не подымется, а язык поворотится, буду смеяться им в глаза, буду дурачить их при людях; им стыдно станет — и авось, дадут они мне покой!»

Прошло несколько времени, и Исянгильди назначил в стадах и табунах своих участки сыновьям: из доли Биксея братья выбрали себе, с согласия отца, любую сотню голов крупного скота и объявили их своими. Столько, утверждали они, старик дал калыму за первую невесту Биксея. И здесь опять Биксей был обижен вдвойне; во-первых, не за что было взыскивать и вычитать калым этот с него за то только, что он не брал другой жены, а во-вторых, Исянгильди никогда ста голов не заплатил Тохтамышу, а почти вчетверо менее. Это был один только предлог, чтобы обобрать и обделить Биксея по мере сил и возможности. Но он и тут не вышел из себя и не изменил себе: «Берите», — говорил он смеючись, — «берите, что хотите, будете пасту-

хами мои, я же вам за это спасибо скажу! берите и пасите; да только приглядывайте у меня за добром моим исправно! счетом взяли, счетом и отдадите!»

Бикей действительно в полной мере оставался верен слову своему, и дело следовало слову: когда он нуждался в коне, когда хотел резать барана, то приходил, как хозяин, в стада братьев своих, брал взачет, что хотел, распоряжался в самом деле как у пастухов своих, как дома; он при этом всегда успевал молодецким обычаем своим, всегда делать набеги эти удачно, хотя, из похвальбы и хвастовства, а может быть из благоразумной предосторожности, — ходил на поиск этот всегда один и без всякого оружия; ходил, как сам говаривал, в свои стада, к пастухам своим. Таким образом, Бикей, в течение лета, отогнал у братьев уже несколько голов разного скота; и братья, чувствуя неправо дело свое, которое все соседние аулы, глас народа, давно уже порешили в пользу Бикея, — братья ссорились, бранились, грозились, просили на него шумными и нахальными речами у отца, драли горло, — и только. Они пытались было несколько раз наверстать убытки свои из стад и табунов Бикея, угоняли обратно у него, по коренным, степным законам баранты, овец и лошадей, — но скоро оставили этот напрасный труд: Бикей никогда не отражал их силою, никогда не встречал их, как они надеялись, может быть, — с оружием: словом, он ни малейше не противился набегам и покушениям их. «Берите», говорил он, «берите, что хотите»; пасите, приглядывайте за добром моим, а коли прокормите скотину мою благополучно зиму, так я ее приму от вас снова весною, и подарю еще, пожалуй, за пастьбу сороковину. Мне же лучше: буду сидеть в зимние бураны спокойно с хозяйкою своею в тирмэ, в кибитке, не буду плестись и разъезжать художонным вершником, на исхудавшей кляче, согнувшись горбом от стужи и бурана, в тройном яргаке, да в мохнатом тумаке¹, и сгонять хриплым голосом и озлобленною рукою разбитые зимнею вьюгой стада и табуны! буду греться под крышей, у огня, буду отогревать и пить замороженный впрок кумыс, буду пить гретую, теплую воду², а закусывать

¹ Тумак, малахай, карнаух — шапка о трех лоскутах, покрывающих щеки и затылок.

² Кайсаки, особенно почетные, степенные люди, никогда не пьют холодной воды, производя от нее множество болезней; котелок с водою лето и зиму греет на небольшом, кизячном огоньке, и это их обыкновенное питье, коли нет кумысу.

крутом¹, буду есть копченые конинные колбасы и полотки... а вы пасите за меня скот мой,— все равно, надобно ж мне нанимать пастухов!»

Это обстоятельство поставило вовсе в тупик братьев Бикеевых; нет суда и нет средств ни покорить его, ни наказать; а сколько они не стерегли его в табунах своих, сколько ни старались поймать его на месте, все по пустому и без малейшего успеха. Он над ними только потешался: он страшал и подсылал сказать, что придет в темную полночь за расправою, и братья вооружались, стерегли, разъезжали всю ночь напролет; а он являлся среди белого дня, кидался на любого скакуна и улетал стрелою, прежде чем пастухи успевали повестить братьев его о новом набеге и похищении.

Братья, составив с отцом совет, решились прибегнуть к последнему средству: позвать баксы, киргизского шамана, обещать ему лучшего стригуна, жеребенка, если он откроет им средство, как наказать брата и воротить от него все добро свое.

Пусть читателей не удивляет этот языческий шаман среди почитателей ислама; я думаю, они — читатели — припомнят, что есть где-то иная, чистейшая, спасительнейшая вера, среди которой, однако же, процветают, во всем блеске своем, и ворожба, и заговоры, и колдовство, и гаданья, и всякая всячина; словом, то же самое шаманство...

Баксы этого привезли верхом на быке, в носовой хрящ которого продет был аркан,— экипаж, на косм разъезжают впрочем и не одни баксы, а вообще неимущие, пастухи и другие люди. Баксы этот, с обнаженною черною грудью своею, с худощавым, смуглым, судорожно истерзанным лицом и черными косыми очами,— с длинной черной, лоснящеюся косою, в лохмотьях с ног до головы, был гаже и отвратительнее всего, что можно только постичь пятью чувствами. Глядя на него, обдавало вас мурашками, как в обществе безумного, прокаженного, который напоминает как-то наружностью своею человека, но, в сущности, есть тварь бессмысленная. Сближение это, для всякого мыслящего человека, тягостно, унижительно и больно. Баксы наш был и жалок и смешон, коли хотите, но более всего неизящен и отвратителен. Он начал проделку свою тем, что велел отыскать в ауле и привести к себе больного; этот бедняк поплатился за все; баксы мучил и терзал его неот-

¹ Соленый высушенный овечий сыр, обыкновенная и любимая их пища.

ступно; ему, шаману, нужно было выгнать из хворого шайтана, чтобы с ним вдвоем потолковать об известном деле. Можно себе вообразить, что выйдет доброе дело из обоюдного совещания беснующегося, воплощенного беса с шайтаном, с чертом!

Вся проделка баксы состоит в том, что он садится посреди кибитки, пазсмь, засучивает рукава и начинает медленно и спокойно петь, подыгрывая на кобзе и покачиваясь с боку на бок. Мало-помалу он входит в восторг, ревет громче и бестолковее; толстые короткие струны и смычок дико вторят неистовому напеву беснующегося,— а наконец, вышед из себя, вскочив, кривляясь и ломаясь ужасным образом, объявляет баксы, что бес в него влез; тогда вопрошают его, о чем нужно, и он, кусая себя зубами, причем присутствующие вскакивают и кричат: миным кулым, моя рука, чтобы, видите, он сам себя не изувечил,— царапаясь ногтями, заколачивая, довольно грубым обманом, нож или топор себе в брюхо, и прочее, и прочее,— оканчивает наконец проделку тем же, как и начал: провожает черта на кобзе и, выпроводив его, опять делается человеком.

Итак, баксы кричал и пел, и метался, и падал, и стегал сам себя плетью, приподнимал больного зубами за пояс и ронял его па землю; ломался; пел, потом снова успокоился, уселся, начал скрипеть смычком по гудку, который состоит из корытца или долбушки, вилообразной подставки и трех, свитых из конских волос, струн — начал, сидя, покачиваться туда и сюда, косить и подкатывать бельма свои, вскочил снова, ревел туром и ржал жеребцом, а, наконец, поставил хворого на четвереньки, грудью над глиняною плошкой, которая горела семью яркими огнями: и начал, заглушая криком своим стоны больного, бить его по спине нагайкой... Он читал и пророчил по щелям и трещинам жженой бараньей лопатки, к которой нож и зуб не смели прикоснуться,— опять ломался и бесновался; словом, не знаю, чем бы все это кончилось, если бы он не оборвался наконец со стропил, или с круга кибитки, куда полз, шайтан его знает, зачем, и не упал бы, среди бешенства своего и исступления, на дымящиеся посреди кибитки головни; бумажный, стеганый, изодранный халат его вспыхнул, и знахаря нашего насилу залили турсуком воды. Это приключение уняло, простудило и угомонило несколько гаера; он успокоился и потребовал пить: ему подали чашку кумысу. Пот с него, с лешего, катился градом, вода бежала ручьем, а корча все еще ломала и коро-

била его во все стороны. Он свалился с ног, пролежал, немного зажмурившись, в беспамятстве, и прокричал следующий приговор: жене судья — муж; дочери — отец, а возмужалому человеку — старший в роде. Перед судьёю должен явиться обвиняемый во всякое время, а непокорного судью — Бог велит навязать на хвост кулану¹ и пустить на безводный, раскаленный кызыл-кум!

Этим представленье кончилось. Баксы выпался, наелся, напился, взял стригуна своего и отправился верхом, на том же быке, на котором прибыл.

Однажды на рассвете — это было осенью, когда в других странах одна только вершина шатра небесного сквозит еще своею лазурью, а небосклон облегают уже сырые, серебристые тучки, и когда в Оренбурге и степных окрестностях его, светлое, тихое и безоблачное небо — до ноября и позже — стоит неподвижно и величественно, под бесконечным пространством желтой, блеклой степи, и кой-где еще колышится уцелевший куст старого серебристого ковыля, — на рассвете такого дня, 4 сентября 1831 года, прискакал один из табунщиков старших сынов Исянгильдиевых, Джан-Кучука или Кунак-бая, с встью, что Бикей опять уже приехал хозяйничать в косяки братные. Поскакавшие в табун хозяева нашли все в своем порядке; Бикей уже не было, а пастухи донесли, что он угнал пару отборных коней — и ускакал. Братья Бикей теперь приступили к отцу и неотвязчиво требовали, чтобы он вызвал на суд сына: они собрали, на скорую руку, несколько человек, из единомышленных родственников своих, в кибитку старика Исянгильдия, уверили отца, что в этом общем заседании должно судить и осудить Бикей — и перекричав всех и оглушив криком своим самого отца, поставили, как-то обыкновенно водится у приятелей наших, кайсаков, дело на своем. Они раздражили старика и вывели его из себя.

— Позвать его ко мне! — заревел он, и глаза его искрились гневом неукротимым, губы дрожали: — Позвать сейчас; я отец его, я старший в роде Тана, старший в поколении Гассан, я глава семейства Ягмурзы, я судья беззаконию его, я и каратель; я ему докажу, что своеволие его мне надоело; докажу, что я ему судья, а не он мне! позвать его сейчас!

И гонец слетал уже в аул Бикей, не оглядываясь, и привез уже ответ: «Тебя послали братья мои, а не отец:

¹ Дикой лошади.

отцу уже нет дела до ссор наших, он выделл нас, по своему, и отказался от правосудия. На зов отца я готов идти всегда, но тебя послали братья. Скажи ж им, братьям моим, что я наказов их не слушаю, что званный к ним не еду, а ежду незванный, а их прошу, коли хотят, пожаловать в гости ко мне во всякое время; саба¹ моя полна кумысу, баран всегда найдется для гостей, и ковер на подстилку».

— Подайте его сюда! — заревел бешеный старик, вышед из себя, когда сыновья донесли ему слова Бикейя, по своему: — подайте его сюда! — кричал он, вскочив с кошмы своей, покрытой ковром, персидским, современным Надыр-шаху, — подайте!

— Нейдет он, — отвечали в голос Джан-Кучук и Кунакбай: смеется немощному, слабому старцу, нейдет и знать его не хочет!

— Живого или мертвого подайте! — гаркнул иступленный старик и затрясся всем телом: — я приказываю, чтобы он здесь был через полчаса!

Вот слова, которых жаждали, вероятно, уже несколько лет сряду, братья Бикейя; и не успел еще выведенный из себя отец произнести страшных угроз, как они были уже обращены в наказ и в самое дело. Шестеро вооруженных вершников мчались уже во весь дух по тому же направлению, по коему едва только первый гонец возвратился.

Бикейя собирался ехать на линию, в Калмыкову крепость, и жена ему подводила коня, когда, занесши уже ногу в стремя, Бикейя поднял голову и увидел всадников. Предугадывал ли он последствия отказа своего и хотел избегнуть, на первый случай, встречи или случайно и ничего не замышляя, собрался в этот путь — не знаю; но было так, как я рассказываю. Он мигом узнал дорогих гостей, впереди которых летели любезные братья его — угадал, по чеканам и копьям, что едут не в гости к нему, — и впервые изменил себе и обычаю своему, впервые не нашелся; хладнокровие его не устояло противу этого нового, стремительного натиска мерзавцев; — он кинулся в кибитку за оружием.

Мауляна, покинув повод верного коня, бросилась за мужем и выкрутила силою из рук его винтовку, не внимая заклинаниям и божбе Бикейя, что он стрелять по братьям не станет, что даже ружье не заряжено, что оп только в острастку им берет мултук свой, зная, что никто не посмеет сунуться на него, и братья первые уйдут домой, не огля-

¹ С а б а, кожаный мех большого размера, т у р с у к меньшего.

дываясь, коли увидят ружье в руках его, несмотря на все это, она силою обезоружила Бикей, вывела из кибитки, требуя и настаивая, чтобы он сел, не вооруженный, на жеребца и ускакал бы, как намеревался прежде, на линию.

Нехотя и как бы предчувствуя всю беду, повиновался он Мауляне, любимице своей; «садись», кричала она: «садись и скачи», вынесла мужа почти на руках из кибитки и увидела, что покинутый ею в испуге, без надзора, конь, на которого была вся надежда, конь, с которым неудачи в побеге и быть не могло, — тряхнул гривую, почуяв вольность свою, и ускакал.

Бикей вскочил на какую-то клячонку, которая стояла, оседланная, подле соседней кибитки и вероятно принадлежала кому-нибудь приезжему гостю или пастуху; вскочил — и по первой выступке кобылки познал моготу ее: ему и думать нельзя было уйти на ней от шести вершников, которые уже доскакивали до аула; Бикей, будучи, как уже сказал я, вовсе безоружен и теперь так близок к бедствию, снова нашелся и успокоился; он повернул в ту же минуту навстречу погоне и подъехал шагом к дикому зверю, которого, как говорил я выше, сама природа запятнала не двусмысленною печатью, присудив Бикей называть его карандаш — одноутробным. Бикей принял спокойный вид и произнес всегдашнее приветствие: селям-aleyкюм; но получил в ответ, вместо обычного: алейкюм-селям — град ругательных слов, в которых татарские народы едва ли не перешеголяли нас, русских, и которых я повторять здесь не намерен — а затем, выслушал объявление следовать за ними, за братьями, коли не хочет, чтобы над ним был исполнен смертный приговор отцовский.

— Я еду сегодня в другое место, — отвечал Бикей твердо и спокойно: — и с вами ехать мне не по пути; а как вы, кажется, отправляетесь куда-нибудь на разбой, то я мешать вам не стану; прощайте! — И за словом поворотил он коня от них и поехал, шагом, своим путем.

Старший брат, Джан-Кучук, не дал ему отъехать пяти шагов, как, налетев на него сзади, рассек ему тяжелым чеканом своим череп. Бикей зашатался, припал, обеспамятев, на переднюю луку, замотал обе руки в гриву — и уже долее лица не подымал. Неверный конь равнодушно продолжал свой путь шагом. Всадник его был убит или добит обоими братьями и снят уже мертвый с седла. Остывшие, судорожно сомкнутые персты насилу были выпутаны из косматой гривы клячонки.

ВДОВИЦА

Не стоило бы начинать здесь еще новую главу; новость моя, как сами видите, вся или почти вся, а что остается досказать, то можно бы пришить и к предыдущему. Но, описав братоубийство, отделил я толстою чертою писанное от оставшегося внизу пробела и кинул перо; ныне же, когда пробежал я снова давно заброшенный рассказ свой, с тем, чтобы предать его тиснению, наткнулся я на эту длинную и толстую черту, Бикеев скромный мавзолей, — не хочется мне тревожить памяти и праха убитого разорением этого, от избытка чувств сооруженного памятника; невольно перевертываю лист и начинаю в новую строку.

Бикей был убит; месть и жажда крови братьев-извергов утолена; он лежал перед ними бездыханен, и алая кровь его запеклась на желтой, солнцем сожженной, сухой траве. Весь аул сбежался, стар и мал подняли крик и вой ужасный; все кричали о мести, кричали: «кровь за кровь!» тревога поднялась и разлилась во все стороны; и когда убийцы поспешно взвалили труп Бикеев на коня и помчались с ним без оглядки в аул Исянгильдия, то шумная, бестолковая толпа, с угрозами и проклятиями, скакала вслед за убийцами, вплоть до самой кибитки старшинской.

И на пути, неожиданное появление значительной конной толпы встревожило все аулы, а услышав крик: «Бикей улыган! — Бикей убит!» — стар и мал завывали страшными голосами и, всплескивая руками, приставали к поезду. Исянгильди, на крик приближенных своих: «едут! едут!» — вышел из кибитки своей в сердцах, готовый встретить гневно, строго и сурово непокорного, кипящего жизнью сына — и встретил его — тихим, покорным и покойным... Какая разительная противоположность — живой человек и мертвый!

Лицо Исянгильдия мгновенно изменилось, так что все предстоящие, взглянув на него, замолкли: казалось, и здесь, в чертах отцовских, совершился переход от жизни к смерти. Исянгильди прошептал, пробормотал что-то, сложив руки, как привык их складывать ежедневно при намазе, молитве, и, наклонив голову, дрожащими перстами коснулся бороды своей — и все вокруг затихло; шумная, дикая, голосистая толпа умолкла — отец убил сына, брат брата; казалось, это было происшествие, которое могло заставить опомниться и призадуматься даже и заяцкого

степного волка, называемого у нас киргиз-кайсаком. Это выходило из круга дел обыкновенных, и мохнатые зрители наши походили и сами на невыезженных, диких коней своих, которые храпели, когда проволокли по земле мимо них труп убитого, пряли ушами и, выкатив бельма, боязливо переступали с ноги на ногу, попрашивая поводыев и оглядываясь друг на друга.

Итак, старик этого не ожидал. Опамятавшись, спросил он: «Кто смел убить сына его?» Убийцы громко, нагло и как бы с укором отвечали ему: «Ты его убил, не мы, ты сам, мы только исполнители воли твоей!»

Исянгильди замолк опять, глядя на труп сына, сложил, опустив их перед собою, руки и, покачивая головою, повторил два раза: мин уны ультердым — я его убил; он вынул из-за пояса нож, сделал им разрез на обнаженной груди сыновнего трупа, омокнул палец в простывшую уже кровь его, коснулся им уст своих и сказал: «Лишаясь одного сына, я должен спасти остальных; — я его убил; на мне кровь его, на мне и ответ за кровь. — Потом он горько зарыдал, закрыл лицо руками, удалился в тирмэ, в терем свой, и не велел пускать к себе убийц. Дело было сделано, пособить было нечем, и старик, зная строгость законов наших, зная и обратившийся в неизменный закон обычай кровомести земляков своих — он предпочел взвалить на себя все бремя ответственности и спасти, коли можно, остальных сыновей своих.

Чтобы досказать начатое, а потом уже перейти к иному, упомяну теперь же, решилась судьба убийц.

Оренбургская пограничная комиссия писала об этом в донесении своем следующее: «Все вообще сведения, относительно смерти Бикей Исянгильдиева, состоят: в донесении султана-правителя, по показаниям вдовы умершего в донесении султана Махмуда Алгазыева, посланного для розыскания, на место происшествия; а наконец, в донесении самого отца, подозреваемого в убийстве сына. В первом, старшина Исянгильди с сыновьями именуется умышленными убийцами, из второго только видно, что султан Махмуд не мог или не хотел исследовать дела; он говорит, что Бикей, упав с лошади, сам себя поранил саблею и разбил голову, от чего и скончался. Отец умершего, или убитого, говорит то же — а между тем уже откочевал подалее от линии.

Но народная молва, громко и согласно, обвиняет Исянгильдия со старшими сыновьями его, Джан-Кучуком и Кунак-баем, в убийстве. Отец, после продолжительных и

крайне запутанных споров и ссор с сыном своим Бикеем, подстрекаем и раздражаем будучи братьями и врагами его, Бикеем, пронзисс, забывшись, роковой приговор, а те исполнили его, не дав остыть необузданным чувствам старика. Но два обстоятельства важны в молве этой: первой — Бикеем против отца никогда не забывался, и отвечал посланным: «На зов отцовский я готов идти во всякое время; но вас послали братья, а не отец», и второе: старик Исянгильди не ожидал и не хотел убийства; он горько и неутешно зарыдал и обагрил сам себя кровью убитого, чтобы спасти от мести народной и кары закона остальных сыновей и родственников своих, принять с кровью убитого всю ответственность на себя и положить конец делу, которое вовлекло бы в бедствие целый род и племя его.

Старшина Исянгильди считается одним из почетнейших и, без сомнения, самым богатым из всех оренбургских кайсаков; гассановское отделение рода Тана, им управляемое, отличается благосостоянием и спокойствием; Исянгильдию ныне — в 1831 году — 88 лет отроду; преследование виновных по закону было бы не только трудно и бесполезно, но даже вредно и невозможно. Аулы гассановцев тогда, без сомнения, немедленно откочевали бы от линии; богатые, почетные и многочисленные родственники старшины удалились бы в степь, присоединившись к шайке разбойника Каип-галия¹, который нашел бы в новых приверженцах этих давно желанное подкрепление; сверх этого, виноватые не сознаются; улики законных нет и найти их почти невозможно, ибо все прикосновенные к делу не только никогда добровольно не явятся к суду, но, напротив, ненавидя и не постигая суд паш, законы и обряды нашего судопроизводства, уйдут вместе с виновными при первом слухе о начатии законного следствия. Словом, можно предвидеть, что дело затянулось бы на вечные времена, не было бы никаких средств очистить и порешить сообразно с нашими постановлениями; мирные и покорные аулы, преследуемые строгим и справедливым законом, обратились бы во враждебные, между тем как, с другой стороны, все это не принесло бы ни малейшей пользы.

«Совершенное бездействие», сказано далее в донесении этом: «совершенное бездействие, со стороны начальства, было бы почти так же невыгодно, как и чрезмерно строгое преследование виновных; а посему, кажется, было

¹ Ныне ушедшего в Хиву и принявшего от хана Хивы, начальство над не принадлежащими вовсе Хиве кайсаками и туркменами.

бы сообразно с делом и обоюдными выгодами народа и правительства поступить следующим образом:

1. Объявить Исянгильдию и прочим соучастникам его, что они состоят в подозрении по убийству старшины Бикея, — предоставляя им, коли пожелают и возмогут, представить ясные доказательства невинности своей.

2. До этого отрешить старшину Исянгильдия от должности дистанчного начальника над линейными киргизами 4-й дистанции.

3. Имена всех сотоварищей Исянгильдия внести в алфавитный список подозреваемых киргизов.

4. Султану-правителю предписать: иметь строгое наблюдение за поведением и поступками подозреваемых.

5. Ему же предписать: принять под покровительство свое оставшееся после убитого семейство.

6. Обо всем вышеозначенном обнародовать по орде.

Вот в чем состояло распоряжение, без сомнения вполне благоразумное и сообразное с местными обстоятельствами; оно, конечно, в сущности, не изменило положения дела, потому что дело это было, в отношении мер законной власти, неисправимо и неизменяемо. Не должно забывать, что начальство наше ведалось здесь не с образованными подданными своими, а с дикарями; что убийцы не сознавались в злодеянии своем и что, как мы видели, в донесении султана-правителя было сказано, будто бы Бикей умер от нечаянного самоубийства: он, уверяли, на скаку споткнулся и напоролся на саблю свою. Все знали, что это вздор; но кто по вызову начальства придет со степи на линию, для изобличения виновных? Кайсаки боятся суда и судей, как огня.

Происшествие это ныне заснуло по-видимому в памяти причастных ему, с той и с другой стороны — но это искры, тлеющие под легким пеплом. Стоит только пахнуть ветру — и пламя вспыхнет и разгорится; а в заяицкой степи, богатой буранами, за этим едва ли станет дело! Здесь каждая драка, каждая ссора, а тем более убийство, влекут необходимо за собою целый поезд подобных явлений. Так и ныне: вражда Бикея с братьями и с отцом расплодилось, размножилась до бесконечности, ныне взаимно враждующие насчитывают друга на друга следующие долги и недоиски: 1) наследники Бикея правят с отца и братьев его старый долг, известный калым за сестру Бикея; 2) требуют кун за убиение последнего и наконец еще 3) требуют уплаты, за косяки и стада, захваченные Исянгильдием или сыновьями его силою, после убийства, из

принадлежащих собственно Мауляне и Бикею, равно из имени второй жены Исянгильдиевой, матери Бикея, для удовлетворения Мауляны и освобождения сим самым захваченного в Уральске, в залог, сына своего Кунак-бая.

Вот как многосложны семейные раздоры, последовавшие убийству Бикея; и можно, не быв пророком, ожидать, что, скоро ль, нет ли, каша снова заварится и будет стоять, может быть, не одной богатырской головы. Месть за кровь убитого есть доблесть, столь свято в степи чтимая, что доселе не было еще, как говорят, примера, где бы наследники и родичи убитого забывали выместить, хотя бы то и в десятом поколении, позорную смерть пращура.

Теперь я должен приступить еще к рассказу одного обстоятельства, трогательного и истинного, относительно вдовицы Бикея, милой и прекрасной Мауляны.

Плано-Карпини, ездивший в 1246 году по приказанию папы через Россию к татарам и монголам и благополучно возвратившийся опять во-свояси, говорит, между прочим, в достойном любопытства путешествии своем, написанном им по-латыни, что у помянутых народов ведется обычай, по которому каждая вдова обязана выйти за брата или ближайшего родственника умершего. Из этого замечания мы усматриваем, как древни бывают иногда обычаи народные; почти шесть столетий протекло, и мы ныне находим у киргизов то же. Жена есть вещь, купленная мужем; она принадлежит ближайшему по нем наследнику; по той линии, от которой был выдан калым, то есть по восходящей, или боковой, отцовской, но отнюдь не по нисходящей; так что мать, по смерти мужа своего, никогда не может достаться в удел сыну, а принадлежит боковым родственникам отца, братьям, дядям его и прочее.

И Мауляна, лишившись мужа, доставалась в удел... убийце его, старшему брату, Джан-Кучуку, который присватывался за нею еще в детстве ес и никогда не мог простить счастливому сопернику оказанного ему преимущества. Итак, вот еще новая пружина, новая махина, рычаг и ворот! Как было не посягнуть Джан-Кучуку на жизнь ненавистного ему брата, коли, сверх всего, подвиг его должен был увенчаться такой наградой. Погубить соперника, уничтожить, втоптать в прах противника своего и прага, — брата он в нем не знал и не видел, — быть в то же время наследником достояния его, силы и власти; а наконец, утолить еще жажду мщения отверженной с презрением любви — обнять насильственно гордую, запосчивую, насмешливую, а все-таки прекрасную Мауляну, —

все это соблазнило бы, может быть, и не одного Жан-Кучука, который не умел отдавать себе и другим никакого отчета в поступках своих, а действовал, как руки и ноги подымались, как действуют волк и коршун.

В каком положении была бедная Мауляна по убийстве мужа ее — этого, воистину, выразить словами нельзя. Мне говорил об этом, между прочим, близкий родственник ее, прискакавший к ней на помощь из дальнего аула, в ночь по совершении злодеяния. Отчаяние в груди, в уме дикарки не знает никакой меры. Но каково было потом еще положение ее, когда на третий день после убийства Жан-Кучук приехал было объявить ей, что она теперь его джысыр и будет его четвертою женою? Она едва не зарезала его большим кабульским ножом своим, в бирюзовой оправе, с череном из рога носорога, и Жан-Кучук бежал от испуганной не только по всему аулу — бежал от нее верхом и степью, и пал бы, может быть, под обоюдоострым каратабаном ее, если бы свояк ее, султан Кусяб, не кинулся за нею в погоню и не отнял бы у нее ханджара. Султан привел ее, лишённую ума и памяти, домой, и несчастная провела ужасную ночь, в злейшей горячке. Все утро она проплакала, рыдала горько и неутешно, во весь день не брала ни крохи, ни капли в рот, а к вечеру спокойно уснула. Утром, на рассвете, спохватились — Мауляны нет. Кидались туда, сюда, по целому аулу, поскакали в аулы соседние — Мауляны нет, и слуху об ней никакого. Не могли ничего придумать, куда бы ей деваться, коли не кинулась она, в безпамятстве, в Яик; как, около полудня уже, узнали от пикетных, от сторожевых уральских казаков, занимающих передовую цепь по левому берегу Урала, узнали, что киргизка на рассвете промчалась мимо, о треконь, и казаки, окликнув ее, не могли догнать. Мауляна ушла ночью из аула, поймала тройку удалых коней, села, и, не переводя духу, прискакала в Уральск, где явилась к атаману Д.М.Б., прилетев напрямик к нему во двор. Не скажу я, сколько верст проскакала Мауляна, в каких-нибудь двадцать часов, пересаживаясь с коня на коня, между тем как порожних лошадей гнала во весь дух перед собою, а загнанных покидала — не скажу для того, что степь дорога немеренная; а если бы я повторил только общую молву об этом, то без всякого сомнения назвали бы весть мою преувеличенным, не заслуживающим никакого вероятия, пустословием. Скажу только, что Калмыкова крепость, против которой кочевали тогда гассанцы, отстоит от Уральска 270 верст, что верст полтора ста в сутки

делает двухконный исправный киргиз легко; а сколько в двадцать часов можно выскакать на трех переменных добрых скакунах — коли станет на это сил ездока, это досужие читатели мои рассчитывают по пальцам, и без меня, и тогда пусть и пеняют не на меня, коли выйдет очень много!

Атаман препроводил искавшую у него убежища убитую судьбой красавицу к военному губернатору, в Оренбург. Смело и величественно вступила она в переднюю залу и чрезвычайно поразила находившихся там осанкою своею, красотою, смелою и величавою поступью и неожиданным появлением. Не менее того был изумлен и сам военный губернатор. Мауляна говорила, что приехала искать защиты его, ибо у нее нет в целом мире благонадежного убежища. «Я приехала», — продолжала она спокойно и твердо: «просить позволения губернаторского зарезать из рук своих Джан-Кучука, убийцу мужа моего». Просьбу эту повторяла она несколько раз, с таким прямотушием и так настоятельно, что стоило большого труда вразумить ее и убедить отказаться от этого предприятия. Долго думала она, что граф не понимает просьбы ее, и что переводчик виноват недоразумению. Наконец, когда дело для нее объяснилось, объявила она решительно, что по крайней мере не переступит обратно порога, доколе не получит великого слова наместника царского, что она будет жить спокойно в ауле отцовском и не будет выдана убийце мужа. «Или файда — что пользы в этом», говорила она выразительным трогательным голосом: «что пользы, коли выдадут меня ему? Я его зарешу в первую же ночь; и... назовите мне хотя одну душу в мире, которой бы от этого было легче!»

Мауляна была доставлена, под верным прикрытием, в аул отца своего, киргиза Сатлы, рода Лаюлы, отделения Маскар. Джан-Кучуку намекнули, чтобы он искал себе другой невесты, буде иметь недобрость в четвертой жене. Мужнее имущество возвращено Мауляне без замедления, хотя и при этом опять произошло, к несчастью, новое злоупотребление со стороны ей виноватых, как мы видели это выше.

На этом я бы мог кончить; но я не могу и не хочу утаить и окончательной доли милой Мауляны, потому что я пишу не сказку, а был.

У меня есть в Оренбурге товарищ, знакомый, близкий человек, которого я крайне люблю и уважаю. Он из числа тех людей, коих большею частью называют чудаками, и

это поделом; они всегда пекутся только о благе и добре чужом, а сами вечно ни при чем; кричат и надрываются, коли честный человек, который взял место, для того, чтобы оно его кормило — коли этот честный человек, из скудного жалованья своего, высиживает небольшие вексельшики да кой-какие каменные домишки; приятель мой человек, который, не взирая ни на чин, ни на место, ни на звание, кричит вслух, по улицам и на базаре, что такой-то вор, а такой-то плут, а такой-то мошенник; оно иному, знаете, и неприятно. Он вообще все делает по-своему; люди ездят по линии, по большой битой дороге, да водят за собою целый поезд конвойных; а он всю степь насквозь, вдоль и поперек, прошел один, припевая: «А и первый товарищ мой добрый конь, а другой мой товарищ калена стрела...» Он много занимается, читает, особенно путешествия, любит сам быть вечно в разгоне, чем дальше и глубже в новую и неизвестную ему доселе страну, тем лучше. Он выучился азиатским языкам, знает и братается со всеми нехристями, так что мы его зовем татаринном, хотя и мусульмане иногда еще его бранят: кяфыром. Я слышал сам, как русские называли его поляком, и слышал, как поляки честили его москалем. Как тут быть? Чему верить, чего держаться? Я полагаю, что он должен быть — как бишь земля, где эти люди рождаются?

Этот человек, когда бывает в степи, обыкновенно бредет голову, отращивает бороду — видите, все наоборот! — и слывет за-уряд киргизом или по крайней мере татаринном. Однажды, на одной из таких поездок, в глубине степи, пристал он, среди знойного, огненного лета, к киргизскому аулу, на скате расположенному. Здесь увидел он, на одном из отдаленных холмов, не совсем редкое в степи зрелище — несчастный дикарь, сын степей и разгульной воли, пораженный бичом дикого человечества — оспою, был покинут всеми и оставлен без крова, без пищи, без призрения, на произвол судьбы. Все бежит от этого ужасного бедствия, которого боятся в степи так, как только можем мы бояться чумы, самой ужасной, лютой; все покидает бедствующего, и он погибнет, обыкновенно, без всякой помощи и призрения. Редко, очень редко найдете вы сострадательную мать, которая бы решилась подать изнемогающему сгорающему жаждою дитяти чашу воды. Вблизи линии, кайсаки прибегают к помощи казаков; эти берут и вылечивают, как они говорят, иногда зараженных; то есть, не страшась оспы, ходят они около больного, и, коли Бог

милостив, то этот встает; в степи, напротив, он почти всегда гибнет уже от одного недостатка в питье и пище.

Итак, приятель мой подошел, по врожденной страсти своей хлопотать всегда о других, подошел, чтобы подать бедствующей, — это была женщина, — чашу воды. Казалось, это было лишнее; она сгорала уже огнем горячки, и сострадательный хожалый наш услышал только невнятные слова, произнесенные в безпамятстве :Уой, бой, Бикей! сын мины ташламас идынг! — то есть: «О Бикей, ты бы меня не покинул!..» — Какой Бикей? — спросил нетерпеливо недоверчивый путник, как будто подозревал уже и здесь опять какой-нибудь обман или подлог — какой Бикей? как зовут больную?

«Мауляна», — отвечала ему: «Это вдова убитого Бикея». Она действительно умерла от оспы, летом 1832 года, менее года после убиения мужа, на 22-м году от рождения своего.

МАИНА

Киргизский султан Каип был некогда призван на ханство хивинское. Почет большой, честь велика, отказываться, казалось, не должно; да и для чего? Чем жить в степи пастухом, жить в подвижной палатке зиму и лето, в ведро и в ненастье, неужели не лучше сесть на ковер в палатах хивинского арка, дворца, хоть он и земляной или глиняный, и сидеть спокойно дома, повелсвая безотчетно и безответно.

Каип пошел на ханство и стал самовластным ханом; все прихоти его исполнялись раболепно, и не было приказа ханского, над которым бы Мяхтер, Куш-беги, не только ясаулы его, на миг призадумались. Но когда, через полтора года по вступлении султана Каипа на ханство, стрелок — земляк хана, принес ему тарту, гостинец, убитого лебедя, тогда хан погладил себя широкою холодною лапою птицы этой по лицу, покачал головою и сказал: «Эта лапа купалась свободно в реках и озерах вольной родины моей, топтала мураву луговую и песок сыпучий!» Хивинцы из этого заключили, что чуть ли хан не хочет их покинуть, и стали его стеречь; но Каипа в тот же вечер одолела такая грусть и тоска, что он бежал в лохмотьях нищего; с опасностью жизни пробирался пустынями до аулов своего народа, едва не истомился голодом и жаждою, и плакал как дитя, когда прикочевал опять в родные степи свои, на простор, где ничто не замыкало перед ним окраины неба и земли, где услышал снова рычание верблюдов, мычание быков, бляепие несметных стад овец и ржанис, и конский топот.

«За что я буду жить хуже скота своего», — говорит кайсак, если вы его спросите, для чего он не терпит оседлости: — «зачем мне жить хуже скота, которому больше во-

ли, чем мне? Разве я отдам любимого коня своего урусу на конюшню, в стойло? Разве я хуже птицы, которая бьется в золотой клетке и просит воли? Кто прирос домом к земле, тот раб земли и раб людей; кто в полчаса может подняться, днем и ночью, со всеми пожитками своими, и идти на все четыре стороны, тот волен».

Оседлую жизнь кайсак почитает величайшим бедствием в мире, и одна только крайность может, и то временно, его к тому понудить. Если ныне стали много сеять хлеба на Илек и на Сыре, то это доказывает яснее всего, что орда беднеет: здесь хлеб сеет только пеший, бесконный и нищий; а наменявши опять сотню голов скота, бросает соху и идет кочевать. Когда какое-нибудь бедствие разорит кайсака, лишит всего скота и сделает нищим, тогда он идет на Усть-Урт в сайгачники или через Мугоджары к линии нашей в сурочники, и перебивается иногда много лет, покуда заработает себе небольшое стадо; только ближние к линии приучаются наниматься к нам в работники; старики и ребятишки охотнее идут в город за подаванием и поют под окнами:

Руби дрова без топор,
Вари крупа без котел;
Хлебай каша без ложка,
Давай деньга немножка...

И прибавляют обыкновенно еще к этому плачевное и не совсем уместное для мусульманина: Христа ради!

Сайгачники ловят с неумолимым старанием сайг и меняют мясо их, семь, восемь, десять тушек на барана, таким образом снова обзаводятся стадом и прикочевывают опять к своим аулам. Сурочники питаются сами воющим мясом сурка, а шкуры его меняют землякам своим или продают на линию. «Коли платить мне подать», — говорит кайсак: — «так возьми с меня сороковину скотом, и я волен; я заплачу под Троицком и пойду к Бухаре; заплачу в Ташкент и прикочую к Семипалатинску; отдам, что следует, в Хиве, а на мену пойду в Сарайчик». Деньги для степного дикаря цены не имеют никакой; скот — его богатство, за скот свой он приобретает все, что ему нужно. Когда продали однажды в степи казенных верблюдов с молотка, то в торговом листе, вместо известных двух граф: рубли и копейки, были выставлены козы и овцы: козлы и бараны. «Кто знается с деньгами», говорят киргизы, «кто взял в руки деньги, тот куплен и закабален, тот себя продал».

Я сказал уже, что **кайсаки** начинают сильно занимать-

ся хлебопашеством на Илеке, на Сыре и в других местах. Этому две причины: обедневшие через взаимные баранты или набеги, от губельной зимы с мокрыми буранами, жестокой стужи, от гололедницы и бескормицы, не находят другого убежища; но, во-вторых, кайсакам нашим становится уже тесно. Кайсаков оренбургского ведомства, Малой и половины Средней орды, должно быть, по всем сведениям, более миллиона душ обоего пола; я бы сказал: взгляните на карту, если бы у нас была годная карта этих стран, и вы бы уверились, что за выключкой безводных сухоглинистых пространств, — в конях и самые копани дают только горькую воду, — безводных песков, сухих и мокрых солончаков, останется удобной для скотоводства — не говорю уже для хлебопашества — земли не в избытке. Корм такого рода, как наша луговая трава, наше сено, бывает почти только у северных пределов степи, где, по-видимому, почва уже не так молода и успела покрыться небольшим слоем тука; далее видите один только жалкий ковыль, а еще южнее солянки и собственно, так называемое, степное прозябение, то есть не траву, а бурьян, полукусты, большею частью двухгодичные, — корм, над которым наша избалованная лошадь и скотина издохнет прежде, чем поймет, что этим хворостом можно питаться.

Повесть наша происходила в Малой орде, кочующей по южному и западному пространству степи, хотя пределы эти обозначить довольно трудно. Орда эта самая многочисленная. В ней считается три рода (уру) или поколения: Байуиллы, (или Бай-углы — богатый сын), Алимолла и так называемые Семиродцы; роды эти делятся на отделения (таифэ), дробятся на подотделения (джак), конх наберется в одной Малой Орде едва ли не до трех сот. Названия их иногда взяты от собственных имен каких-нибудь родоначальников, как напр.: Назар, Гассан, Куломан, Караман, Каип, Тукумбет, иногда от разных предметов или понятий, как: Пеглюан — силач, Карасакал — черная борода, Сарыбаш — желтая голова, Алтыбаш — шесть голов, Кара-балык — черная рыба, Каз — гусь, Балта — топор, Акча — деньги, Крк-мултук — 40 ружей, Тюряляр — господа, дворяне, Аталыв — наместник, Тугуз — девять, Исян-Кильды — добро пожаловать, и пр. Есть племена: бусурман и кумыс. Иногда же названия эти взяты от страны или народа, что довольно странно, если не допустить, что кайсаки образовались от смешения разных племен и народов; вы найдете поколение: Кыргыз, Урус (Русский), Иштяк (Остяк, так, впрочем, азиатцы называют башкиров), Турк-

мен, Чаудур (это же название носит обширное туркменское поколение). Черкес, Мугал (Монгол), и наконец: Кипчак, Тибет, Китай, Туркестан, Алач-хан, по словам кайсаков, общий предок их, и это же общий уран или военный клич. Кричат они иногда при нападениях также ура, с полугласным, едва внятным «а» на конце; это слово татарское, повелительное наклонение глагола урмак — бить: бей. Очень замечательно, что некоторые поколения отличаются не только особым произношением, но и образованием лица.

Если вы спросите кайсака, не холодно ли зимой в войлочной кибитке, он ответит вам: «Спросите гуся, не зябнут ли у него ноги?» Заговорите с ним об удобствах оседлой жизни, и он вам скажет: «Тутовому дереву хорошо расти в ханском саду, да я не дам закопать себя живьем в пояс, хоть бы и знал, что ноги у меня корни пустят, а руки сучья. Богатому всюду хорошо, а бедному везде худо; беда бедного та, что, покуда жирный исхудает, худого черт возьмет». Скажите ему, что грешно жить тунеядцем, что надобно работать — он вам ответит: «Нужда придет, работа не уйдет: на голодного коня травы в поле много, на долгую твою работу дней у бога много».

Удивительно, до какой степени расходятся понятия дикарей, не выдавших никогда нашего образа жизни, с нашими понятиями. Степной кайсак хотел подарить чем-нибудь оренбургского гостя своего и предложил ему кибитку. Этот отказался, сказав, что он живет в городе, в доме. «И на лето не ставишь кибитки?» — «Нет, не ставлю». — «А из дому в дом перебираешься иногда?» — «Случается». — «Ну, так возьми верблюда у меня, чтоб было на чем перетаскиваться». Один дикарь, завезенный в первый раз отроду случайно в Орск, хотел, забывшись, выглянуть из окна во время разговора, прободал стекло и разрезал себе лицо. Испуг его превосходил всякое описание. Когда один зажиточный армянин в Бухаре вздумал вставить в дверь свою, в караван-сарай, вывезенное из России небольшое стекольчатое окно, то не мог его никоим образом уберечь и защитить от разных проб и испытаний любопытной толпы, теснившейя неперестанно у дверей, и окно было несколько раз выбито, от глупости и любопытства; армянин сделал опять глухую дверь. Киргизки обступили заезжего в глубокую степь русского путника и, ощупывая его со всех сторон, спросили с хохотом: для чего на нем такой чапан, который спереди не сходится, колен не закрывает, сзади хвостом и не дает свободно поднять руки? Он отвечал: чтоб меньше сукна пошло. Ба-

бы захохотали во все горло: «Дураки вы, дураки! кибитки, которые надобно разбивать только на сутки, строите каменные, будто в них век вековать; а платье, в котором надобно ходить бессменно каждый день, шьете узенькое!» Один башкир, наглядевшись уже более на быт наш, выразился осторожнее и только условно: «Либо русский человек больно умен, либо больно дурак; у нас одна лошадь тащит четырех баб, у них четыре лошади тащат одну бабу!»

Итак, вот народ, из частной жизни коего я хочу рассказать истинное и свежее происшествие. Народ этот, при всей грубости своего невежества и черствости души или сердца, по нашему образу чувств и мыслей, не лишен природою ни того, ни другого — ни чувств, ни мыслей. Послы, или выборные этого народа, сказали еще очень недавно, по случаю вражды двух смежных с ними и грозных для него государств, — послы эти сказали: «Мы рады покориться и сами ищем защиты; но дайте нам отца, который бы не только сек шаловливое дитя свое, а укрывал бы его также от обид и насилий; нам с двух сторон грозят плетью, и мать и мачеха держат розгу наготове — а сосца не подаст ни одна, его мы не видим!»

В словах этих есть и мысль и чувство, есть более мысли и чувства, чем вы найдете во всей оседлой Средней Азии. Там одно ханжество, изуверство, скрытность, закоснелое невежество и хитрость; здесь природа еще всему господин, и только одна нужда и обстоятельства обращают иногда человека в скота.

Чумекейцы, принадлежащие к роду Алимолла и состоящие из 40 с лишком подотделений, кочуют по р. Кувану, Сыру, доходят летом на севере до Ирғиза и далее, держась вообще караванных путей, потому что они завладели главнейшею частью извозного промысла между оренбургской линией, Хивой и Бухарой, и весь быт их, с давних времен, согласуется с этим родом жизни. Часть их зимует на реке Зеравшан, под Бухарой, а летует под Троицком, переходя ежегодно два раза пространство в 1500 верст. У них немного больших кибиток, а кочуют они в юлламах, дорожных маленьких и легоньких кибитках, легко укладываемых на одного верблюда; поднимаются легко и скоро, идут ходко и, получая плату за извоз серебром и золотом, знают цену его, но доселе не приняли от нас еще никаких предметов роскоши, за исключением назбой, что означает поперсидски: носовая пища, и что линейцами очень удачно переделано в носовой и означает нюхательный табак.

Чумекейцы, поколения Наурузбай, во время летней кочевки между Илека и Темира, сошлись с баюлинцами, с поколением Канык, отделения Байбакты. Историк или сказочник Абул-газы Багадур-хан пишет, что прозвание Канык дано было во времена Чингиса или Тамерлана — не помню — первым изобрателем телег; телеги эти изобретены были воинами для укладки награбленного имущества; скрип их уподоблялся звуку: канык; изобретателям дано это звукоподражательное прозвание, и от их поколения произошел какой-то народ канык. Если наши баюлинцы потомки этого знаменитого механика, что весьма вероятно, потому что мы другого народа канык не знаем, то родословное древо этих изобретателей телег длиннее дышла и оглобли, и род их не уступит в древности ни одному роду немецких баранов.

Чумекейцы тянулись вверх по Илеку, на мену; баюлинцы вниз по Темиру, с мены. При этой ежегодной встрече, те и другие навещали приятелей своих, разменивались по фестивалям и прощались опять на год.

Тут отцы условливались с отцами о взаимной участи детей своих, выплачивали один другому мимоходом по договору часть калыма, или по-русски: кладки, которая еще и доньше употребительна в некоторых местах России и уплачивается отцом жениха и родителями невесты. Тут молодые виделись несколько лет сряду, прежде чем наконец калым был уплачен сполна и свадьба сыграна. Кайсаки неохотно берут невест из своих аулов, шеголяют тем, что засватали девку в другом и отдаленном поколении, и никогда не женятся вскоре после помолвки, тем более, что нередко сговаривают девок еще детьми.

Между баюлинцами были старик Сакалбай и у него четыре сына — Полковник, Майор, Капитан и Поручик. Я называю всех их по именам — это не чины, а имена их — только по странности имен сих, которые даны были в честь русских чинов. Рассказа нашего касается один только Майор. Отец его, Сакалбай велел седлать коня, когда весть о прикочевании чумекейцев дошла на Темир; младшая жена его подвела ему коня, посадила его под мышку на седло, и он с двумя или тремя товарищами и с Майором отправился к чумекейцам, к давнишнему приятелю своему Кара-Сакал-батырю. День был теплый, но вершины наши нахлобучили корсучьи малахан (тумак), под алым и синим сукном с галунами по швам; надели сверх халата по суконному чапану и второчили в запас по яргаку из жеребьячьих шкур; лошади пошли с места ходко.

Сакалбай ехал впереди, оборотившись, как магнитная стрелка, на урочище, где стояли аулы чумекейцев, повесил нос, покачивая слегка головою по ходу коня; и спустив длинный рукав чапана во все кнутовище нагайки своей, постегивал задумавшись плетью набивные тебеньки седла. Лошадь не считала этого угрозой, не боялась по-видимому плети, а выступала ходко, полушагом и полуиноходью, удерживая постоянно данное ей сначала направление.

Майор ехал молча подле отца и дяди, подогнувши одну лопасть малахая в тулью, между тем как другая болталась и трепала его по щеке; почерневшая от летнего загара грудь была обнажена клином, почти до самого пояса; правая рука болталась отвесно как привешенная к плечу, а сам он то поглядывал на вычеканенное серебром правое стремя свое, то глядел прямо вперед себя, — и вдруг соскочил, покинул лошадь, которая остановилась в ту же минуту и стала щипать траву, побежал в сторону и ударил несколько раз каблуком в землю.

«Что там такое?» — спросил Сакалбай.

— Зилан, змея, — отвечал Майор, подошедши к лошади, которая стояла на одном месте как вкопанная, и сел, подвернув под себя на лету рукою полы чапана.

«Никогда не топчи ее ногами», — сказал отец: «и ничем больше не бей ее, как плетью. Ты знаешь, змея боится лошадиного поту, и ничем не убьешь ее лучше, чем нагайкой. Ты слышал быть, что в старинные годы батыр башкирский, Клянча, убил не такую гадину, а огромного крылатого змея? Он победил его, напоявши саблю свою лошадиным потом».

Дядя, который уже несколько раз поглядывал путем на Майора, как будто бы хотел с ним заговорить, и сидел на коротких стременах бочком, подавшись всею левою половиной тела вперед вслед за протянутою к поводу левою рукою, — дядя приподнял значительно угловатые брови и сказал с чуть заметною улыбкой: «На этой поездке, брат, тебе бы найти шамрана, царя змей, так это было бы кстати».

Сакалбай испустил какой-то одобрительный возглас, и морщины от широких, выдавшихся скул собрались, сбегаясь в две связки по обе стороны рта его — что также означало улыбку, — а сын, Майор, спросил, догнав рысью опередивших его попутчиков: «Царя змей? а мне на что его?»

— Шамран, — сказал дядя значительно, поглядывая исподлобья на племянника: — шамран — небольшая белая змея, не длиннее плети твоей, с рожком на голове. Если

встретишь ее, так расстели перед нею новый платок и прочитай молитву: она переползет через платок и скинет рожок свой, а ты возьми его бережно и спрячь. Где он лежит, всегда будет золото и серебро, и богат будешь на весь век свой; а на скотину падежа никогда не будет; хоть какая ни будь гибельная зима, твои овцы всегда целы. А теперь же подходит для тебя такое время, что скоро нужно богатство, скоро пора зажить тебе своим домом: гляди, проведи-ка рукой, у тебя к завтраму уже и борода будет.

«Недаром же у него отец Сакалбай», — сказал замысловато сам старик отец, то есть: богатобородый, и достав рожок свой из калты, покинул поводья, насыпал табаку на ладонь и, подкрепившись добрыми тремя напойками, продолжал, оборотясь к сыну: «Дядя твой умный человек, говорит правду; вот к полудню приедем, даст бог, к чумекейцам, к доброму приятелю моему Карасакалу; так оглянись помаленьку, покуда мы с дядей потолкуем со стариком! мы поехали сватать, за тебя дочь его Майну».

— На что же вы меня повезли с собою? — сказал Майор робко, удерживая коня своего: — что же я там стану делать?.. Мне там стыдно будет!

«Ничего, пустяки», — утешал его дядя, стегнув через руку плетью коня племянника, чтобы догнать его: — «ты как будто и не знаешь ничего; тебе какая нужда? и ты приехал с отцом и дядей в гости, да и только».

Но Майор уверял, что ему стыдно будет, что он не может ехать сам на сватовство свое, и не шутя остановился.

Отец хотел было сердиться, но дядя упросил его ехать спокойно вперед, а сам, с другим товарищем своим, пустили Майора вперед себя и усердно погоняли сзади лошадь его. Таким образом, поезд подвигался вперед. Но когда через несколько времени аулы чумекейцев открылись издали по степному увалу. Илека, и Сакалбай сказал: «Вот и приехали» — то Майору до того стало стыдно, что он, закричал вдруг: «Нет, не поеду, ни за что не поеду!» стегнул коня плетью, пригнулся на луку и пустился, вырвавшись из под конвоя, во весь дух домой. Отец горланил ему вслед, дядя с товарищем пустились было в погоню, но Майор ускакал, и те воротились со смехом и досадой, бранили его и бранили отца, зачем он сказал сыну, чего совсем не следовало говорить, и этим только пристыдил его.

Бегство жениха не помешало отцу и дяде кончить дело. Когда гости подъехали к кибитке Карасакал-батыря молодые парни, тут бывшие, увидели, что старики, хорошо одетые, приехали в гости, подскочив неуклюжим, размаши-

тым бегом, подхватили их под руки как у нас барынь высаживают из кареты, приняли коней и, подтянув им головы под шею, намотали повод на переднюю луку седла, чтобы лошади выстоялись и не смели бы есть траву.

Карасакал-батыр принял гостей своих, поздоровавшись с ними рука в руку и в два приема к сердцу, как будто примеривал что-нибудь на аршин, посадил их в глубь кибитки, противу дверей; между тем хозяйка ударила уже веслообразною, с резной и расписной рукоятью, мутовкой в сабу, кожаный мех, наполненный кумысом, и налила три огромные миски; потом пошла беседа. Чумекеев рассказывал, что зима на реке Куване была благодатная, скот жив и здоров; что в Бухаре дают по полтора батмана проса за барана; что кипчаки два раза ходили на чиклинцев и угнали много скота; что правитель Ташкента требует пошлину с камышевого моста и с парома, которые устроены однородцами Карасакала, чумекейцами, через реку Сыр. Сакалбай жаловался на мокрые бураны, вьюги, которые были на весну по нижнеуральской линии, от Сахарной до Мергенева; этим бураном набивает мокрый снег в руно овец, и если после вдруг ударит мороз, то овцы гибнут; хвалился, что прошлую осень они при линии набили множество корсука, степной лисы, который валил валом, кочевал тысячами на север и зарывался только на день в небольшие корочки, забиваясь туда по два и по три¹;

¹ Эта перекочевка зверя в иные годы дело очень замечательное, и на него, кажется, мало обращали внимания; я не говорю здесь о тяге и перелете птицы по временам года, о переходе сибирского оленя, степной сайги и кулана (дикой лошади), также по временам года, постоянно с одного места на другое; но разные животные в иные годы, без всякой видимой причины, являются вдруг в огромном количестве и тянутся постоянно по принятому направлению дни, недели и месяцы сряду. Таким образом в 1826 году шли раки из Ильменя в Ладожское озеро р. Волховом, день и ночь валили они несметным множеством, на ночь выходили даже на берег, так что солдаты набирали их четвертями, и начальство боялось вредных последствий, болезней, от этого множества раков, и запрещало их ловить; так в 1820 году белка, века шла огромными стаями с правого берега Волхова на левый, в Новгородской губернии: она столпилась на правом берегу в несметном множестве, ее били палками, ловили руками; потом оказалась на левом берегу, пошла дальше, а в прежних местах почти исчезла вовсе. Так в 1836-м или 37-м г. корсук осенью вдруг двинулся из южных пределов степи кайсацкой на север; киргизы преследовали его, били сотнями и тысячами, днем в норах, лесная стража, башкиры встретили его на линии, и били без пощады — он все-таки валил своим путем и потом вдруг скрылся, не подавшись далеко за линию. Был ли он уничтожен, или рассыпался и принял другое направление, не могу решить.

что бараны на менее вздоржжали, дают из годовалого по 8-ми пудов муки и по пяти папуш табаку, — и прочее. Наконец, под вечер, когда хозяин уже накормил гостей своих бараниной и отваром с небольшими в нем мучными лепешками, и напоил кумысом досыта, дядя принял слово за Майора, между тем как отец его сидел чинно, потупив глаза, вздыхая от времени до времени и поглаживая реденькую седую бородку. Надувшись и приняв важную осанку, дядя сказал пренапыщенное похвальное слово хозяину, Карасакалу, и брату своему Сакалбаю; превозносил дружбу их, зажиточность, добрую славу, заключил из этого, что и дети их должны быть им подобны и друг друга достойны; потом стал насчитывать калым, который брат намерен дать за невесту, стараясь по обычаю умножить разными уловками счет голов; в первый год, говорил он, брат даст десять овец ягненных и двух коз — 24 головы: там трех жеребых кобыл — тридцать, и так далее. Карасакал-батыр слушал очень спокойно, поддакивая от времени до времени головою, и наконец заметил, что на третий, последний год, следовало бы отдать верблюда, и просил кроме того не требовать с него, как с походного чумежейца, большой кибитки для молодых, а обещал вместо этого подарить бухарский ковер. Толковали долго, наконец ударили по рукам и запили кумысом. Карасакал созвал всех своих — аул его состоял из шести родственных кибиток — и объявил им дело; потом уже позвал в общее присутствие дочь Майну.

Майне было всего годов 14; мать велела ей уже одеться, и она вошла в бархатном алом чапане с галунами, в конической шапочке, опушенной котиком, обнизанной и обвешанной бусами и стеклярусом, с коей висели по обе стороны длинные и широкие поднизи. Волоса, заплетенные в одну косу, и на первый взгляд почти одна шапочка эта только и отличала ее от мужчин, на коих были под исподом такие же халаты, сверху суконные чапаны того же покроя, остроконечные неуклюжие сапоги и голая шея. Но Майна подпоясана была по халату поясом, а чапан накинута сверху, тогда как мужчины опоясываются кожаным ремнем с карманом и другим прибором сверх чапана; кроме того, халат на Майне застегнут был на груди серебряной пряжкой.

«Баш-ур», — сказал ей отец, указывая на Сакалбая, — «кланяйся: вот твой будущий отец, он тебя берет за сына». Потом велел ей пойти к себе и наклониться, повесил ей

нагайку свою через затылок и читал наставления, как ей должно слушаться гостя и мужа.

Майна во все это время быстро глядела черными глазенками своими вокруг, останавливалась ими несколько раз с видом какого-то сомнения на дяде Майора, искала кругом — сняла и подала с поклоном отцу плеть его, вышла, шагая почти по головам родичей своих, которые, усевшись по такому торжественному случаю чинно в кибитке Карасакала, заняли ее собой всю; а вышедши из-под запона, прикрывавшего двери, кинулась проворно к девкам и бабам, ожидавшим ее тут, и пробормотала в один дух: «Который же это, который? неужели старик, сидевший рядом со сватом? а более никого не видно было в кибитке».

— Коли стар, так богат может быть, — отвечали подруги. — Пойдем, сядем в кибитку свою, да подыдем кошму сбоку, увидим его в решетку, когда будет уезжать.

Карасакал-батыр отпустил гостей своих только в следующее утро, но Майна с подругами тем не менее проводжала их, глазами из-за решетки соседней кибитки и указывала пальцем то на того, то на другого или третьего, полагая, что тот или этот должен быть ее женихом.

Когда Сакалбай с товарищами выезжал рано утром от чумекейцев, то в аулах их сделалась тревога: огромный степной пал, напольный огонь, шел при попутном ветре с юга, почти во всю ширину между Илека и Темира, верст на 60. Вершники скакали уже до зари осматривать это разливающееся огненное море, упущенное по неосторожности каким-нибудь пастухом или проходящею шайкой. Сотни кибиток сымались, навьючивались на верблюдов, и, вместе со скотом, отправлялись через речку. Баюлинцы наши думали, что успеют доехать до своих аулов, особенно если прибавят шагу, но ошиблись в расчете: пал настиг их на перепутьи. Несколько времени принимали они все правее к северу, надеясь объехать огонь, но наконец увидели, что он их таким образом загонит слишком далеко. Они остановились, сошли с лошадей, вырубил и раздули огня и зажгли от себя траву. Это называется у нас: пустить встречный пал. Трава выгорела тут вскоре на большое пространство, и на нем-то путники наши расположились преспокойно ожидать конца и развязки. Пламя катилось на них с юга клубом, взмывая по кустам и бурьяну иногда в рост человеческий и расстилаясь огненным ручьем по низкому, объединенному ковылю; дым стлался вперед, огонь подвигался за ним почти с тою же скоростью, как пеший хо-

док; чем ближе он подходил, тем слышнее был этот гул особого рода, который нельзя сравнить ни с каким иным шумом, разве только с отдаленным гулом взволнованного бурей моря. Огненный гребень или гряда эта, будучи в глубь не более сажени, простиралась в обе стороны уступами и зубцами, мысами и заливами, на необозримое протяжение. Когда она настигла путников наших, сидевших преспокойно на выжженном ими пространстве, спиной к набегавшему на них палу, то она раздвоилась вокруг пожарища, где гореть было нечему, и прошла далее, а Сакалбай с товарищами сели на коней и поехали опять своим путем.

«Года тому четыре», — сказал Сакалбай: — «когда я ходил вожаком с русскими на Тобол, так там ночью пал захватил кипчаков и аргинцев, и сгорело много скота и человек до 80-ти; кибиток погорело более сотни».

— Беда нам у линии сидеть, — сказал другой товарищ, — когда случится, что набегит пал. Это такое же горе, как и потравы сена и лугов, где разбирательствам нет конца, Тут думаешь, как бы самому чего не потерять, да чтобы скот уцелел, не охватило бы где гурт; а тут, глядишь, на следствие выезжают чиновники, да за душу тебя тянут. Слышал дядя, ага, — продолжал он: — прошлогоднее следствие, что приезжал косой да взял 8 баранов, да сказал: кончено все, — не кончено — ныне, говорят, опять будет он разбирать по горячим следам, кто пустил пал; а он уже с год, как простыл, и место давно травой поросло.

Приехав в аул свой, Сакалбай позвал тотчас сына Майора, и между тем, как байбича, старшая жена его, Сакалбая, наливала в миску взболтанный и взбитый кумыс, а младшая отпускала лошади его подпруги и протираала ей глаза, старик, будучи в хорошем расположении духа, собрался трунить над сыном: сердце его уже прошло. И он начал так:

«Собака, чего лаешь? волков пугаю. Собака, чего хвост поджала? волков боюсь. Таков и ты, сын мой; за девками гоняешься, а их же боишься; тебе бы жениться, да невесты не видать. Сором, стыд! глядите на парня, ведь он ребенок; что он смыслит? Он и сам еще красная девица; он не знает еще — жениться ли ему, замуж ли ему выходить, раздумье берет молодца, оттого и стыдится. А зачем же ты, полоумный, век с девками сидишь, коли у тебя и на это ума не стало, коли ты не знаешь еще, человек ли

ты, или сам девка? А еще Майор! За что же я на тебя такой почетный уряд положил, коли последний хорунжий больше тебя смыслит?»

Майор сидел на корточках перед отцом, и между тем как все, кто был тут, хохотали, он закрывался тумаком своим, мохнатой шапкой, то с правой щеки, то с левой, смотря по тому, откуда на него заглядывали. Отец достал вдруг, не вставая с места, из-за пояса плеть, стегнул сына порядочно по плечам, и у Майора словно вдруг ноги выросли: вскочил и отпрянул, улыбаясь в сторону, почесывая выбритую, как ладонь, голову.

На другой день Сакалбай отправил с братом своим первый задаток калыма, девять тощих овец, и дядя Майора уверял Карасакала, что эти овцы все по два ягненка мечут, и что тут верным счетом 27 голов скота. На вечер отправили жениха в небольшом поезде для знакомства с невестой: Майору некуда было деваться: разделся в отцовский жалованный чапан, взял с собою в запас два выбойчатых платка, золотник алого шелку и какую-то полинявшую ленточку. Со смехом и шутками выпроводили его из аула, а дорогою сваты или дружки, как их назвать, старались подкрепить мужество Майора, который тяжело вздыхал, молчал и отирал пот с широкого лица своего, слушая поучения и наставления их, как действовать и как себя вести.

Жених прибыл к чумекейцам уже в сумерки; товарищи спровадили его толчками в кибитку Карасакала и говорили кой-что за него; он робко кланялся, прикладывая правую руку к сердцу и приняв руку старика в обе руки свои, не замечая, что вместе с малахаем своим стянул с головы и тубетейку и стоял лысый, от бровей до затылка. Один из товарищей вытащил из-под мышки жениха, из огромного малахая, тубетейку и насунул ее Майору, на одно ухо. Уселись, пили кумыс, ели баранину, а о невесте еще не было и речи. Наконец, старик объявил, что пора спать, простился с Майором, и этого отвели в маленькую кибитку, юллама, в которой должно было произойти первое свидание его с невестой. Тут Майор встретил в дверях почетную стражу невесты своей, нескольких старух, которые принялись колотить жениха со всех сторон, приговаривая: «А ты зачем сюда лезешь? тебе тут что нужно? нешто тут твое место?»

Робкий и стыдливый Майор в эту решительную минуту собрал с какою-то необыкновенною могутю все духовные и телесные силы свои, кинулся, очертя голову, как испступ-

ленный, в толпу баб, сбил их, как разъяренный козел, ударом головы своей с ног, и прорвался под запон кибитки, прежде чем те успели опомниться. Они подняли хохот и крик, грозили и требовали выкупа; Майор, оправившись немного, выкинул им из кибитки взятые им для этого безделицы; бабы еще с большим криком, шумом и смехом удалились, а он, Майор, стал осматриваться впотьмах.

Тундык, или по-русски: дымник, то есть верхняя полость кибитки, над обручем, в который упираются стрелы, был откинут: посреди кибитки чуть тлелся маленький огонек; а на цветной кошке сидела Майна, закрывая лицо правым локтем и отвернувшись несколько от той стороны, где стоял Майор. Сверху падал на нее белый свет луны и звезд, снизу разливался на алый бархат чапана ее красный свет огонька. На всех изломах и складках был двойной свет и двойная тень; огонек был так слаб, что не мог пересилить и лунного света.

Майора опять взяла робость; постояв немного, он и сам было накрыл глаза рукавом, но, догадавшись, что это слишком глупо, решился наконец поздороваться с невестой, но до того забылся, что, вместо обычного приветствия женщинам, сказал ей подобострастно: селям-aleyкум, пожеланне, которое говорится исключительно единоверцам-мужчинам. Майна захохотала и отвечала, не отнимая руки от лица, скороговоркой: «Я тебе не брат и не дядя, или, может статься, ты ошибся и не туда зашел?»

Через полчаса, когда Майор наш уже оправился от всех недоумений и робости своей и сидел на кошке рядом с невестой и рука в руку с нею, бабы пришли стучать кулаками в кибитку и вызывать невесту домой. Она вскочила и побежала без оглядки; бабы приняли ее со смехом и шутками своего рода, а Майор, оставшись один, прокашлялся, потер гладкий подбородок свой, вышел взглянуть на погоду, увидел, что собираются тучи, накрыл дымник и лег спать.

Во сне видел он великолепную скачку, нескончаемую толпу народа, крик, шум, огромные миски крошеной баранины — словом, надобно полагать, что Майор во сне уже праздновал свадьбу свою; но он мгновенно проснулся от страшного топота конского; ему казалось, что тысячи всадников неслись прямо через него. Проснувшись, Майор простонал: аллах-керим, — но долго не мог опомниться; стук, гром, крик и шум всякого рода окружали его. Тут было вот что: нашли тучи, сделалась ночью страшная гроза. Кайсаки объясняют явление это так: шайтаны, черти, гро-

моздятся друг на друга елкой, пирамидой, чтобы вылезть из преисподней на небо. Аллах поражает их стрелой, и они с шумом и треском рассыпаются. Вот вам сказка о Титанахе. Разбежавшись, они ищут спасения, прячутся за первый встречный предмет, охотнее всего за человека, которого Аллах в милости своей, обыкновенно щадит: но, разгневавшись, он посылает стрелы на шайтанов порознь, и тут нередко шайтану удается отвести от себя стрелу на человека. Для этого-то кайсаки подымают во время грозы страшный шум и стук, бьют в тазы, котлы, чашки, миски, пугают и гоняют всеми средствами шайтана. Так персияне, приписывающие ужаление скорпиона также проискам шайтана, выгоняют его из военных станов, таборов и становищ своих молитвой и хлопаньем в ладоши. Во время походов персидского войска стан их каждый вечер оглашается дружными плесками в ладоши целого победоносного воинства.

Этот-то шум и стук, заглушаемый от времени до времени раскатами грома, поднял на ноги нашего Майора. Опомнившись и почесав затылок, он сел, подвернув ноги и, улыбаясь самодовольно, протвердил на память, то мысленно, то вполголоса и с легкими телодвижениями, все, что происходило вчерашнего вечера, и поглядел искоса подле себя на то место, где сидела Майна. Гроза миновалась, и товарищи Майора пришли к нему еще до свету с уведомлением, что жениху пора ехать домой, иначе придется сидеть в кибитке еще сутки; днем выезжать и показываться в люди нейдет ему, надо убраться затемно.

Вскоре чумекейцы подвинулись далее вперед, баюлинцы потянулись на юг и к нижней линии нашей; жених с невестой простились по крайней мере на год, потому что обратный путь чумекейцев, по другую сторону Илека, пролегал слишком далеко от кочевья баюлинцев.

Баюлинцы, которые, как и все племена кайсаков, кочуют в известное время года по известным пространствам, очищая место другим и приближаясь осенью к зимовью своему, подошли спокойно, идучи все вверх по Уилу, к нижней линии. Сакалбай послал двух сыновей своих, Майора и Капитана, в Сахарную, с гуртом овец на мену. Казаки, которые говорят здесь все так же бойко по-киргизски, как и Майор наш с Капитаном, обступили кунаков своих, гостей или приятелей, забрасывали их целым потоком речей со множеством прибауток, стараясь уторговать овец подешевле; кайсаки наши боялись продешевить, кричали взапуски и отстаивали товар свой. Казаки хватали бара-

нов за курдюки и тасили их к себе; киргизы перетаскивали их за рога опять на свою сторону; безответные бараны ревели, и бляение их заглушалось криком обоюдного договаривающихся приятелей. Капитан между прочим вздумал похвалиться казакам, что брат его, Майор, жених; Майор прибодрился при этом и вытянулся, полагая вероятно, что уральцы, ради поздравления, уважат ему, прибавят цены. Но уральцы повернули делом и уверили Майора, что ему не годится же теперь, как жениху, ездить на такой кляченке, предложили выменять у казака, по дружбе, тотчас же доброго коня, отдав своего и еще пять баранов на придачу. Не ожидая ответа, казаки стали разглядывать, водить, щупать лошадь Майора, стараясь захаять ее и сбить ей цену.

«Конь добрый», — сказал один, — «что и говорить, у иного, чай, плеть живет дороже. Снимай, брат, шкуру, да продавай». — А который ей год? — спросил другой. «Первый после прошлого», — отвечал тот, — «первая голова на плечах и шкура неворочена».

«Гоу! врете вы», — отозвался Майор, — «конь с песков, на Тай-суйгане вырос, скоро зубы съедает; это дело ведомое: что хватит травы, то и песку в рот».

— Знаю, знаю, как не знать, — принял опять тот. — Я вижу, что съел; он и глядит, словно не солоно хлебал. У кого бабушки во дворе нет, годится, держать можно.

Словом, не дали Майору опомниться, как переседлали, посадили его на казачьего коня, назвали молодцом и стали рассчитывать. Но Майор с Капитаном объявили казакам, что отец велел им привозить весь запас хлеба, сколько выменяют; сполна, и потому не решались отдать баранов за лошадь. У казаков и за этим не стало дело; они уладили все: они лошадь в долг не дали; зачли за нее, что следовало, а отпустили кайсакам на кутарму, в долг, сколько тем нужно было, муки, с тем разумеется, чтобы только к весне поставить за нее овец с процентами, каждую с ягненком. Майору с Капитаном сделка показалась очень выгодною, и они, простившись дружески с уральцами, отправились домой.

Неустойки казаки не боялись: здесь осю пору, без векселей и расписок, долги платятся гораздо исправнее, чем там, где они пишутся на гербовой бумаге. Знаете ли, как безграмотный уральский казак страшит и грозит должнику своему, если этот не уплачивает ему в срок долга? Он приходит к нему на дом с биркой, на которой нарезан долг, рублями и десятками, то есть зарубками и крестика-

ми, и пришедши с биркой и с ножом, говорит должнику: «Эй, брат, отдай чужое — эй отдай: гляди, срежу, право, срежу!» И этого слова, этого бесчестия уральский торговый казак бонится: срезать долг с бирки, значит, уничтожить его, не считать его и долгом, потому что нет надежды его получить. Это было бы то же, или еще хуже того, как если бы кто-нибудь вздумал вынести на биржу вексель первостатейного купца и разорвать его при сотне свидетелей.

Итак, Майор привез в аул свой хлеб сполна и приехал еще на знатной лошади — и был доволен; но не так думал старик Сакалбай, потому что Майор привез с собою и долг. Старик рассердился, прогнал Майора, и только на третий день взглянул украдкой на новую лошадь его. «И ты не видишь», — сказал он, — «что это выкормок хлебный и больше ничего? Казаки говорят, что наша степная лошадь — травяной мешок; а это что? От овса, правда, рубашка под телом закладывается, лошадь не толста, да плотно живет; а это выкормок, только на то и ходили за ним, чтобы обмануть такого дурака, как ты. За это вот тебе: я на весну не выплачу Карасакал-батыру ничего калыму, пусть еще год пройдет, а ты дожидайся; авось, поумнеешь. Теперь еще больно глуп». Стыдно стало Майору и досадно, да нечего делать; отошел молча и понурил голову.

Таким образом, тот же казак, который верил киргизу на слово в баранах до весны, который счел бы величайшим для себя бесчестием, если бы товарищ к нему пришел с биркой и сказал бы: срежу, — тот же казак ни на минуту не призадумается обмануть кого бы то ни было, продав негодную клячу за доброго коня. «Разве у него глаз нету? — спросил бы он, вытаращив сам на тебя глаза: — нешто он затылком глядел?» И так же точно кайсак с своей стороны пригонит и передаст счетом долговым овец своих, как сделал в свое время и Сакалбай наш, но если будет случай — придет и украдет их опять и угонит. «Разве я ему пастух? — скажет он: — для чего он не смотрит за добром своим?»

Между тем как все это делалось на юго-западе, у баюлинцев с уральцами, на северо-востоке, против Орска, куда прикочевали на мену чумекейцы наши, происходило другое. И баюлинцы жаловались уже, как мы слышали, на следствия по степным палам и потравам, — а чумекейцы встретили, не ожидая того, невдалеке от линии также следователя. Дело было запутанное и завязалось по доносу таможенного чиновника, по доносу о беспошлинном, тайном провозе некоторыми караванбашами разных товаров, и по

жалобе бухарских купцов на какие-то притеснения по расчетам с возчиками. Все это было спутано вместе, и переписка шла по трем, четырем ведомствам, неутомимая. Искали тут какого-то общего, огромного злоупотребления, и чиновник был прислан издалека произвести строжайшее следствие.

Великий муж этот, со своими понятиями о деле, дело-производстве и следствии, выехал в сопровождении помощников и небольшого отряда с девятью стопами бумаги навстречу чумекейцам. Он собирался, как видите, пустить в свет девять томов, столпов, или стоп, как сам он их называл. Чумекейцы, не чуя никакого горя, врезались прямо навстречу нашему бессребреннику; разбирательство началось огромное, по множеству прикосновенных свидетелей и вовсе посторонних, которые однако же все, для полноты дела, должны быть опрошены. Кайсаков водили в ставку следователя ежедневно десятками; между тем было задержано под караулом еще очень немного: кто только полагал, что дело его может коснуться, убирался заблаговременно в чистое поле, а Алексею Федоровичу приходилось поневоле оставлять в деле много пробелов. Аулы чумекейцев раздумали идти на мену, начали все понемногу отступать, под предлогом недостатка корма для скота. Алексей Федорович подвигался с ними, не допуская никаких насильственных мер для удержания их: он был враг всяких притеснений; чумекейцы отправляли каждую ночь табуны и стада свои, баб и детей, все далее назад, и дело кончилась тем, что, не исписав еще и третьей стопы, Алексей Федорович, в одно прекрасное осеннее утро, увидел себя с небольшим отрядцем своим, на месте ночлега, одного; на всем видимом пространстве не было ни одной кибитки, ни скотины, ни человека — и он, надивившись досыта, возвратился благополучно на линию, с трофеями своими, с двумя задержанными уже прежде, по прикосновенности их, кайсаками. Товарищи покинули их, а сами убрались на простор, шли, сколько сил было, все дальше в степь, нагоняя друг друга, как могли и успевали. Такое бегство иногда совершается в порядке, если успевают забирать с собою все имущество, не быв настагаемым неприятелем; но иногда киргизы бегут, при нечаянном нападении на них, в таком страхе и с такою поспешностью, что не только покидают кибитки свои, рогатый скот, баранов, угоняя одних лошадей и верблюдов, но бросают даже старух и хворых стариков, грудных детей, врываю́т в землю по

уши чугунные котлы свои, налив их молоком или кумысом.

Когда только часть чумекейцев успела перейти вершины Илека, направляясь через пески Барсука к Сарычагану и Сыру, они на поспешном бегстве растянулись растерялись, и какая-то шайка семиродцев, из числа таминцев, ходившая по своим счетам на баранту к аллимолинцам и именно к тляу-кабакам, на вершины Эмбы, наткнулась случайно на табуны чумекейцев. Такой удобный случай упустить было грешно, и шайка захватила, что могла. Тут были также лошади Карасакал-батыря: он оставил аулы свои, выждал задних, набрал с сотню удальцов, пошел в погоню за шайкой, но не нагнал ее, а, нашедши по реке Уилу другие аулы, разгромил семиродцев, которые может быть и не знали о походе и удачном поиске земляков своих, чумекейцы наши в свою очередь удовлетворили себя тем, что могли захватить тут, и поспешно ушли вслед за аулами своими, угоняя добычу; миновав же благополучно Барсуки, Каракум, а наконец и самую реку Сыр, они расположились там на зимовье.

Вот похождения чумекейцев в эту осень, от коих зависела, по-видимому, судьба наших молодых, нашего приятеля Майора и 14-летней Майны. Эта часть чумекейцев, поколение Наурузбай, к коему принадлежали аулы Карасакал-батыря, опасаясь поисков с линии по неоконченному следствию Алексея Федоровича, поссорившись с семиродцами, которые занимают большую часть западной степи, и опасаясь мести их, не смела показываться в их соседстве, не только при линии, и потому рассудила остаться на несколько лет за рекою Сыром, кочуя в камышах, лугах и топях между этою рекою и другим рукавом ее, Куваном. Угроза Сакалбая — не выплатить на другую весну калыма за Майора и заставить его обождать с год, в надежде, что авось-де он поумнеет, не только исполнилась сама собою, потому что баюлинцы не имели никаких сношений с отдаленными наурузбайцами, но прошло целых три года, в продолжение коих не более трех раз была какая-нибудь весть через хабарчиев, вестовщиков, приезжавших случайно с караванных путей, весть от Карасакал-батыря, что он-де жив и здоров, и поставил под караван столько-то верблюдов, — а об Майне ни слова. Майор ожидал спокойно, чем судьба его решится, когда придет пора его, и скоро ли он поумнеет, и затягивал иногда высоким строем и тоскливым напевом песенку в память Майны; и сам Са-

калбай поджидал с весны на осень, с осени на весну, не кончат ли дел своих наурузбайцы, и не пойдут ли они к линии обычным своим путем. Но три года прошли, а их не видать. Надобно бы думать, что они жили там спокойно, что их никто не трогал и не обижал, коли они там оставались, — но это было не совсем так; на Сыре и Куване хивинцы приняли чумекейцев в ежовые рукавицы свои — брали все, что хотели, били их, даже убили несколько человек, — не производя никаких следствий и не сажая никого под караул, а и того менее в острог, а рассчитывались всегда на месте, и чумекейцы оставались спокойно на своих кочевках. Сборщики податей приезжали, требовали сороковину, выбирали в счет закята, подати, лучший скот, брали еще что им нравилось, бесчинствовали; наурузбайцы иногда, вышед из терпения, сопротивлялись — тогда хивинцы принимались за расправу, били и резали около себя, кого могли первого захватить, — остальные все винулись, отдавали, что хотели взять с них, и тем дело было кончено. После расправы бежать поздно, да и не для чего.

В Хиве и Бухаре одно только торгующее сословие знает грамоте; чиновные и должностные пренебрегают всяким ученьем, и уверяют, что им некогда заниматься пустяками: они только умеют воевать и управлять. В пример, как они умеют воевать, они рассказывают вам сохранившиеся еще по преданию сказки о Чингисе и Тимуре, и все это принимают лично на себя, будто они сами сделали все это вчера или сегодня. Но это в сторону: я хотел только сказать, что купцы азиатские все почти знают грамоте, и главное — уметь писать; все красноречие письменного слога состоит у них в необъятной напыщенности, громком и важном пустословии, которому позавидовали бы французские классики прошлого столетия. Карасакал-батыр не надеялся сойтись когда-нибудь с баюлинцами; сношения с сватом были прерваны, по-видимому, навсегда или надолго; дочь подросла, два, три жениха напрашивались — что ее держать? лучше взять калым да отдать с рук. Карасакал действительно просватал Майну за дюрт-каринца, нынешнего соседа своего, получил уже часть калыма и, воспользовавшись дневкой проходившего каравана, пригласил к себе грамотея, напоил его кумысом, накормил салмой и заставил написать письмо к Сакалбаю, старому приятелю, с которым ссориться не хотел, — о нынешних своих обстоятельствах. Кончив письмо, грамотей стал читать его вслух:

«Точка воззвания излагает недостойное почтение свое на странице уважения: раб праха стоп ваших, употребляющий прах этот вместо сурьмы к бровям своим, просит от Всевышнего на долю вашу счастья и благополучия, в честь и славу великого посла Аллаха (да будет чтима память его), просит со слезами и отдавая на жертву за вас себя и своих, чтобы вы вечно восседали на престоле исполнения всех желаний своих. И если исполнится молитва наша, то мы, нижайшие рабы ваши, пишем ныне к знаменам веры, повелителям на престоле судеб, собирателям святых пророческих преданий, рудникам познания истинной веры, светильникам просвещения, ходящим по сирату¹, столпам правды, обладателям великих почестей и совершенства. Да будет ведомо вам, что судьбы Всевышнего к нам непримиримы; тщетно надеялись мы на молитвы ваши, видно, вы нас забыли. Всемерно желая исполнить данное вам слово, мы терпеливо переносили бремя налегающих на нас лет, тем более, что дочь наша Майна еще только подрастала. И теперь не желаем мы воспользоваться задаром приношением вашим, хотя великодушные сердца вашего нам вполне известно; нет однако же средств возратить вам уплаченный вами отчасти калым; идти в вашу сторону мы не смеем, потому что мы в войне с семиродцами, и русские считают за ними следствие². Посему, призывая бога на помощь и не отчаиваясь по милости его удовлетворить вас со временем, мы рассудили принять калым от любезного нам ныне, в плачевной юдоли нашей, султана Беркута сына Юлбарсова, имеющего пребывание в роде Дюрт-кара, от устья рек Сыра и Кувана до озер Аксакал-барбы и далее; белая кость султана Беркута несомненна, но я бы не променял на нее более мне любезной отрасли вашего почтенного племени, коим славится вселенная, хотя султан и прислал мне в первую осень задатку 40 овец и семь коз ягненных; я не принял бы и этого, если бы неумолимая судьба не разлучила нас с вами навсегда, не внемля моим грешным молитвам и не слыша от вас памяти об нас, недостойных».

— Оу! берекалда, берекалда!—закричал Карасакал-батырь, когда, стянув губы в жемочек, подняв высоко брови и вытаращив глаза, дослушался до конца письма: — прекрасно, превосходно!

¹ Мост, ведущий в рай.

² Слово это, как техническое, было написано татарским письмом по-русски.

Письмо это шло до места назначения своего, до Сакалбая, месяцев пять, но наконец дошло-таки исправно. Оно пришло с караваном в Орск, там было передано каргалинскому татарину, который выехал на мену ни с чем, в легонькой порожней телеге, в которой лежали: самовар, подушка, аршин и безмен — и только, а возвращался, разжившись бог весть с чего, в повозке с верхом, в лапчатом лисьем тулупе, растянувшись на перине, и пил дорогою чай ровно пять раз на день. В Оренбурге письмо передано было на меновом дворе каким-то кайсакам, ехавшим с мены в степь, и наконец, через десятые руки, застав Сакалбая против Сахарной, вручено ему исправно. Но этого мало: надобно было прочитать его: и тут прошло с неделю времени, покуда собрались да нашли грамотея. Старик сначала слушал, нагнувшись вперед, уставив глаза на бумагу, улыбаясь и поглаживая бородку; он заставлял повторять каждое слово, каждую строчку, указывая пальцем невпопад на бумагу, тешился и был доволен. Когда же поклоны и пожелания кончились и дочитались до дела, то Сакалбай наморщился, подперся локтем и молча отдувался. «Старый плут! — сказал он наконец, когда все письмо было в десятый раз перечитано и растолковано. — Старый плут! а бараны мои за ним пропадут? Разве я на то выплатил ему по уговору задаток калыма, чтобы он ушел в Дюрт-каринцы, и сидел там, да отдал девку за султана? Шайтан его возьми, султана! Кто ему велел отбивать чужих девок, да еще и сосватанных?»

Майор принял весть эту, по благодатному тело-и духосложению своему, как казалось, довольно равнодушно; он, в течение трех лет, привык уже к тщетным ожиданиям, и не зная, что отвечать на весть эту, молчал и глядел в землю. Но ему стали больно надоедать насмешками, не давали ни проходу, ни покою; а отец грыз ему голову, попрекал, что потерял за него столько-то баранов; бранил, что он не хлопчет о невесте своей, страшал, что не станет сватать за него другой, хотя бедному Майору нечего было делать, как слушать и молчать.

Клинообразная равнина между реками Сыр и Куван принадлежит к плодороднейшим пространствам степи. На север от Сыра расстилаются пески Каракум, на юг от Кувана совершенно безводные, на пяти днях ходу, пески Кызылкум, а тут, в середине, сочные, зеленые луга, перемежающиеся изредка песчаными и красноглинистыми полосами, по коим рассыпаны горькие, соленые и пресные озера; копани или колодцы все мелки; вода есть на каждой точ-

ке, но только под песчаной почвой пресная, а в глине горькая. Ближе к морю солончаки, топи и необозримые камни. Всюду рассыпаны лесочки саксаула хрупкого, жесткого, тяжелого дерева, которое дает лучшее топливо. Здесь кочевали наурузбайцы; передвигаясь туда и сюда, вниз и вверх по Сыру и по Кувану. Майне было уже лет 16; как в первый раз отец просватал ее, не спросив ее совета или согласия, так и в другой; но она уже знала и видала несколько раз султана Беркута Юлбарсова, и выбор этот был не по ней.

Беркут, то есть орел, сын Юлбарса, то есть тигра, как у нас говорят обыкновенно, или по-русски, бобра — это громкое имя и прозвание; царь пернатых и первый за львом сановник и вельможа четвероногих. Но султан, в том виде, по крайней мере, как он был ныне, вовсе не отвечал собою на громкое имя свое: ему было за 60 лет; дряхлый, ничтожный старичишка, женатый на трех женах, вздумал он жениться еще на четвертой, и избрал Майну, которая ему приглянулась. Он знал на память две, три молитвы из корана, разумеется не понимая их; твердо помнил наизусть все 14 колен родословного древа своего от Чингиса и утешался твердой надеждой, что в нем по крайней мере поколение знаменитого завоевателя не прекратится, потому что произвел на свет огромный аул наследников: семнадцать одних сыновей, не говоря о внучатах. Дочерей он не считал: это товар для сбыту, больше ничего. Но Беркут жил между дюрт-каринцами без имени и весу, и отличался тем только от прочих кайсаков, что ему говорили: таксыр¹. Сам он был собою очень доволен и знал все: так например, когда один караван-баш попотчивал султана на дневке чаем, которого этот отродясь не видывал, то Беркут Юлбарсов не хотел показать даже и в этом деле невежество свое, а сказал, прихлебывая: «Знаю я чай этот, знаю — его делает какая-то птица, комар ли, оса ли; только он жидок что-то у тебя и не сладок». Из этого надо догадываться, что султан слышал когда-то и что-то про мед, который пьют с чаем, и полагая, что его потчуют медом, находил его жидким и не сладким.

Как бы то ни было, но вот он жених Майны. Деваться ей от него некуда, согласия или несогласия никто у нее не спрашивал. Она умоляла отца, говорила: «У меня есть жених; ты же сам меня просватал, ты велел нам слюбиться — разве бывает у девок по два жениха? Это стыд и по-

¹ Так чествуют султанов: благородие, сиятельство.

зор перед людьми! Я, воля твоя, своего не покину. Что мне до султана Беркута — мало ли стариков таскается по белому свету, так разве они все мне женихи? Но никто не слушал Майны, и дряхлый старичишка, разодевшись женихом, приезжает, по обычаю, как двадцатилетний Майор четыре года тому, на тайное с невестой свидание. Свидание это решило все: истощив слезы и просьбы у отца, она твердо намерилась бежать за Илек и Тимер, к баюлинцам, отыскать своего Майора и тем отделаться от Беркута.

Решиться было ей не трудно, но как исполнить это, как уйти и достигнуть благополучно обетованной для нее страны, через 800 верст голодной степи, и как исполнить это девке, одной, когда такая поездка, через тысячи опасностей, устрашает иногда и порядочного мужчину, кайсака, который, пускается в путь с большими предосторожностями и соображением? Но Майну, легкомысленную, скорую, бойкую и предприимчивую, все это не устрашало; она начала тайно готовиться в путь и приискивать себе в мыслях товарища.

Во-первых, она заготовила понемногу запас дорожной пищи, то есть круту, сушеного сыру; и это ей, занимавшейся хозяйством отца, было не трудно. Она откладывала день за день несколько комочков, а ночью уносила их и зарывала в одно место в песок. Затем высмотрела она себе пару добрых коней, в табуна отцовском, и братный чапан, тумак, пояс и оружие: она хотела одеться мужчиной. Случай этот тем любопытнее, что он не выдуман, что рассказ этот заключает в себе одну только истину.

Потом Майна стала искать себе попутчика и вожака; она не знала мест, и одной пуститься в такой путь было слишком опасно. Тут предстоит нам вывести перед читателями новое, также действительно бывалое лицо.

У Карасакала жил уже года два работник, пастух, безродный дюрт-каринец, за насущный хлеб. У лошади, на которой он пас табуны хозяйские, голодные верблюды отъели зимою хвост по самую репицу, и кляча стала куца. На ней-то бодро разъезжал молодец наш, сгоняя стада грубым, сильным и диким голосом своим, и сам получил за это прозвище куцега. Ему было лет за 40; крепкого, здорового телосложения, был он, особенно в своей одежде, урод, на которого нельзя было смотреть без смеху. Ростом не велик, в плечах широк, с коротенькими ножками, огромной головой и еще огромнейшими ушами, подслеповатыми глазами, представлял он собою живой бурятский кумирчик, как отливаются они из меди или фарфора. Широкие

костлявые скулы давали уродливой голове его точный вид нашего самовара, где уши вершка в три, оставшие от головы, представляли, как нельзя лучше, ручки. Беспреданное усилие раскрыть глаза пошире, — Куцему нашему не помогало; находясь на плоском, как доска, лице, в уровень со скулами, глаза у него, казалось, были чужие, вставлены только на смех, и веки над ними по углам зашиты — оттого самовар и моргал ими беспрестанно, тщетно стараясь проглянуть. Нос под широким лбом, где морщины лежали во всю длину, толщиной в добрый палец, нос казался какой-то замысловатой постройкой, горбом и крючком; усы у Куцего были кой-какие, почему и говорили люди, что у него под носом взросло, хоть в голове и не засеяно, — а вместо бороды, не боле семи или десяти волос, вершка в три. Губы средней толщины, но рот решительно по уши. Когда Куцый объяснялся, как обыкновенно с большим жаром, растарашив пальцы, нагнувшись всем телом вперед, выпятив на четверть подбородок, помахивая головой и давая полную свободу выразительной игре мышц, или лучше сказать сухожилия на лице своем, то вы видели перед собою волчью пасть необъятной глубины, настоящую пропасть, перед которою голова кружилась; она смыкалась и развизалась перед вами с быстротою молнии и вы видели в ней все, до самого дна, почти до самого желудка, и могли пересчитать 32 белых и здоровых зуба, ни в чем не уступающих самым отборным волчьим зубам. К этому остается только еще прибавить, что Куцый лето и зиму ходил в одном платье: в нагольном косматом тумаче или малахае, — который превращал и без того уже несоразмерно большую голову его в пирамидальную гору — в стеганом полосатом халате, покрытом до последней нитки заплатками всех цветов и родов — шелковыми, бязевыми, ситцевыми, суконными, наконец, кожаными и меховыми. Лучшее место на халате был лоскут алого сукна, с ладонь, положенный на спине, между лопаток: тут была защита спасительная молитва, которая однако же не спасала Куцего от частых побоев толстою плетью по этому же самому месту. Халат, чтобы не безобразить стана, закладывался раз навсегда полами в широкие кожаные шаровары и вздувал их, спереди и сзади и с боков, горою: штаны суживались по ногам клинообразно и оканчивались немного ниже того, где начинались голенища, то есть вполголеня Куцый обрезал их на четверть, употребив обрезки на заплатки и рассудив весьма основательно, что внизу, где уже есть около ноги голенище толстой юфти,

коже болтаться не для чего, она изнашивается без всякой пользы. От всегдашней верховой езды, ноги образовали у Куцего, каждая, почти полукружие; и если каблуки сходились вместе, то колено было от колена еще как Москва от Питера. На ходу Куцый переваливался каким-то носорогом, растарашивая пальцы, продирая усиленно глаза и упираясь в обе стороны на воздухе ладонями, чтобы сохранить по возможности равновесие.

Куцый служил шутком или дурачком для всех кочевых обитателей целого пространства между Сыром и Куваном; никто, ниже последний мальчишка или девчонка, не могли с ним сойтись или встретиться, не захохотав и не подняв его на смех. На все пиры звали Куцего, потому что он был плясун и тешил зрителей ломкой и пляской своей, среди знойного азиатского лета, по несколько часов сряду, не снимая ни теплого халата с плеч, ни мохнатого малахая с головы. Общественной пляски у азиатцев почти нет: плясуны у них то, что у нас фигляры. Слабость нашего Куцего были женщины, женитьба; он еще был холост, как бедняк и дурак; но охотнее всего говаривал о сватовстве, и, вызвавшись в сваты к нему, можно было сделать из него все, что угодно. Он становился среди чистого поля на голову, и стоял так полчаса сряду, поматывая и подергивая замысловато ногами, если какая-нибудь баба его о том мимоходом просила, и был поручением этим всегда очень доволен. Другая слабость Куцего была ненасытная утроба его, и шутка, на которую в былые времена еще с ним пускались, заставив съесть в один присест целого барана, обглодав все косточки, с уговором получить 500 плетей, если чего не доест, — шутка эта давно уже потеряла всякую цену и вышла из употребления: не было во всей степи дурака, который бы кинул ему барана ни за грош: Куцый был так неосторожен, что съедал каждый раз барана, как наш брат перепелку, и не дал, к неудовольствию зрителей, высечь себя ни разу; напротив, он облизывал пальцы, высасывал косточки и жаловался, что его обманули, что баран этот верно еще не переогодовал. После такой проделки, Куцый ложился, как случалось, кверху брюхом или кверху спиной, на солнце, накрывал голову малахаем своим, и спал сутки двое или трое, вставая только по разу в день, чтобы выпить миску воды с наше русское ведро.

На этом-то сокровище Майна основала все надежды свои: здоров как бык, довольно глуп и бессмыслен, чтобы заставить его умеючи сделать все и поверить всему, снаб-

жен от природы достаточным чутьем и памятью местности, чтобы служить вожаком по таким местам, где ему, однако, на веку своем быть случалось, — все эти соображения не обманули Майну, и выбор ее был удачен. Этого урода душой и телом уверила она, что страстно в него влюблена, а как отец, конечно, никогда не согласится, отдать ему ее, то и предложила, как одно средство и спасение, бежать с ним к нижней линии нашей, под защиту русских или султана-правителя. Молодец наш давно слышал, от сотни людей, которые вечно над ним трунили, что на нем лежит большой чин, а потому и поверил охотно, что девка скорее согласится выйти за него, чем за Майора или за старика Беркута, в сравнении с коим Куцый считал себя красавцем. Он увивался с этой минуты украдкой вокруг Майны и от ласк его спасала ее только острастка: «Отвяжись, леший, не ходи за мной хвостом, а то люди сметят да скажут отцу, и он тебя прогонит». Для подкрепления ж в нем веры и надежды, она позволила ему раза два украдкой поцеловать руку свою; не знаю, случалось ли когда-нибудь прежде и после этого, чтобы влюбленный кайсак целовал руки своей возлюбленной.

Приготовив все и выбрав темную осеннюю ночь, Майна выползла из семейной кибитки, унеся с собою подготовленный ею с вечера братний чапан, малахай, сайдак со стрелами и луком; разбудила спавшего под собачьим хребтом¹ Куцего, прокралась вместе с ним к тауну; здесь взяли они на выбор, из коротко знакомых им отцовских коней, каждый по паре и оседлали их; Майна второчила свой запас крута и кумыса; Куцый припас для себя также оружие: огромный семиаршинный шест, заостренный на конце копьеобразно; и с этим деревянным копьем², рыцарь и герой наш пустился смело ратовать с судьбою и с людьми за обожаемую им красавицу.

Путь лежал перед беглянкою не малый и вовсе не безопасный. День доброй езды до реки Сыра, потом надобно переплыть реку, там три дня песками Каракум, три дня

¹ Ит-арка, собачий хребет — составленные на скорую руку шатром две кибиточные решетки и накрытые кошмой.

² Подобных рыцарей деревянного копья можно нередко встретить за Уралом: идучи на один только грабег и угон скота, кайсаки избегают по возможности убийства, за которым уже всегда следует сложная и большая вражда и расчеты, а потому нередко довольствуются шестом вместо копья, чтобы только спихнуть всадника и угнать табуна его.

песками Барсук, сутки солончаками до Эмбы и еще двое-трое суток, по обстоятельствам, до аулов баюлинцев — всего восемь, девять дней и почти столько же сотен верст, и все это надобно проехать украдкой, тайком, чтобы други не нагнали, недруги не встретили, и никто не заподозрил. Надобно ехать ночью, с большой оглядкой, чтобы вдруг не наткнуться на кого-нибудь, а днем лежать с лошадьми в овраге, в камыше, почти притаив дыхание. Похождения и приключения беглецов и землепроходцев в степи Заяцкой иногда очень замечательны, иногда невероятны. Недавно еще, строгою зимой, в декабре, шайка поймала на перепутье четырех вестовщиков, шедших из Бухары. Их обобрали до нитки, отняли все, провели еще переход или два голодом с собою, а потом отпустили нагишом, оставив им, как последнее убежище, одно только огниво. Они высекали и развели огонь, обогрелись, потом двое побежали с головнею вперед и опять развели огонь; как дымок в версте закурился, так остальные двое пустились туда же; потом эти пошли вперед, и, чередуясь таким образом, они благополучно пробежали до двухсот верст, нагишом, по снегу, при сильной стуже и без всякой пищи. Тут они наткнулись на аул и были спасены. Кайсак не видит в поступке этом, обратить беззащитного путника и погубить его, не видит бесполезной, зверской и бессмысленной жестокости, которую мы в нем видим; эти же четыре голыша, если бы им случилось когда-нибудь быть на месте грабителей своих, поступили бы, без сомнения, с первыми встречными так же. Наш отряд поймал однажды в степи отъявленного вора и разбойника; связанный, сидел он на земле. Кайсаки из ближних аулов, частью служившие нам жожаками, обступили пойманного, ругались над ним, плевали на него, так что караул наш должен был их отогнать. Прибегает еще новый зритель, который, услышав о поимке разбойника, спешил насладиться лицезрением его, убедиться, действительно ли это он. Пришел, взглянул и ужаснулся! Всплеснув руками, начинает он проклинать его в глаза, стараясь разжалобить и его и всех свидетелей, рассказывая сто раз сряду, каким зверским образом изверг этот напал в его отсутствие на семейство его, угнал скот, избил до полусмерти мать и жену, закинул ребенка в речку, и прочее. Тот долго молчал; наконец, покачав головою, сказал спокойно: «Ты, я вижу, и был и век будешь дураком. В то время был ты дурак за то, что тебя не было дома, а теперь ты дурак, что сидишь дома; ты видишь, я связан: поезжай в аул мой на расправу!»

Чета наша продневала первый день, залегши в прибрежные камыши Сыра; и странное обстоятельство едва не передало их обратно в руки преследователей, коим, впрочем, и преследовать можно было только наугад, не зная, куда и зачем Майна бежала; но вместо того оно ускорило еще благополучное их бегство. По множеству аулов и народа близ Сыра, Майна не осмелилась бежать далее днем, а залегла с рассветом, переправившись только вплавь через реку, в глухой, непроходимый камыш, где путники наши наткнулись на узенькую тропинку. По этой же тропинке шел в то время им навстречу хозяин и властелин не только проложенной им самой тропы, но и обитаемых им камышей. Это был огромный полосатый барс, или тигр, который валял в один прыжок, лучше всякого коновала, самую крупную скотину. Он ходил на ночной промысел свой в степь и, напившись крови, возвращался обычным путем с рассветом в свое логово. Майна и Куцый шли спешившись и вели лошадей в поводу; почуяв зверя, кони вдруг захрапели и, взметнув гривы, вырвались и пошли по камышам напролом. Майна с провожатым своим кинулась несколько в сторону от тропинки, не могли проломиться по этой невероятной чаще и остановились: сытый зверь прошел спокойно в пяти шагах от них и не обратил на незванных гостей своих никакого внимания. Обождав немного, они вышли снова на тропинку, спешили по ней в степь, но, лишившись коней, почти отчаивались в возможности продолжать путь свой: оставалось разве заночевать тут, подползти ночью к ближайшему аулу, высмотреть табуны, кинуться на лошадей и скакать. Майна решилась и на это; а Куцый, надобно отдать ему справедливость, не уступал ей в храбрости и предприимчивости. Но судьба избавила Майну от напасти: лошади их стояли спокойно под степным увалом и паслись все вместе, на тучном болоте. Майна была в неизъяснимой радости; ей казалось, что она теперь одолела все беды и препятствия и достигла уже отдаленной цели своей, до которой было еще более 700 верст. Они проехали до самого полудня, пробираясь, сколько можно было, оврагами, а в барханах, или песчаных буграх Каракума, который весь походит на взволнованное бурей море, — углублениями между бугров, и залегли в скрытном месте, поодаль от копаней или колодцев, чтобы на копанях этих с кем-либо не столкнуться.

Таким образом, питаясь крутом, Майна с Куцым своим добрались на шестую ночь благополучно до Эмбы, переехали ее вброд и, залегши в кустах по речке, увидели на

заре вдалеке по Сырту¹ двух вершников о двуконь и узнала тотчас по приемам их, какой это народ; это, без всякого сомнения, были караульчи, разъезды какой-нибудь близкой шайки. Пускаясь на промыслы свои, кайсаки каждый день с зарею отправляют попарно разъезды; облетав о двуконь, на добрых лошадях, всю окрестность, сделав иногда до 150 верст, разъезды возвращаются на сборное место и доносят о том, что видели. Эти караулы заменяют наши цепи, ведеты и разъезды; осмотрев такое огромное пространство, шайка идет или стоит на месте спокойно, не опасаясь ничего. При нашей местности этого было бы недостаточно; но в степи, где глаз свободно видит на десяток и более верст, предосторожности этой довольно. Иногда впрочем и кайсаки ставят, где нужно, отводный караул и, как искуснейшие в мире воры, делают это мастерски. Разъездные, увидав какую-нибудь конную толпу — пеший в степи, разумеется, не бывает, — наперед всего обманывают ее, если она их уже заметила, морочат, отводят, чтобы никак не дать угадать, где, в которой стороне, сидят их товарищи. Разглядев и убедившись хорошенько, как сильны противники, караульчи располагают по этому действиями своими; если те слабы, то дразнят, заманивают их и наводят прямо на свою засаду; если неприятель не дается в обман, удаляется, то скачут во весь дух к своим, дают маяки на кругах, чтобы поднять всех на коня; потом скачут и машут шапкой в ту сторону, куда надо ехать, показывая нередко туда и сюда, чтобы шайка разделилась и старалась обскакать и отрезать бегущих. Тут уйти противнику очень трудно, потому что кайсаки никогда не гонятся вслед, за исключением толпы, следящей добычу свою по измятой траве и по свежему помету, между тем как остальные обхватывают бока и забирают вперед. Если же открытая разъездом шайка сильнее, то караульчи ни за что не подадутся в ту сторону, где их притон а, надеясь на бегунов своих, отманывают шайку все далее, позволяют дать себе несколько угонок в противоположную сторону, пропадают иногда от своих на сутки и более, и возвращаются дальней околицей, когда уже успеют скрыться от неприятеля.

Итак Майна увидала на заре пару таких караульчи: глаза кайсачки зорки; и она вмиг отличила, что это за люди. Если бы она увидала их в полдень, — это бы значило, что шайка довольно далеко; но утром, на заре — это дока-

¹ Сырт — водопуск или разделение вод.

зывало, что шайка стоит вплоть, потому что разъезды высылаются с восходом солнца. Делать нечего: Майна с Куцым дали миновать себя вершникам, а когда они скрылись, повалили лошадей своих в кустарник при речке и снова залегли. Куцый, который обыкновенно спал, как убитый, на всякой дневке, не мог теперь заснуть от страха и, растянувшись перед Майной ничком и загнув кверху голову, изъяснялся перед нею самым страстным потоком речей. Майна принуждена была не только грозить ему несколько раз плетью, но ударить его порядочно, чтобы хотя на время успокоить эту огненную сопку и нагнать на нее, вместе со страхом, кратковременную остуду.

Около полудня вдруг показалась на окраине малой возвышенности, со стороны Урала, пыль, а вслед за нею и порядочная толпа, более или менее вразброд. Итак Майна не обманулась.

Местоположение по сю сторону Эмбы, коей вершины отделяются от вершин Илека плоским и широким сыртом Буссага, ровное, гладкое: тут нет ни рытвины, ни оврага, ни кусточка, на несколько десятков верст; следовательно, нынешнее убежище Майны, то есть самая долина Эмбы, было единственное, на большом пространстве. Беглянка с проводником своим пролежала пританчившись еще часа три — и гроза миновалась, шайка прошла, прошедши в виду их Эмбу. Настали сумерки. Майна пустилась снова в путь.

Но не успели путники наши отъехать пяти верст, как вдруг услышали за собою вплоть конский топот. Они пустились скакать, но толпа неслась уже с гиком за ними, на хвосту и обскакивала их с боков. Эта была та же шайка, которая днем переправилась за Эмбу; внезапная перемена пути их произошла вот отчего: один из разъездов привез возвратившись какой-то гостинец, завязанный в конец кушака; все обступили вестников, кричали, шумели, разглядывали и передавали из рук в руки диковину, и вдруг единогласно положили ехать поспешно назад. Диковинка эта была не иное что, как комок свежего помету, в котором нашли несколько зерен овса. Эти невинные зерна нередко встревоживают мигом сотни аулов; не мудрено, что шайка наша также казалась крепко озабоченною. Эти зерна, овес, доказывали неоспоримым образом, что шайка едва не напоролась на русский отряд, также точно, как ячмень или джугары в помете доказывал бы присутствие хивинцев или туркмен. Убоясь встречи с нашим поисковым отря-

дом, шайка обратилась вспять, настигла случайно путников наших и быстро, неумолимо их преследовала.

Под Майной были два лучших коня, один под верхом, другой, также оседланный, в поводу. Куцый, хотя выехал на этот раз в поле не на куцем своем, а также на паре добрых коней, был однако же вскоре отхвачен, споткнулся еще, ткнув огромным шестом своим на перевесе в землю, потом сбит с седла и взят. Майна неслась во все повода, впотьмах, не разбирая пути, куда мчались кони; она взрезала на скаку седельную подушку свою и, выхватывая из нее целые горсти пуху, пускала его за собою, в глаза настигавшей ее погони, людей и лошадей. Мало-помалу шайка растянулась, стала отставать, но человека три налегали сильно, и один, сбоку, несколько раз едва не заскакивал вперед. Майна бросила повода лошадей, связав их вместе выхватила с пяток стрел и лук, чего преследователи не могли впотьмах разглядеть, оборотилась впол-оборота назад, привстав на стремяна, пустила стрелу, другую, третью, вытянув тетиву, как видела и слышала от брата, во всю стрелу, по самое копейцо — стрела тихо шикнула, едва слышно, без шуму и грохоту нашего огнестрельного оружия, — и бойкий всадник пошатнулся, закричал: «Убили меня, умираю», — погоня отстала и чрез четверть часа все вокруг Майны утихло. Она остановилась, дала вздохнуть лошадям и стала выжидать и прислушиваться осторожно, что будет.

Майна знала обычаи земляков своих, знала что спутника ее, если он попался в руки неприятеля — чего она однакоже по темноте не видела, — что пленника такого рода не лишат жизни, а только поколотят и оберут; ей стало жаль своего Куцега, и она решилась проехать осторожно несколько верст назад, до того места, где она потеряла друга, и поискать его. Шайка пронеслась стороною, по течению Эмбы, между тем как Майна приняла с вечера до Эмбы прямо на Уил.

Проехав шагом, с осторожностью и растановками, верст пять, шесть, Майне показалось, что она послышала стон. Остановившись и вслушавшись, она осторожно повернула туда, прилегла на луку глядела против неба, и наконец, увидела какую-то живую кочку. Смело подъехала она к ней, в уверенности, что это должно быть Куцый, и не ошиблась. Он сидел подгорюнясь, нагишом, как мать на свет родила, и не обращая большого внимания на подъехавшего вершника, которого считал без сомнения принадлежащим той же шайке, сказал: «А ты чего еще? Тебе

что надо? Ты видишь, я сижу — дай бог вам здоровья — нагой, земле подо мной стыдно; а бить также более нельзя меня, не по чему, нет живого места, все один синяк. Приезжай с рассветом, да полюбуйся».

И смешно и жаль было Майне; Куцый не испустил ни одного стога, ни вздоха, когда избили его нагайками от затылка по пяток; он только, стиснув зубы, переминался — а узнав Майну, заплакал в голос, и целовал копыта ее лошади. «Не сказал, я, — воскликнул он, — не сказал ни слова, сколько ни старались они около меня, не выпытали ничего! Не бойся, не знают они, кто ты и откуда; я сказал, что мы таминцы, бежали от разбойников джагалбайлинцев. Сколько ни колотили, ничего больше не выведали».

— Дурак ты, дурак, бедняжка, — сказала Майна, — да что же тебе пользы было обманывать, врать и заставлять себя бить? Если бы джагалбайлинцы нападали на таминцев, верно бы и эта шайка о том знала; какая же тебе польза лгать на свою шею? Кому из нас от этого легче?

«Все-таки обманул их, — сказал покрякивая Куцый, — все-таки они в дураках остались; а я им не переметчик дался, чтобы высказать всю правду».

Майна отдала уроду чапан свой, тюбетейку, одного коня, — и, отдохнув немного, поехали они дальше. Помолчав с четверть часа, Куцый захохотал, пробормотав: «Обманул-таки собак, обманул! Они и теперь думают, что мы таминцы!» Потом, оборотясь вдруг после этого быстро к Майне и ощупав у себя торока, закричал: «А где же наш крут? А что мы есть будем?»

Куцый в самом деле был прав. Крут пропал вместе с лошадьми его, где был второчен, и у путников наших не осталось ни насущного зерна. Куцый умел и этот несчастный случай обратить, мысленно по крайней мере, в свою пользу: «Съедем барана, — сказал он захохотав, — съедем большого барана, только бы добраться до аула. Ты, Майна, ступай стороной, дальше, а я подползу, украду и принесу. Небось, я приколю его на месте, где ухвачу, чтобы не ревел, не драл горла да не сзывал народ». И Куцый замолк. Наслаждаясь мысленно этим лакомым и сытным блюдом, он разбирал барана уже по частям и суставам: хрящеватая грудинка хрустела под зубами его, огромный курдюк чистого сала расплывался у него во рту, сочное мясо тешило неприхотливый язык и небо. Куцый набирал полон рот, огромную волчью пасть свою, и глаза у него проглянули более обыкновенного, яблоки лезли на лоб, как будто он уже давился огромными пригоршнями кул-

ламы или бишбармаку, пятипалого, ручного кушанья, крошеного мяса. Он рассмеялся и утер рот ладонью, взад и вперед, от уха до уха. Потом Куцый зевнул, растворив челюсти свои четверти на полторы, поежился, пожал плечами туда и сюда, и стал дремать на коне, как после сытного обеда.

Майна между тем рассчитала, что ей теперь всего лучше искать днем аула, положившись на помощь и гостеприимство земляков; тут могли быть только аулы семиродцев или даже баюлинцев; может быть, на счастье, удастся наткнуться на последних и допроситься о тех, кого она ищет. Заехав в небольшой овражек, по переправе через Уил, она решила ждать рассвета, тем более, что утомленных лошадей надо было попасть. Она с усталости скоро заснула и проснулась вдруг с испугу от страшного крика и шума, ее окружающего. Куцый, задумав съесть барана, отправился на промысел, как скоро услышал, что в какой-нибудь версте или двух залаяли собаки. Подкравшись к сонному аулу, он высмотрел ползком, где какой скот, подполз благополучно к овцам, поймал одну, проколол ее, оттащил ползком за полверсты и принес на становище свое. Но этого мало: надобно было сварить в чем-нибудь барана, если не печь его на жару навозном; Куцый готов был в крайности и на это, но он еще не полагал себя в такой крайности, и пошел промышлять котел. С дерзостью голодного волка воротился он снова в тот же аул, добрался ползком до кибитки, в которой чуть мелькал еще тлевший огонек, поднял легонько нижний угол запона и стал разглядывать, что делалось в кибитке. Все спали; плоский широкий котел стоял, по обыкновению, с водою над жаром, разложенным по самой середине кибитки. Куцый, глядя на котел, с необыкновенной живостью представил себе, как бы в нем хорошо и вкусно уварился баран его; оглянулся еще — за решетку близ входа заткнул косматый малахай; в одно мгновение схватил он малахай этот, ухватил им, вместо рукавицы, котел с огня, опрокинул его, и вылил воду, не заботясь о том, кому она попала на ноги и на голову, выскочил из кибитки и бегом, опрометью, пустился бежать. Собаки бросились в погоню за ним и стали терзать вора сзади за чапан, порвали ему даже икры, потому что Куцый был, как известно читателям, босой; но он бежал без оглядки и без памяти, покуда наконец не нагнали его выскочившие за ним следом и удивленные невероятною дерзостью хозяева, которые, кинувшись в погоню на лай собак, настигли вора прежде, чем он успел добежать

до овражка, где спокойно отдыхала Майна. Вот шум и крик, от которого она проснулась.

Не зная, что это за люди и что тут делается, она только с осторожностью приподняла голову, но не могла разглядеть ничего, кроме небольшой толпы, ниже услышать что-нибудь, кроме угроз, брани, нескольких сильных ударов нагайкой, — и вскоре все утихло, народ удалился. Когда рассвело, Майна удостоверилась, что она одна, Куцего нет, а рядом с нею, в овражке, лежит зарезанный баран; лошади ходят внизу, где были пушены; кругом все пусто. Она села верхом и, выехав на бугор, увидела аул. Закричав с детской радостью вслух: слава тебе, господи! — она повернула туда и через четверть часа стояла перед пятком кибиток, поставленных в кружок.

Ответив на мужское приветствие ее тем же, молодой парень, сидевший на лошади с укрюком¹, спросил ее: «Кто ты? Чего надо?»

— Я баюлинец, — сказала она: — сын Сакалбая, сына Талдыкова, ездил в Семиродцы, к невесте, и не знаю теперь, где найду опять свой аул. Не слышно у вас, где они кочуют?

«Кто?» — спросил тот, прислушиваясь и пригнув голову на бок.

— Где кочуют баюлинцы? — сказала Майна.

«Баюлинцев много, по всей степи кочуют баюлинцы, — отвечал вершник, подъехав ближе. — Да тебе кого надобно, ты кого назвал, ты кто?»

— Я сын Сакалбая Талдыкова, — повторила Майна, — и его-то мне и нужно, Сакалбая.

Сказав это, Майна как-то не могла глядеть прямо в глаза вершнику и отвела взоры в сторону; они прямо упали на связанного по рукам и ногам Куцего, который увидел Майну, лишь только она подъехала, слышал весь разговор ее и молчал, не подавая никакого виду, будто и не знал и не видал ее отроду, чтобы их, как товарищей, не подвергали равной ответственности. Куцый лежал спокойно и ждал только конца и развязки, то есть чтобы измочалили об него все, сколько есть в ауле, нагайки, а после этого и сам надеялся добраться благополучно до аулов Сакалбая. Но молодой парень спросил еще раз довольно настойчиво: «Ты сын Сакалбая, говоришь? Сакалбая Талдыкова, баюлинца?» И получив на это в ответ утвердительное шу-

¹ Шест с арканом у пастухов.

лай, так, — оборотился к одной из кибиток и сказал: «Батюшка, а батюшка — выдьте-ка встретить сына, тут к вам сын приехал, только не знаю, брат ли он мне будет — спрашивает вас».

При этих словах, Майна, конечно, разгадала все; и когда вслед за тем старик Сакалбай вышел из кибитки, а потом и брат его и сыновья, кроме Майора, впрочем, то Майна кинулась с лошади в ноги старику и залилась горькими, радостными слезами. «Я не сын твой, — сказала она, а дочь твоя, Майна которую ты высватал за сына, и коли не приезжали за мною, то я приехала к вам. Меня отец отдал было за другого — но не быть у девки двум женихам, как не быть двум солнцам на небе; я приехала к жениху своему, к отцу; бери меня под свое правое крыло, накрой меня своей правой рукой, не давай в обиду сильному, не вели стыдить меня никому; стыднее, чай, покинув жениха да быть женой другого, чем прийти к первому!»

Правду говорит пословица: девку трудно только выносить — а раз перевабишь, так уж сама как сокол на руку летать станет.

Удивленно и радости не было конца, Сакалбай накрыл голову Майны полою чапана своего, потом поднял ее, объявил всем, что она дочь его, око родное, сердце утробы его; повел ее в кибитку свою, потом поставил ей, как самому почетному гостю, особую белую кибитку, воткнул у входа ее длинное копьё свое, с резным копенщем; словом, Майна была принята, как самый близкий и дорогой гость.

А Куцый? Куцего, разумеется, освободили, приказали ему также быть гостем, и когда Сакалбай распорядился через час после этого по хозяйству, велел зарезать для дорогой гостью барана, то Куцый признался, что у него уже припасен целый баран, невдалеке, и взяв лошадь, поскакал и привез украденного им тут же накануне барана. Подъезжая к аулу, он хохотал от души и моргал и помахивал головой. «Режьте другого, — сказал он наконец, — этого уже собаки порвали, на мое счастье; это мой, я его съем один». Сакалбай не захотел лишить Куцего счастья его, тем более, что кайсаки относительно собак крайне брезгливы, и как во многих других, так и в этом отношении, выгодно отличаются от калмыков.

Майора не было; Майна провела с лишком сутки в ожидании его с бабами и девками тестева аула; смеху и радости было много. Майор возвратился на другой день к

вечеру и слезал осторожно с лошади, потому что плечо у него было подстрелено стрелой Майны. Шайка, которую встретила она, составила из баюлинцев, ходивших в соседние роды на баранту или воровство, по начетам своим, взаимному праву и обычаю. Дело относительно раны Майора, невольным образом, обнаружилось и объяснилось, потому что Майна наперед уже рассказала все похождения свои, не подозревая, чтобы жених ее мог быть в этой шайке. Сакалбаю, по обычаям и понятию народному, должно было прикинуться сердитым на сына, который дожид до такого стыда, что невеста за ним приехала, а не он за нею; и еще сверх этого он был ранен — девкой! Сакалбай сказал в кругу родных речь, в которой превозносил Майну до небес, бранил сына и говорил, что он, сын, ее не стоит. Майор, казалось, худо верил этому; он сидел против Майны, поглядывал на нее исподлобья, будто бы думал: толкуйте вы!

Общее недоумение после плодovitой речи Сакалбая было прервано явлением Куцего; управившись еще накануне с бараном своим, которого не успели доесть собаки, прикрыв даровыми обносками наготу свою, он отдыхал в вожденном пресыщении за той самой кибиткой, где происходило прение. Вслушавшись несколько, о чем идет речь, он пошел наконец объявить Сакалбаю, для чего собственно Майна с ним бежала, и предложил в то же время услуги свои на паству коней или овец. Куцый пролез под запоном, оттолкнув его головою, и вошел с самодовольным, рассудительным видом, держа правую руку на отлете, между тем пальцы левой руки, которою он собирался рассуждать, перебирали по воздуху у него под бородою. Все захотали, глядя на него, и он последовал их примеру; наконец, с простодушной улыбкой, которая, казалось, была готова и к плачу и к смеху, спросил: «Что же, будем смеяться или будем дело говорить?» — «Дело говорено и покончено, — сказал Сакалбай, — а тебе чего надо?» — «Есть у меня просьба, — продолжал Куцый, — до всех до вас, сколько тут есть». — «Какая просьба?» — «Дайте ход речи моей, прикажите говорить, а вы будете слушать». — «Говори», — сказал Сакалбай; и Куцый начал:

«Дивуюсь я, не надивуюсь, гляжу я, не нагляжусь, а все вы люди умные. Вы меня не знаете, я вас не знаю, а коли я скажу вам: будьте здоровы, то вы отвечайте: добро пожаловать. Что вы мне прикажете, то стану делать; что я стану говорить, то вы будете слушать». — «А долго еще слушать тебя?» — спросил Сакалбай. «Нет, не долго; на

то есть ваша воля, вы мой кормилец, я ваш работник, Знайте ж, кто мы и зачем мы в эту сторону заехали; правды таить нельзя, вы люди умные, вы люди добрые, мы ваши слуги, перед вами сердца наши настезь. Мы, не противно закону божию, замышляем сочетаться браком, жить и копить вместе, я, то есть, и вот Майна, дочь бывшего хозяина моего, человека знатного». — Все захохотали; но Куцый закричал, подняв обе руки: «Постойте» — и продолжал, — вот мы зачем и ушли вместе и поселяемся у лучшего в мире хозяина, и просим не обижать нас, а за съестное мы вам отработаем, и будете вы жить за нами спокойно».

Речь эту, для незнающих обычаев степных, надобно немного пояснить: у кайсаков ничто не делается без краснобайства, без длинных речей, в коих обыкновенно берет верх тот, кто всех перекричит и, не дав никому опомниться, оглушает все собрание полчаса сряду, без роздыха, без расстановки, диким криком своим, и отковав таким образом все умы по своему чекану, увлекает их за собою. Люди умные, одаренные кроме голоса еще и даром слова, умеют им пользоваться; они заводят окольную речь, в которой никак не ожидаешь такого резкого конца, и неожиданность эта поражает и увлекает всех, заставляя смеяться и согласиться. Слово Куцего-Энеида наизнанку, карикатура киргизского красноречия, но в духе и обычае народа.

Когда Куцый кончил и все захохотали, то Майор вдруг ожил, кровь ударила ему в лицо, и он, не разумея шуток, закричал, что убьет уroda этого и закинет как пса, если он осмелится еще раз объявлять гласно притязание свое на Майну. Сакалбай велел молчать сыну, напомнив ему, что он потерял всякое право на Майну, недостойн ее, и что, кроме этого, для него засватана другая девка у соседних таминцев. В самом деле, это было справедливо: получив весть об отказе Карасакал-батыра, Сакалбай прискал второму сыну своему уже другую невесту. Но это было распоряжение и воля отцовская, которой Майор бесприкословно повиновался, а не искал, не желал этого, и глядя на Майну, не думал теперь о другой невесте своей. Вся семья, братья, дяди, свояки, все, кто был в собрании этом, сидя поджав ноги кружком, стали кланяться почтительно главе семейства, Сакалбаю, и говорили: «Не делай так, не иди против судьбы, будь милостив; — не будет так, не твоя это воля, твоя воля умная и толковая; — прости сына, сын молодец у тебя, прими в милость его, будь ему

отцом», — и прочее. Сакалбай, приняв суровый вид, слушал однако же все это с удовольствием: он исполнял только обязанность свою, по обычаям и понятиям своего народа, хотел уступить только усиленным просьбам, как будто поневоле, и собрался, казалось, еще подержаться, не снимать личины, быть еще с полчаса неумолимым. Но в эту минуту, как будто сговорившись, Майор и Майна, сидя, — она позади отца, вне круга, а он насупротив его, — вдруг ударили перед стариком челом в землю и завыли. Майор лежал и вопил: «Язык свой вырву, грудь истерзаю, отсеку правую руку свою». А Майна говорила: «За тем ли я пришла к тебе, покинув отца и мать, чтобы ты бесчестил меня на чужбине; умилосердись над сиротою безродною; коли отымешь у нее суженого, так кто же у нее будет свой, к кому же она приехала на чужбину, — или только за позором своим, на стыд свой и на потеху злым и досужим языкам? Что же скажут в аулах наурузбайцев, когда дойдет туда весть к старому Карасакал-батырю, что дочь его ушла к чужим, что свои на чужбине от нее откинулись, и мужа у нее там нет? Умилосердись, не погуби!»

Женщины, и в особенности девки, в степи во всех случаях, где дело касается их близко, бывают красноречивее мужчины: девки привыкли там импровизировать, распевать стихи свои наобум, при каждом удобном случае, на всех игрищах, пирах и сборищах; привыкли изливать радость, и в особенности печаль свою, в поэтических порывах. Вдова оплакивает мужа не иначе, как распевая в честь его похвальные песни, с причитыванием, точно как кой-где еще у наших простолюдинов. Вот почему в словах женщин и девок, если ими управляют сильные страсти, гораздо более смысла и чувства, нежели в грубых и буйных порывах мужчин. Он дурачится, грозит, хочет себя искалечить, порываясь к действию, не имея быть покорным и страдательным; она умоляет, убеждает, выражает то, о чем скорбит сердце ее, по чем болеет душа.

Сакалбай не устоял, не выдержал, и не успел кончить всю проделку таким образом, как наперед было сам с собою условился. Слезы покатались у него градом, он вздыхал тяжело и, обращаясь ко всем, кто был тут, повторил раза два: «Полно, полно, — ну, что же я стану делать — как же мне с ними быть — сами вы видите... я ли тут чему виноват? — горе мне с вами, девки, да и только, — а как же быть...» Оправившись, принял он опять осанку поважнее, велел встать детям и, собравшись с духом, решил дело так:

«Против судьбы спорить и рядить нельзя; на это человека не станет. Майна пришла к нам, она наша; возьми же ты ее, Майор, я отделю вам и хозяйство. А ты, Капитан, ведь и ты уже не ребенок, и тебе можно, по примеру двух старших братьев, взять жену. — Поручик обождет еще, он совсем глуп, так тебе будет женой братишна невеста, я за нее выплатил почти весь калым; — я же стар, отживаю век свой; будете меня кормить. Поручик посидит еще со мною; старый да малый — товарищи; — и я под старость глупею; 60 лет прошло, ум назад пошел. Сыграем две свадьбы вместе».

Майна рассмеялась сквозь слезы и накрыла глаза рукавом чапана; Майор пожимался в обе стороны от поздравительных ударов руками по плечам, а Куцый, поняв наконец, в чем дело, также поздравлял соперника своего с какою-то огромной, угловатой улыбкой недоуменья, а когда все собрание поднялось на ноги, чтобы кончить и закрыть присутствие, Куцый опять поднял вверх обе руки, закричал, встряхнувшись всем телом: «Токта! Пойдите! — стал в дверях и объявил, что никого не выпустит, доколе не дадут воли языку его. Речь его на этот раз была коротка; он спросил только с изумлением, которое рисовалось на всем пространстве огромного лица его, от бороды до бровей. — Разве-де меня вовсе забыть хотите, разве меня не жените? Так обо мне что скажут земляки мои, когда дойдет до них весть, что я ушел с невестой, а живу холостым? Не погубите меня, мне будет стыдно!» Последнее выражение Куцый подслушал у Майны и полагал, что, по всей справедливости, может его применить также к себе.

После общего смеха, где все кричали в голос и давали Куцему разные советы, утешая его, Сакалбай один действительно его утешил: «За верную службу твою, — сказал он, — что привел ты ко мне Майну, украл котел и барана, я тебе в байгушах ¹ найду дешевую невесту; а свадьбу твою отпразднуем вместе со свадьбой моих сыновей».

— Баш! Баш! — кричал обрадованный Куцый и кланялся ниже пояса, между тем как шумная толпа толкала его и колотила по спине и плечам: «Спасибо! Дослужился-таки Куцый до чести, и свадьбу его отпразднуем со скачкой, с борьбой, с кумысом и с бараниной».

В день свадьбы Майна сидела в особой кибитке, между девками, лицо у ней завешено было алым шелковым плат-

¹ Б а й г у ш — обедневший, пеший кайсак, нищий.

ком; коса распущена и заплетена во множество мелких косичек. Девки пели все в один голос:

«Нет напева в русской песне, как нет напева в песне вешней кукушки; а есть напев в той песне, которую поют дети кочевой орды, девки красные, когда отдают сестру замуж: поют, как лебедь, у которого беркут унес лебеденка серого, поют — как клекчет орел, подымая от земли жеребенка».

И Майна сидела посреди этой пестрой толпы подруг, поющих тоскливые, жалобные песни; завешенная платком, она, казалось, и сама тосковала и плакала; но по временам отводил палец ее край платочка, и быстрый черный глазок, изобличающий резвую улыбку, выглядывал из-под покрывала. Майор сидел в это время в отдельной, кругом закрытой кибитке, и не показывался оттуда во весь день; изредка только заглядывали к нему товарищи. Он не видал ни борьбы, ни скачки, а слышал только издалека шумный спор, чья лошадь пришла первою, потому что скакунов провожала густая толпа заехавших к ним навстречу всадников, и окружив и спутав их, примчались вместе с ними, и не дала рассмотреть в точности, на чьей стороне была правда; всяк отстаивал своих. Пир длился трои сутки.

Вместе с Майором сидели: брат его, Капитан, и счастливый Куцый. Урод также считал обязанностью стыдиться и не выходить никуда. Рядом с Майной сидела будущая невестка ее, Хамиль, также под покрывалом; а по другую руку еще и третья невестка, дешевая, как выразился об ней Сакалбай, в чужом чапане, потому что у нее своего не было. Родители ее не думали отпраздновать когда-нибудь свадьбу дочери своей так великолепно, и не мало этим хвастались и гордились.

НОВЫЕ КАРТИНЫ РУССКОГО БЫТА

1) СЕРЕНЬКАЯ

I

ЦЕХОВОЙ С ТОВАРИЩЕМ

Запоздалые огоньки мерцают в тусклых, маленьких окошечках села; кое-где, при лучине засиживает рабочая пряжа за мычкой; в одной избе тоскливая мать сидит над умирающим ребенком, в другой — блеклый полусвет едва пробивается на улицу в мутное оконце, и лампадка теплится перед иконой, накануне дня ангела хозяина.

В плохой, ветхой избенке ставни притворены и кое-как приперты, а в щели виден свет. На столе нагорелая сальная свеча, которая как-то не подходит к голым стенам и пустодомству, а будто занесена со стороны. Распустив локти и положив на них взъерошенную голову, оборванный мужик храпит, а на печи слышен удушливый кашель старухи. Дверь тихо, осторожно отворяется, и входит низенький, острорылый цеховой, похожий на вороватую крысу, с ношей в мешке под мышкой. Он ремесла, кроме воровства, никакого не знает, а побыл в работниках у какого-то печатника, в городе, в цеховые же попал потому только, что неволят куда-нибудь приписываться, так жить нельзя. Он растолкал спящего, заперши наперед двери за собою на крючок, и они стали перешептываться, покашиваясь на печь.

Бабушка Михайлы, пустодомного хозяина, который с похмелья тарачил сонные глаза на прищельца, не спала или проснулась, и молча глядела на них, спустив ноги с печи. Покачав головой, когда внук взглянул на нее исподлобья, она сказала старческим, дрожащим голосом, в котором однако же слышалась твердость души и последнее, неизменное слово:

— Михайла, ты что это опять затеваешь? Этот зачем опять бродит около тебя по ночам? На доброе дело, небось, сходитесь? Мало тебе того, что полтора года просидели вы с ним в остроге, еще хочется? А бог-то что? Был ты человек, как и другие люди, сватажился ты с этим, с нами крестная сила, и пропал ты, и с головой своей! Ни богу свеча, ни черту ожиг...

Михайла очнулся, и перебив бабуку свою, на слепоту которой негодяи понадеялись, стал грубо с нею браниться: цеховой тотчас вмешался пролазчивым, тонким голосом своим, устраняя Михайлу и стараясь уgomонить вышедшую из себя старуху:

— Ты, бабушка, молчи, молчи, — щебетал он и резко, и вкрадчиво, и ядовито: — ты молчи, все помалчивай, молча легче, не твое это дело, дело мужское, наше, промеж себя, а ты знай все, сосновый сарафан поминай, ведь не два века тебе жить на свете...

— А ты бы наперед научил Михайлу пришить меня, старуху, да выкинуть вон, — отвечала она, — так вот бы и простор был в пустой-то избе, в голых стенах, и делали бы, что хотели; вдолге ли, вкоротке, а всем там быть, в сосновом сарафане, да каково душеньке-то вашей будет? Ты куда Михайлу-то за собой тянешь, в петлю? Миша, вот тебе последнее слово: развяжись ты с бесом этим на сей час, вот с места не сходя, и покинь это дело; ты думаешь, слепа и не смекаю? Покинь, брось, перекрестись, да выгони его; ты слышишь, что ли? Говори, отрекаешься, аль нет?

— Сиди, молчи на печи, — отвечал тот злобно: — не твое дело!

— Попутай же тебя господь, — проговорила бабушка мужским старушечьим голосом: — попутай тебя через хранителя твоего, архангела, а мне под одной матицей с разбойниками не быть! Не будет же тебе покою, ни живота, ни смерти, покуда не рассыплется прахом последний клочок твоего окаянного дела! Спаси, господи, погибшую душу!

Она слезла с печи, щупая вышла из избы в сени и на улицу, и побрела по селу, думая, куда теперь идти, где приютиться, не слыша на себе и холодного ситничка, который моросил перед рассветом.

Цеховой махнул рукой вслед за старухой, запер опять дверь на крючок, и оба принялись за дело. Делом этим в городе цеховой заниматься боялся, да у него же и не было там своего угла; ему при том нужен был и помощ-

ник, и человек для сбыта товара, нужен был и темный, глухой угол, где он днем не показывался, и где бы его никто не стал искать; для всего этого он приспособил себе Михайлу и его пустую избенку, где, кроме слепой старухи, никого более не было. Снаряды, которые он принес в мешке, лежали у него зарытые в лесу, а кое-что было спрятано и у Михайлы, в хлевочке, в котором давно уже не бывало ни одной шерстинки. За ночь у них поспели по две серенькие на брата, то есть по две пятидесятные бумажки, а снаряды до свету убраны были по местам, и цеховой исчез из села, будто никогда и не бывал там.

И пойдет проклятый лоскут этот по всей Руси, на горе и на гибель многих. Где полежит неузнанным и таким же уйдет; а где, наткнувшись на улику, схоронится, притаится, и после многих проклятий найдет-таки рокового, который поплатится за простоту свою, и в свою очередь, не чая в том греха, охая и вздыхая, станет соваться с ним во все концы, покуда не свалит беды своей на чужую шею. Как жгучий уголь, как червь, как шашень протачивается этот лоскуток сквозь целый ряд неповинных, покидая на каждом следы своей злобы и греха, покуда наконец опять не наткнется на рокового, который высидит за него целые годы в тюрьме и выйдет наконец оттуда разоренный, без хлеба и одежды, развращенный острожными товарищами. А много ли найдется даже, так называемых, порядочных людей, кои, призадумавшись над такую бумажкой, решились бы истребить ее, чтобы не было с нею больше греха? Помилуйте, да за что же я на себя поступлюсь, ведь не я ее делал, не я виноват, что она мне досталась! Кинуть ее в огонь, — рука дрогнет, сердце захватит, а передать так или иначе другому — на это рука не дрогнет, и совесть промолчит: как она мне досталась, так и ему; как я сбыл, так сбывай и он!

II

ДЕЛО В ХОД ПОШЛО

Какому-то проезжему, в уездном городке, понадобилось разменять крупную бумажку; день был торговый, и его послали на базар; там нашел он мужика, который только что продал барский скот, доверенный ему, конечно, как человеку честному, надежному; дав ему хороший промен, проезжий разменял у него серенькую, работы цехового с Михайлом.

Итак, пошла она, горемычная, по белу свету, как огонь адский, безнадежно заливаемый слезами! Через сколько рук она уже пополам с грехом прошла, этого не знаем, но на сей раз дело оборвалось на бедном мужике; помещик не принял от него этих денег, он же, не зная, как быть, кинулся опять в город, и в простоте своей пошел кланяться по рядам, упрашивая купцов обменять ее, и давал придачи, его взяла полиция, как заведомо сбывающего поддельную бумажку; он даже и не отрекался от этого, рассказывая дело, как оно было. «Мне-де проезжий ее подsunул, я человек неграмотный, темный; барин осерчал, прогнал меня, говорит: где хочешь возьми деньги, да подай; а я кинулся к добрым людям: хоть убытку понесу, говорю, хоть на себя поступлюсь, да лишь бы сбыты!»

Бедняка посадили в острог, и началось уголовное дело об Иване Ефимове, «переводчике фальшивых денег». Может быть, Ефимов, во уважение простоты своей, и отделался бы еще кое-как, но тут случилось вот что: какой-то несчастный чиновник в суде соблазнился серенькою выкрал ее из дела; когда пропажа эта открылась, то пошло об этом следствие, и заведено было «дело о выкрадении из производства кредитного билета пятидесятирублевого достоинства»; это дело пошло, как говорится, кишкой по урядью, а об Ефимове уже и речи не было; он сидел да сидел в ожидании отыскания виновного в выкрадении и самого кредитного билета, который между тем был уже далеко, пройдя через много рук и натворив бездну пакостей.

III

ДЬЯЧИХА

— Да, батюшка, много их стало нонче,— говорил торговый человек в синей чуйке, искусно уставив чайное блюдечко на три сваи, ущемив мизинцем той же левой руки кусочек сахарцу, прикусывая и прихлебывая: — много добра этого, и не знаешь, как остеречься, беда да и только.

— А что за беда,— вмешался обычный трактирный посетитель на чужой счет: — что за беда? Деньги нужны народу, а денег нет — ну, какая ни есть, да были б только деньги; коли их много, так стало быть, они ходят, а коли ходят, так и ладно! Почем я знаю, какие они?

— Спуста говорить изволите,— отвечал тот: — дело страшное по себе, а еще на ком так ли, сяк ли оборвется,

тот-то за что муку принимает? Вот послушайте, милости просим, присядьте к нам, не угодно ли чайку, вот послушайте, что мне недавно довелось видсть. В день великомученицы Екатерины женины именины: надо в церковь сходить, да ей нельзя: бабушка еще с постели не спускает, рученец не вышел; ну, говорю, бог простит тебя, а я-де схожу, помолюсь и за себя, и за тебя. Пришел, церковь пуста, народу, почитай, нету, и священника нет еще, одни колокола поют. Слышу, в холодной церкви, в приделе, не то плач, не то причитанье; хочу заглянуть, а навстречу мне здоровая, плечистая баба, под большим платком, идет, словно бежит, и качается, и спотыкается, вся трясется, ни на кого не глядит, словно и глазами не видит, да перед царскими дверьми бух, растянулась крестом и завыла опять: вопит и слова не молвит. Знать, сердечная, сына поставляет на службу, подумал я, а дело было вот в набор; тут опять она вскочила да к местному образу, да опять бух перед ним и заголосила, да оттуда ползком к образу богоматери, да подняла тебе голосом выше колоколов! Полежавши тут, опять вскочила; опять побрела в холодную; жалко стало ее; я за нею: чего, мол, тетка, так убиваешься? В божьем доме, во храме, милосердие и успокоение удрученных; ты людям скажи горе свое, господь через людей помогает! Ну, так-сяк разговорились, она мне и кажет из платка серенькую, в 50 рублей: «Вот, говорит, злодей-то истинный что сделал надо мной!» А у самой руки и ноги дрожмя дрожат: «Вот сироту-то убил! Копила, копила из крох, припасала на сыночка, на пору, как в семинарию везти надо будет, ведь без этого у нас не принимают, да и одеть его надо, ну, и пришла, и привезла, и не берут: бумажка то не годится! Вот он, злодей, что сделал! Сердце вещун, ведь говорила я Павлу Митрофановичу: не меняй, не отдавай ты преосвященного благословения, не бери ты от кабачника грешных денег, проку не будет»... И завыла опять голосом, припав на руки, и закрутила бедовую головушкой... Стой, мол, тетка, не вой, послушай ты меня, не вой: служба началась, а ты зайди ко мне после обедни, вот за углом, Мякушкина дом спроси, всякий укажет, заходи, а теперь угомонись! Сидим мы этак после обедни за чаем, говорят: баба пришла, дьячихой называется, — ну, давай ее сюда, в свят день нужного не забывай. Гляжу, дьячиха моя маленько повеселела; за половину взяли, говорит она шепотом, сбыла; да еще и богу славу воздала, за такое дело! Как быть, она, сердечная, чем виновата! Ну, говорю, быть так, другая половина за

мною, тетка. садись, чайку выпей, да Расскажи все, что и как было, благо беда миновалась. Вот она и начала.

«Облепиху, чай, знаете? Ну, народ все, почитай, морд-ва, бедность, русских настоящих мало: батюшка вот, да мы, дьячок Павел Митрофаныч; живем в нужде, трудимся, рук не покладаючи; иную пору за крестины и попу-то пару лаптей поднесут, а нам что достанется? Мы, вишь, всей семьей зайчины выделываем, шубки набираем, а старшая дочка вязеньки вяжет, значит, на теплую обувь, так кормимся; иную пору и жаль малых-то: маменька, шейка от этой работы болит, а пальцы все спицами отбило; да делать нечего, потрудись, говорю, бог труды любит, отца пожалей, а вот подрастешь, ситчику на московский сарафанчик куплю. Ну, вот один-то раз я, у окна сидя, подбираю зайчину, глянула, попадая по воду пошла, и говорю доченьке: ступай-ка и ты, Пашутка, с ведерками, поразгуляешься маленько; глянула еще, что-то больно тихо, не весело идет попадая, ну, мол, знать, опять у них не ладно; я, сударь, вот и дьячиха, а не позавидую ей — также житье; и подумала, хоть поразговорю я ее маленько, и сама взяла ведра, и пошла за нею; поклонились мы, а у нее слезы, что твой горох, так и сыплются! Ну, вот мы, поговорив, да потужив с нею, идем от воды-то, глядим, карета едет и прямо-таки к церкви: тут два монаха вышли, третьего, добре старого, из кареты под руки принимают, ведут на поповский двор, а тут им поперек встречу попадая моя с ведрами, а я стою, гляжу; уже признала ль она его, аль вешее заговорило, только задрожала она вся, да так с полными ведрами в ноги ему и чебурахнулась, и окатила их всех! Владыка это, — ахнула я, — светы, владыка! Бегу домой, ан словно вот ноженьки спутаны, ни с места! Митрофаныч, преосвященный! А он только выпучил на меня глаза; аль застыл ты, — кричу я, — слышь, владыка у попа! А сама хватъ-похватъ зайчину-ту, лоскутья, обрезки, — я хватаю, а она валится из рук! Пашутка подскочила помочь, а пылица-то, пылица в избе так столбом и стоит!

«А где дьячок?» — словно страшную трубой раздался голос, а я и не слыхала впоыхах, как дверь отшатнулась! Гляжу, владыка в дверях! Дьячок мой в ноги, я с ребятишками туда же, того толкну, этого пихну, а малые-то в рев, перепугались, — глупы еще, а пылица-то, пылица, так вот туча тучей из угла в угол и суется!

«А вставай-ка, дьячок, говорит владыка: у попа и у вас не здорово; погляжу я на тебя, как тебя ноги держат! Как вскочит мой Митрофаныч, да прямо перед владыку

рожей-то, и дохнул на него: а в моем-то спокойю и духу хмельного не бывало; я, говорит, преосвещеннейший, от роду родясь окаянного в рот не брал, и зарок родительский на это принял. Ладно-де, доброе дело, говорит владыка, коли завет родительский помнишь, да с попа своего образца не берешь. Ну, дьячиха, говорит, унимай ребят своих да принимай гостя!

«Ах ты кормилец, нешто заправду? И что за благодать, владыка у нас в дому! А дом-то, словно на грех, весь крошевом зайчины, обрезочками завален, по полу-то рубежок на рубежке, вишь, малый да подмалый тюфяк набивали, да так все и покинуто, и убрать не успели! А владыка говорит: «это-де не сор, коли он у вас на дело идет, а добро; я люблю, коли кто работает, даром хлеба не ест». Я туда-сюда, за самоваришком, а он сел на крылечко, да распытует Митрофаныча: каково живете, да чем промышляете, а мой-то ему, что богу, открываться, вот так и так, приход бедный, и попу-то едва на хлеб достанется... «А на вино достается?»,— перебил его владыка... Мой-то так и остыл, и язык прикусил; «Ну, говори, говори»,— сказал владыка. Скорняжим намале, преосвященнейший, а девчущки, старша, да подстарша, вязеньки, теплу обувь купцу поставляют, а сынок с середнею помогает мне подбирать; этим, благодаря богу; кормимся. «А много ли, — спрашивает владыка, — в год заработаешь? — Да рублей, мол, с тридцать в год наберется. — «Ну, не много же!» И то славу богу, где больше взять, ныне промыслы-то не велики! — Вот он и чаю у нас покушал, да еще, благословляя, двадцать пять рублей пожаловал, что инно испужались мы с Митрофанычем за такие деньки! И речи все говорил тихие, да внятные, просто приехал нежданный, уехал желанный, словно сон какой, что и после-то мы еле-еле опаматовались! Вот на селе и заговорили, худо-де быть попу, а дьячка, вишь, познал, что хороший человек, и денег дал ему! И услышал это антихрист-питейщик, и ну улещать: ты возьми у меня крупную, серенькую, мне мелочь до зарезу нужна, а ты крупную-то лучше не потратишь, отдавать же тебе ее, как по осени сына повезешь, все одно; а мы, вишь, на сынишка-то, чтобы в семинарию его отдать, давно по грошику копили, это знал злодей, а как владыка подспорил нам, так и с пятьдесят и набралось; и говорила я своему-то: Митрофаныч, не отдавай владыкина благословенья, вези его деньги, от не пришли, пусть же они идут и в семинарию его; может статься, они лучше умилоствят начальство; так нет, мой-то, непростая душа, коли кто

больно пристанет, так он, пожалуй, и рубашку с плеч отдаст! Вот и отдал; я ныне собралась, надо везти в город сынка, и владыка сказал, что надо, и заветные денежки взяла с собой, да по доброму совету роденьки и пошла разменять их; а она, вишь, говорит мне: ты так не носи, все в один раз; может статься, говорит, и поменьше возьмут, а ты разменяй, да как будешь похаживать, кланяться, так помалу и раздавай! Вот пошла, ан мне купцы говорят: не годится бумажка твоя, и не кажи ее в люди никому, попадешься **с нею!**

«Батюшки светы! Как сказали они мне это, так у меня резвы ноженьки подкосились, тут я и покатила у них на прилавок! Они ублажают меня: иди, иди с богом, не вой, беду накличешь и на себя, и на нас, а у меня и ног нетути, как я пойду? Вот, батюшка, благодетель ты мой, и застал ты меня горемычную на молитве, в церкви, а как попала туда, и сама не помню! Душу всю выплакала, так вот и тянут хоть руку на себя наложить, так впору — вон он что делает, некошной-то, соблазнитель, а тут божья помочь, да добрые люди: за половину взяли у меня, да вот половину ты, родимый кормилец, жалуешь, и слава тебе господи, знать, не без добрых людей на свете...»

— Вот с той-то поры,— продолжал купец: — как привел бог видеть это горе, положил зарок: когда бы ни попала, по оплошности, такая бумажка, не пускать ее далее, ни за полцены, ни во что, а спалить ее и вынести убыток на себе.

IV ЗАВЕЩАНЬЕ

Жила в Казани барыня, известная в свое время всему городу и, как говорится, уважаемая, в почете; малый и великий, простой и чиновный, все знали ее только по имени и отчеству, и ниже заглазно иначе не называли, а многие даже едва припоминали прозвание ее; все до того свыклись с именем и отчеством Марьи Ивановны, что, казалось, другой Марьи Ивановны на свете нет, по крайности для казанцев, а прозвание унес с собой в могилу муж ее, без которого она вдовела уже более тридцати лет. Если спросить казанцев по совести, за что она была у них в таком почете, то они бы затруднились прямым ответом, сказали бы, замаявшись: как, за что? Помилуйте, Марья Ивановна? Да спросите кого угодно, кто же ее не знает;

самая почтенная барыня, и у нее бывают, даже сам губернатор бывает, и сама она всегда украшает собою лучшее общество наше! Живет она очень прилично, а Новый Год весь город у нее встречает, Васильев вечер с незапамятных лет у нее празднуется со жженкою и шампанским. У нее большое состояние, муж на хорошем месте служил, чистыми деньгами пропасть оставил ей, кроме двух хороших, незаложенных имений, а она и не затворницей жила, свет любила смолоду, да умела сберечь и свое принажить. Посмотрите, как она и поныне еще одевается!

Казалось бы, чего Марье Ивановне после всего этого недоставало? Живи да живи в почете; она и дожила, правда, до изрядных лет, но пришел и на нее незванный, урочный час, который всякого из нас застаёт врасплох. Новое шелковое платье далеко еще не доехало до Казани, как уже вялый колокольчик под дугой тяжелой почты перезванивал ей отходную, и саван белого атласа заменил это платье.

Прямых наследников не было, но боковых, двоюродных и внучатных, много, и ближайшие скоро съехались. Оказалось, что почтенная старушка никого не забыла, а давно уже написала самую подробную духовную, в которой, между прочим, поминалась двоюродная тетка ее, Анна Ивановна Комлева, которой главная наследница и душеприказчица, племянница покойной, должна была переслать «приличную сумму», а сколько именно, — не сказано.

Эта приличная сумма долгонько беспокоила наследницу, которая никак не могла напасть на такую цифру, которою бы она сама в душе была довольна. Ей сперва все мерещились тысячи, потому что итог полученного ею самою наследства безотвязно становился перед глазами ее рядом с отыскиваемой приличною суммой; это невольно путало и сбивало ее, и всякое соображенье терялось. Две докучные цифры эти, одна возлюбленная, другая ненавистная, как будто перекачивались перед нею на весах, и только что она, горячим сердцем, вспомнит одну, как другая, неизвестная, потянет вниз, наследство уходит в гору, и бедную обдает мертвым холодом! Исподволь она стала убеждаться однако, что все это был один только пустой страх, и что тут дело идет не о тысячах, а много, много о сотнях. Да почему же и о сотнях? сказала она вдруг: где это написано, и с чего же я, дура, взяла, чтобы Марья Ивановна подарила внучатной тетке своей, которой и в глаза не видывала, такие деньги? Сто рублей — это очень приличная сумма, когда ничего не ожидаешь и не в праве ожидать,

и более этого сама Марья Ивановна, царство ей небесное, никогда бы ей не подарила; если б она хотела подарить ей больше, то почему же бы она не сделала этого еще заживо?

Вспомнив однако, что времени прошло много, и что пора бы развязаться с этим делом, она встала, отомкнула ларец, и вынув оттуда особо завернутую бумажку, стала ее рассматривать. Эта бумажка, серенькая, пятидесятиная, досталась покойнице при продаже шерсти, но сбыть ее она не могла до самой смерти, куда ни совалась, и ее нигде не принимали. Она отложила ее в запас, до удобного случая, надеясь, конечно, что она представится, и вот она досталась на долю этой наследницы, которая и в свою очередь успела дознаться, что бумажка не хороша. Это придирка плутов наших, купцов, думала она, вертя ее в руках: чем она не хороша? Бумажка, как и всякая другая, и покойница, конечно, приняла ее в полной цене, чему я не виновата. И не долго думав, она решила не только, что именно эту бумажку и должно послать двоюродной тетке Марьи Ивановны, по завещанию, но даже, что этого с нее будет, и что 50 рублей сумма весьма приличная. И бумажка даже не моя, подумала она еще, оправдываясь глаз на глаз сама перед собою, а истинное наследство, по завещанию; своих денег я ей посылать не обязана.

Договаривать ли еще, что пошевелилось в душе этой стотысячной наследницы, томившейся над мыслью, что придется послать тысячу рублей, решившей после долгой борьбы, что и ста рублей, для успокоения совести, будет достаточно, убавившей и эту приличную сумму на половину, и наконец, заменившей и половину подложными и негодными деньгами? А вот что: отсылая, наконец, эти названные 50 рублей, ни ей самой ни другому непригодные она, однако же, и об них пожалела! Ну, быть так, подумала она, все-таки две беды сбыла разом: и с завещанием развязалась, и худые деньги сбыла — на совести полегчает!

V

ДОМИК НА ВОДЯНОЙ УЛИЦЕ

В опрятном, новом городке Елизаветинских времен, перенесенном трижды с места на место, в переулке Водяной улицы стоял сильно развалившийся домишко; половина крыши упала на подволоку, долгое время торчали со сте-

ны подгнившие стропила и, наконец, пошли на дрова; труба торчит высоко, и будто другая половина крыши об нее уперлась и ею держится; домик сильно перекосило, он одним углом ушел в землю; наружных дверей или затвора при них не было вовсе, а вместо крыльца подставлен был под порог старый ящик; огорожки, забора никаких, один заглохший пустырь, а два столба служили представителями ворот. Но когда проходящий с удивлением взглядывал на окна, не чая, чтобы хижина эта могла быть жилою, то он встречал уютные окошечки, с оконницами радужных цветов, за коими сквозили белые занавесочки и цветы, хоть это и были только герань, капуцины и бальзаминны. Раз десяток уже, в разные года, писался на этой черной избенке мелом, аршинными знаками, следующий за тем год, как крайний срок, до коего развалина эта могла быть терпима, и десять раз уже непогоде исподволь смывало эту роковую надпись, и все оставалось по-старому. — А что ж, батюшки, ломайте, — говорила тихая хозяйка, когда к ней приходила полиция с этою угрозой, — ломайте надо мною, я никуда не выйду, мне выйти некуда, только меня не убейте. — Да лачуга ваша скоро сама вся развалится и вас убьет, — говорили ей; но и на это был один ответ: — А уж это, батюшка, божья воля, с богом не поспоришь.

К развалинам этим местные жители давно привыкли и по временам заходили только в переулок взглянуть на них, стоят ли еще сами стены. А в свое время жители вновь заложенного города и всей окружности его: казаки, башкиры, татары, киргизы сходились дивиться на дом с пяти окнами, который казался им палатами. Закладка города началась глубоким окопом его, для защиты от внезапных набегов, и один только окоп этот удержал в свое время и Пугачева: разбойники берут расплохом и на приступ не ходят. Итак, жители и полудикари сходились в былую пору дивиться на один из первых порядочных домиков новой крепости, с крылечком под резным навесцем и другими причудами и украсами. Это было жилье капитана, правой руки коменданта, некогда одного из чудо-богатырей Суворова; у него все делалось мигом, как в сказке у Ивана-царевича, и мигом у него домик поспел, куда приютить надо было молодую жену, которая жила дотоле в стоявшей невдалеке киргизской кибитке. Но он не дал совершить и покрыть своего дома, покуда не была совершена единая в окружности сотен верст церковь. На робкое замечание жены, что ребенку, Аннушке, становится холодно в кибитке, что зима на дворе, а она, здесь, говорят, бы-

вает суровая, кибитки горой заносит снегом. на это он отвечал стихом псалма, громким, твердым, но теплым голосом: «Не взойду в шатер дома моего, доколе не найду места господу, жилища крепкому богу Иакова!»

И ударило клепало, и загудели колокола, раздался первый балговест над Яиком-рекой, звон которого местные народы не слыхивали и дивились ему, широко разинув рот. Звонком этим сказалась охрана господня над всею обширною страной, а сила русская вторила ему гулом пушек.

«Здравствуй трижды зачатая, единожды рожденная твердыня, русский город: век стоять тебе покровом и оплотом ширить могучие крылья свои!» — так проговорил капитан звучным голосом, перекрестясь и кланяясь на все четыре стороны. «Ну, матушка-сударыня, — сказал он, пришедши домой, — вот теперь черед и нашу крышу крыть». И это дело мигом у него поспело, и крыша, с резным гребнем, со шпильями на нем, с конями по концам конька, была таким же дивом для кочевых дикарей. Бьют скот за раскатами крепости, быков для русских, лошадей для башкир, баранов для киргизов, будет туй, пир про весь мир, капитанский дом светят. Капитанша с утра нарядилась в шелковое фуру, установив прическу в поларшина, убрала голову шелковым белым флером с серебряными мушками — и снует хозяйскою по дому и по стряпушей; в кибитке, супротив входа, на ковре, Иванушка, прозванный Скобушкою, любимый денщик капитана, присев на корточки, охорашивает Аннушку, доченьку его; он повязывает ей на шею жемчуги; подскочив на ноги и разводя руками, он вскрикивает: «Ну вот, теперь настоящая бригадирша! Вырастешь велика, право слово, за бригадира отдадим, а ниже ни ступени!» Девочка стрелой пустилась в новый дом.

Молебен с водосвятием кончился, полковой священник окропил весь дом, даже всходил с хозяином на крышу и, стоя там, на народном помосте, сказал: «Мир над домом сим!» Поклонясь ему в пояс, капитан тут же прибавил громко: «Храни его господь от огня и воды и всей силы вражеской — стой навек нерушимо!»

И простоял он с Елизаветинских времен до наших, как мы сами его видели и как выше описали. В это время жила в нем одинокая и беспризорная старушка, маленькая и худенькая, вот она, укутанная с головы до ног в старый драдедамовый бурый платок, тихо пробирается по забору к одной из подруг своего детства. Кто бы узнал в ней резвую красавицу, коей весь новенький Оренбург покло-

нялся, за которою ходил денщик Иванушка — один из храбрейших генералов наших, у которого, под конец службы его, из десяти пальцев на руках оставалось только три, ту самую Аннушку Комлеву, которой этот доблестный слуга пророчил бригадирство? И ничего не мог узнать об ней этот верный слуга и старый друг Комлевской семьи, хотя комендант Петропавловской Петербургской крепости, Иван Никитич Скобелев, и не один раз писал в те края запросы, не оставалось ли де кого в живых из семьи капитана И. М. Комлева, не была ли дочь его, Анна Ивановна, замужем, и нет ли в живых хоть внуков Комлева? Но отовсюду был один, принятый полицейскими письмоводителями ответ: «таковых на жительство не оказалось». Отзывы эти писались, и не читая даже сыскной статьи, а лишь бы отписаться, почему, между прочим, у нас и Людвига Наполеона на жительство не оказалось: после разных неудач его и ухода из тюрьмы, разнесся слух, будто он хочет искать счастья или приюта в России; велено было дать знать в пограничные губернии, чтоб его не впускать, в числе пограничных считалась и Оренбургская, куда также дошел об этом циркуляр; губернские ведомости припечатали об этом на отдельном листке сыскную статью, которая воротилась из Троицка или Верхне-уральска с надписью на обороте: «оный Людвиг Наполеон на жительство в сем уезде не оказался».

Анна Ивановна Комлева была еще подросточком, когда отец ее был услан далеко куда-то по службе и пропал без вести; мать зачахла с горя; к сиротке приехала на житье из Свияжска тетка матери, своеобычная, безграмотная старуха. «Тебе, матушка-сударыня Аннушка, не подстать знаться с какими-нибудь поповнами,— говаривала бабушка внучке, когда та, на пути с нею в церковь, раскланивалась с соседками,— «ты, сударыня, должна родителей своих почитать и помнить; батюшка твой, кабы жив был, чай, бы теперь уж и бригадиром был — значит, первым человеком в Оренбурге, и тебе бы здесь ровни не было; да и матушка твоя, царство ей небесное, не из мелкой сошки какой, а столбовая была, род наш в золотой книге писан, а книга эта в царевых покоях лежит, под алым бархатом». — И в подобных поучениях заключалось все уменье бабушки воспитать внучку свою. К счастью добрая природа Аннушки понимала наставления эти по-своему: страстно любя родителей своих, смысленая, остроглазенькая девочка все это относила к ним, а сама оставалась все тою же, каждое подобное слово вызывало в памяти ее облики отца и мате-

ри, коих она помнила, его — в шитом золотом мундире, отдающего громким голосом приказания, а ее — величавую женщину в абрикосовом обьяринном платье с долгим хвостом, в жемчугах и алмазах; девочка жадно слушала почет и хвалу отцу и матери, карие глазки ее разгорались, высоко подымалась головка ее, и в сердце не было ровни родителям ее. Так она росла и расцветала в простоте сердечной; бабушка приискивала ей в жизни ровно, чтобы не постыдить роду-племени, а время уходило, и когда старушка закрыла глаза, то большая часть имения была прожита, и Анна Ивановна, с верною служанкой своей, увидели себя в крайней бедности; тогда добрые люди вспомнили о пенсии, один чиновник взялся было хлопотать об ней, забрал все бумаги, какие нашлись, доехал до Казани и помер. Прошли годы и десятки лет, Анна Ивановна состарилась, обнищала вовсе, домишко обветшал, но сама она окрепла духом и умудрилась сердцем; она, в тяжелой доле своей, научилась искать утешения у Того, Кто призывает всех удрученных, и в совести ее развились и окрепли все житейские правила должного и недолжного. Всякое хорошо и худо сказывалось в сердце ее бессознательно, и, не умничая, следовала она этому голосу. Продав исподволь материнские жемчуги и алмазы — о коих, впрочем, было более славы, чем ценности в них — она жила, одному богу известно как; находились скромные датели, умевшие безобидно наделять нищую, которая никогда и ни у кого не просила. Выедет бывало, помещик на поля свои, поглядит на золотую пшеницу, коей колосья грузно колышатся ветром — весело глядеть ему на это золотое море, тепло и радостно станет на душе. «Господи, — скажет он, перекрестясь, — двадцатую долю урожая отдаю на неимущую братью!» Позднею осенью потянулись обозы с хлебом в город; смотришь, один воз отделился на Водяную улицу, заворачивает в переулок, и прямо на разгороженный двор, при записочке: не побрезгать домашним гостинцем от старой приятельницы; тут шлют и другие разные припасы, что могут сохраниться на зиму; а другой добрый человек, простой, необоротливый хозяин, которого имя и поныне носит подгородная роща, шлет запасец дров, и еще сам забежит украдкою на открытый двор, взглянуть, есть ли, полно, еще у Анны Ивановны топливо, и не растаскали ль его соседние татарчата. Затем, были у нее еще и козы, кои, не по местному обычаю, шатались зиму и лето по городу и слободке, не требовали корму, а на ночь приходили домой; они кормили хозяйку молоком и приносили ей

свой пух, из которого старушка прилежно вязала ценные платки и косынки.

Но и в эту пору нужды и горя Анна Ивановна, по большим праздникам, являлась чинно и степенно в устроенную отцом ее и украшенную прикладами матери ее церковь; благовест раздался, она встала, за третьим ударом перекрестилась, вышла, осторожно ступала с порога на ящик, чтоб он не покачнулся под ногами, а с него наземь — и вот она пошла мерным шагом, в голубом обьяринном платье своей матери, которому уже за полвека, в коричневой, мелкотравчатой епанечке, с высоким и широким черепаховым гребнем, под белым шелковым флером, завязанным под бороду; все с уважением смотрят за нею вслед; она чинно раскланивается со знакомыми, степенно принимает приглашение на чай, и, продолжая путь свой, набожно входит в церковь, где становится на колени перед матернею большою иконой и уже более не слышит и не видит ничего, до самого конца службы.

При выходе из церкви, один, потом другая, там третья, подходя к Анне Ивановне, с участием и осторожно стали спрашивать ее, можно ли поздравить ее, будто бы-де она получила какое-то наследство от двоюродной племянницы, из Казани. Старушка с достоинством дивилась такому слуху, уверяя, что ничего о том не знает, но, придя домой, встретила выбежавшую к ней на улицу радостную служанку, с почтовою повесткой на 50 рублей. Наследство не большое, но при этой нищенской бедности оно показалось Анне Ивановне громадным богатством. Вскоре избушка наполнилась доброжелательными поздравителями, и старушка, став разговорчивее, беседовала о нужде своей, о нежданном пособии, и о том, как она вычинит провалившуюся крышу свою и промшит к зиме всю лачужку, советуясь о возможности выжеровать ушедший в землю угол и повыпрямить перекошенный пол.

Молва об огромном наследстве Комлевой, которая разнеслась, как все новости и вести, с почты, все еще кружила по городу в разных видах, когда уже в лачуге этой богатой наследницы делалось совсем иное: там опять было несколько близких ей людей, пришедших порадоваться нежданному счастью и сидевших, повеся нос, в недоумении, что говорить и советовать хозяйке, и чем ее утешать. Бумажка оказалась негодною; это была та же самая серенькая, которая стряпалась под проклятием бабушки, ушедшей скитаться по миру из родной избы, та же самая, которая досталась было дьячихе, и, отданная за полцены,

дошла воровски до Марьи Ивановны, в Казань, а теперь, через племянницу ее, как приличная сумма, досталась бедной Комлевой.

Поздно вечером, при нагорелой свече, Анна Ивановна сидит задумавшись со злыдарною бумажкой в руке; не послушалась она совета попытаться спустить ее за полцены, и также сама рассудила, что писать об этом в Казань будет напрасно: кто докажет, эта ли бумажка вложена была в обертку, или ее подменили тут или там на почте, или наконец у нее в руках? Сколько людей тут попадет в допрос, а может быть и хуже того, коли дело пойдет по суду, — пусть же злое дело потонет навеки; жила я доселе без этих денег, проживу и впредь. Бог не оставит.

В сумрачной избушке вдруг вспыхнуло яркое пламя, и зарево слегка осветило улицу сквозь широкие щели ветхих ставень; человек, стоявший у ворот насупротив, подошел взглянуть, не загорелось ли что у Анны Ивановны, но убедившись, что там все тихо и спокойно, побрел опять на свой двор. Ржавые съемцы погасили огарок, три земные поклона закончили день этот; все затихло в лачужке, и горе-горькая обиходная жизнь водворилась в ней по старому порядку — хотя уже ненадолго: елей догорал.

VI

РАЗВЯЗКА

В тюремной больнице метался на кровати горячечный и все лез на пол, для прохлады; при нем сидел сердобольный товарищ, уговаривая и удерживая его.

— Баушка, родимая, — бредил больной: — стой, баушка, ты не надевай сумы, не кляни ты меня, грешно, ох, тяжело, глиной завалили меня, душат все, огнем палят, это злодей мой, цеховой, вишь, вон он, вон опять жару в поле принес... Баушка, по локоть обе руки себе отрублю... — И рванулся опять с кровати.

— Ты лежи, лежи, — уговаривал его другой: — лежи, читай богородицу: легче станет; божья воля, надо терпеть; что я, что ты, — понапрасну сидим, да что делать? Тебя подвели недобрые люди, подсунули окаянную бумажку, и надо мною тот же грех случился. Делать! Кто ее сделает, как ее сделаешь? Отвечать мы с тобой богу будем, ты не бось: он разберет все, до ниточки; а тут, стало быть, надо умирать нам в нужде, в муках...

— Глиной задушили меня, огнем тот палит, — продолжал в бреду первый, болезненно скорчив лицо и порываясь

вывернуться: — ты вздохни, вздохни, баушка, тяготу с меня, сыми, ну... в церковь? Пойдем, и меня возьми с собой, я ведь Мишутка твой, знаешь?.. Под глиной-то ворохнуться нельзя, задушило...

Так сошлись в остроге злыдарный Михайла с тем несчастным мужиком, который продал барский скот на торгу и выменял у проезжего роковую серенькую. Михайло уверял всех, что попался за чужой грех с бумажкой, которую ему подсунули, и тот верил ему, нисколько не подозревая, что сам сидит за дело своего товарища! После двукратного покушения на самоубийство, Михайло впал в горячку; ночное пламя, вспыхнувшее в бедной оренбургской лачужке, разрешило бабушкино проклятие: Михайло испустил дух на руках у товарища, который страдал за него, не подозревая в нем своего злодея. Уничтожение роковой бумажки, смерть в остроге одного из делателей ее и пропая без вести другого как будто развязали дело, и бедняк, утешавший Михайлу, как умел, в смертный час его, был также напоследок освобожден.

2) САМОРОДОК

Умный мужик Меркул Артамонович, — это говорят все; своеобычен он, и норовец есть как есть, не согнешь его, а дельный и умный мужик; он даже и в гласных молча сидеть не согласен, даже секретарю думскую ничего не платит, кроме условной прибавки от всех членов, но за то уж крепко надоедает ему, потому что лезет сам во всякое дело, судить, и рядить, и ни одного журнала не подпишет без своих оправок и отметок против дела. «Этого нельзя, того не хочу, не подпишу, неправо это», так то и дело раздается голос Меркула Артамоновича в присутствии, и секретарь, а иную пору и сам голова, не знают куда деваться. «Не верю я твоим золотым очкам, кричит он, и родному брату не поверю, свой глаз смотрок; свой глаз алмаз, а ты в стекло глядишь; подай дело, я сам дочитаюсь в нем, чего нужно мне, а тут что-нибудь да так; ухом слышу, что фальшь есть в этой песенке, что-то рознит тут в одном месте супротив коренного ладу. Законы подводить ваше дело, вам и книги в руки, а уж рассказать дело-то по правде и мы сумеем, это не штука!»

Беспокойный человек, нечего сказать; с правдой своей, как оса в глаза, так и лезет. «Да вы меня выпустите вон отсюда, — обратился он однажды к голове, — вы на что меня сюда посадили? Не гожусь я вам, — и выпустите, а я по-

клонюсь!» — Да вы бы, Меркул Артамонович, хоть иную пору больным сказались, да отдохнули бы, ну, и не мешали бы дело делать, и ответу бы никакого на вас не было, — сказал ему на это голова, подумав про себя: «Ведь это гиря привесилась ко мне на шею». и взглянув на него искоса, передумал и поправился: «Какая гиря, — целая баба копровая, тридцать пудов будет в мужике, и орет-то, словно сваи бьет с нагалу!»

— На что больным сказываться, — отвечал тот. — Господь смилуется, так и совсем приберет, а поколь грехам терпит, здоровье дарует, грешно прихляться, на бога клепать, покарает он за это; я не напрашиваюсь на дело ваше, и своего много, некуда деваться, надо обществу послужить, чтобы не стыдно было доброму человеку в глаза взглянуть; ведь этак-то, как все мы станем больными сказываться, и мы-то, мелкая сошка, и вы, под конец, так кто же будет рядить да править, кто станет на мир дело делать?

«Небось, не скажемся, а сделаем без тебя», — подумал голова, но, промолчав, только вздохнул.

— Все одно, солгать надо, — продолжал неугомонный Меркул Артамонович, — все одно солгать, что вот с вами душой покривить, что отойти от греха да больным сказаться, все перед богом согрешить, солгать!

В торговле Меркула Артамоновича уважали, слово его было крепко, подвохи никакой, барыши и наклады свои он носил на ладони, не таил ни перед кем, но дела делали с ним осторожно, чтобы все было выговорено рядою; а порядился у него, по рукам ударили, так кончено, проданся, и хоть в петлю лезь, а ему свое подай, и против уговора, как он сам его честно понимает, ни на пядь. «Ну, это кремь, — говаривали те, кои делали дела на авось, — с ним смотри, поберегайся: он и шкуру сдует после, не что возьмешь! У него, чего рядой не вырядишь, того после руками не выробишь!»

Обороты Меркула Артамоновича были довольно обширны, и, надо полагать, верны, иначе бы простой мужик, без состояния, не наковал себе кулаком такого богатства. Не одна сотня тысяч перевертывалась у него в год, и подонки садились от них порядочнее. Во всяком случае, и самом сложном, обороте, у него, не задерживая беглой речи ни на минуту, был на язык и весь расчет, и сказанные им однажды цифры стояли, как выкованные из жсеза, нерушимо.

— Язык мой — враг мой, наперед ума глаголет, — отвечал он не один раз на безрассудное, по-видимому, выгодное для него предложение, — ты дома-то наперед смекни на свободе, что говоришь, тогда приходи: а этак-то один из нас в дураках будет, не годится.

Божбы и клятвы он насмерть ненавидел: как только, бывало, человек, в сделке какой, станет божиться, так Меркул Артамонович, протянув руку, сразу остановит его. — Не божись у меня, кто побожился, тот соврал; на правду немного слов, а разговорчива кривда. Ты знаешь ли, на кого шлешься, — сказал он однажды в негодовании, — ты понимаешь ли, что язык-то сорочий лепечет? Ведь ты, солгав, и на своего-то брата пошлешься только на мошенника, а на путного послаться не посмеешь, так ты что с богом-то делаешь?

Но человек, а тем паче самородок, разнообразен природой своей, нравом и свойствами, и для правдивого очерка этой замечательной личности надо проследить ее и в других положениях и отношениях. Сделаем это двумя только чертами, представив два случая из жизни Меркула Артамоновича.

У него было два дома, на двух концах города; в одном, большом, с огромным садом, жил он сам. Домашний быт его был таков, как всегда почти у людей простых, стойких, разбогатевших в крестьянстве и этим выдвинутых в городское, даже столичное общество: хозяин полновластный господин, чада и домочадцы в полной покорности, или разлад неминуч, уступки и середины нет; на дела строгий, нерушимый порядок, на все урочный час — в мелком хозяйстве дело идет иную пору через пень в колоду, в доме грязновато, особенно на задах и в углах, а что на виду, то позолочено. Золото и в грязи видно, дело-то и закрасится.

При этом доме был у него сосед, также точно, как и сам он, вышедший из крестьянства, но дошедший тогдашними откупам и иными оборотами до громадного состояния, так что давно уже писал истинник свой семью цифрами. Этот держал и вел себя иначе: вступив в образованное общество, он сразу усвоил себе весь быт, обстановку и внешность этих сословий, доказав тем ничтожность таких внешних прикрас, наружного лоску, коим мы столько гордимся. Тщеславие этих двух людей, если позволено так выразиться безобидно, не умаляя их достоинств, было противоположенное: один, вступив раз в этот круг людей, ничем не хотел розниться от них, а быть между ними дома

и на своем месте; другой, по черствой, негибкой, грубой по внешности природе своей, отстаивал свой старый быт и привычки, считал себя довольно сильным, чтоб удержать свою независимость, не покоряясь обычаям, кои были бы ему в тягость, почему он и презирал их. Тот, с миллионами, спокойно и со скромным самодовольствием наслаждался своим положением, не опасаясь соперников, со всеми в светской дружбе, везде на своем месте,—этот с сотнями тысяч, взятыми с бою, стоял на почетно завоеванном месте своем, словно с рогатиной, и знал только свою правду и кривду, свое хочу и не хочу.

У соседа при доме, великолепно, по-барски устроенном, был садик, к которому примыкал вплоть садище Меркула Артамоновича, запущенный, без призору, кроме небольшого участка, где уходом забавлялся сам хозяин, но большой, с вековыми деревьями, из которого, соединив оба сада в один, можно бы сделать славную и потешную вещь. «Сходи-ка от меня к Меркулу Артамоновичу,— говорит хозяин приказчику, стоя у себя в саду на пригорке и глядя в соседний сад: — сходи, кланяйся от меня, спроси повежливее о здоровье его, да спроси, не уступит ли он мне своего саду, я бы не поскупился. «Приказчик, человек тертый, бывавший и в мяле и в пяле, и на коне и под конем, исполнил это очень ловко и прилично, но неудачно.

— Не продам, — отвечал тот сухо, и замолчал, как воды в рот набрал; все лестные убеждения приказчика, осторожно переступавшего с ноги на ногу, могли вызвать из Меркула Артамоновича только вторичное: «Слышь, не продам!»

— Кремень, — подумал сосед: — не сговорчив! Да он, может статься, думает, я торговаться стану, не дам его цены?

— Не впервые ведь мне, — отвечал приказчик, — верьте, что все говорено: и не слушает.

«Странно, подумал тот, сосед. Меркул за копейку держится, не любит упускать ее, кулак зажимист у него, а тут сразу обрезал... да, это норовистая кляча, как упрется с места, так ты что хочешь делай, не пойдет! Впрочем, он цены мой не знает — а то, едва ли устоит. Подождем немало, дадим ему уходить; да сразу и огорошим».

Через несколько времени приказчик является опять к Меркулу Артамоновичу, и на лице его видна улыбка самоуверенности. Вот беседа их:

— Что скажешь, любезный?

— Все на счет того же-с: много кланяться приказали.

— За поклон спасибо, вези и мой назад. Кого, того?

— Да насчет садику.

— Да нешто заложило у тебя, не слышишь? Ведь сказал я: не продам; чего же пороги-то околачивать? Аль вам в жиру-то делать нечего?

— Меркул Артамонович, вы извольте речи мои выслушать, не погнушайтесь, откровенностью, на слове не обрезавайте, по соседской приязни примите во внимание.

— Да чего слушать-то, из пуста в пусто? И не по чину вашему хозяину тянуться за десятинкою с саженьями, плевое дело; ему только что впору Разумовское купить, либо Перово, Кунцево, вот сады по нем, а это что за сад? Это мой, по нашему малому достатку, ну, и не вяжись в него.

— Подходящее дело, Меркул Артамонович, соседское, сами извольте рассудить; вы человек занятой, и по делам своим, торговым оборотам, и по должностям общественным, всем ведомо это, проклажаться некогда вам, потехами не занимаетесь, а делом, что для вас сад? Соседу за хорошие деньги уступить его можно; а угодно — и калиточку для вас сделаем, пользуйтесь сколько угодно, хозяин рад будет дорогому гостю по всяк час.

— Ну пой, пой, ты видишь, я слушаю.

— Да что петь-то, Меркул Артамонович, вы своим умом лучше нашего рассудите...

— А коли рассужу, так чего ж толковать? Сказал, не продам!

— За ценой не постоит хозяин, Меркурий Артамонович...

— Экой ты, да не о цене речь, а о продаже; заветному нет цены! Непродажной вещи какая цена?

— Приказали было тридцать тысяч посулить, — сказал наконец приказчик тихо и скромно, не сомневаясь в силе этого полновесного убеждения.

— А я что с твоими тысячами-то делать буду, есть стану их, что ли? Я теперь выйду в сад, так мне по крайности любо, свое; и на горку выйду, и в беседку сяду, за реку гляжу — ан и любо; эка чем удивить захотели; тридцать тысяч! Он, стало быть, не знает тсго что непродажному нет цены, он деньгами все осилить хочет, и самого меня, пожалуй, купить, и совесть мою? Сосед соседом, а в мой горох не лезь; кланяйся ему, а тридцати тысяч его мне не надо. Прощай.

Ушел тот, как не солоно хлебал, и хозяину его только осталось пожать плечами и махнуть рукой: и дом-то весь, со всем двором и садом, того не стоит, что ему дают за

один сад, а он артачится! Ну, что ж, его воля. Тем дело кончилось.

Теперь перейдем к иному случаю, поглядим на Артамоновича и с другой стороны. Мы упомянули уже, что у него был и другой дом, на противном конце города, и там, конечно, было не без соседей; один из них, недавно купивший дом, счел нужным тотчас же перебраться и вычинить заново забор, который был таков, что воры уже однажды разобрали его и всю ночь шарили по двору. Сговариваться и пересылаться с соседом, жившим вдалеке, было долго, хотя починка забора, по закону, касалась обоих равно, и должна была делаться сообща. Словом, он сделал дело это не откладывая, а соседу, еще не познакомившись с ним, не выдав его в глаза, написал записку:

«М. г. Меркул Артамонович! Пишет вам и просит приязни вашей новый сосед ваш, купивший такой-то дом: общий забор наш рассыпался, и через него меня уже посетили воришки; пересылаться и сговариваться показалось мне долго, а потому я поставил новый забор, 7 сажень, по 5 рублей, всего на 35 рублей; коли признаете дело это правильным, то, надеюсь, не откажетесь принять половину расхода, 17 рублей 50 копеек, на себя».

Через несколько дней Меркул Артамонович сам приехал к новому соседу познакомиться, сказал несколько прямых слов и пожеланий о дружбе соседской, помянул к слову о переходах новокупленного дома из рук в руки, о разных бывших хозяевах его, а потом прямо перешел к делу.

— Да, ну вот насчет того, что вы пишете. Оно, конечно, дело соседское, правильно, заборы сообща, не отрекаюсь; только вот что, ведь вы сделали это не спросясь!

— Правда, Меркул Артамонович, в этом и я не спорю; я же вам и писал, что коли сочтете должным, то примете на себя, по-соседски, половину, а коли нет, то я прямо говорю, судом искать не стану.

— Да, ну, тут судом ничего и не сделаешь, дело любовное; оно так, все так, не спорю, да сделано-то не спросясь; опять я бы столбики-то дубовенькие поставил, оно бы и попрочнее было!

— Да ведь дубовенькие-то пять рублей кряж, оно бы и дорого стало, а, не переговорив с вами, я на это и не решился; уж, кажется, не дорого сделал я забор, и надеюсь, постоит; осмотрите сами, вы дело знаете.

— Оно все так, да не спросясь; а по совету-то бы сделать, оно бы и лучше. Да, ну так вот что: мы однако с вами по-соседски сделаемся, уважить надо новому соседу,

почтение сделать — так вы вот что, вы десять рубликов-то возьмите за заборчик, а расписочку-то пожалуйста мне полненькую...

— Извольте, ---отвечал тот, хотя несколько изумленный, глядя на этого здорового и умного мужика: — так как же ее писать полненькую?

— А возьмите перо-то вот и пишите: такого-то числа и года, от такого-то, за поправку общего, по-соседству, забора, семи сажень, что пришлось на долю его, соседа, получил сполна, — ну, и подпишитесь.

Кинув из одного тщеславия и упрямства тридцать тысяч и здраво рассудив, что не есть же их, Меркул Артамонович в то же время не упустил случая законно прижать другого соседа и нажить от этого 7 руб. 50 коп.

3) Я Н В А Р Ь

(ВАСИЛЬЕВ МЕСЯЦ, СЕЧЕНЬ, ПРОСИНЕЦ)

Вся земля русская — одна исполинская черепушка, вся под одним черепом. Жизнь не угасла, она только притаилась и кипит уютно под мертвым покровом; изредка выглядывает тут и там нечто живое и опять прячется. Не только домашние животные ищут тепла, приюта и корма у человека, и воробей и ворона смиренно забиваются под стреху, молча пыжась, и заяц смело лезет в огород и шарит по гумнам, и лесник-мишук давно уже завалился на боковую, посасывает лапу, да изредка почесывается, будто ему грезится рогатина в боку; один только неладный зверь, волк, рыщет неугомонно за скоромью и, зубы на оскале, нагло заглядывает во дворы или напропалую врывается в жилища. Году начало, зиме середка; перелом зимы уже более часу дня прибавил, а все еще пряльщицам и ткачихам много приходится засиживать при огне, вечерками и до-светками, и ушастый светец не дремлет.

Толста и тяжка ледяная пелена эта, от которой ни живота, ни смерти. Без топора и заступа ни за порог: не расчистив проходу, не подрубив спуску, и скотинки не сведешь на водопой, а уж о проруби, замерзающей через ночь, и говорить нечего; ложись, черпай бадейкой и подноси; у мужицкой скотины ноги что колья, шея в плечи ушла, либо не достанет воды из этого колодца, либо ноги поломают, убьется. Сочти-ка время на ухитку избы, на припаску дров и лучины, про тепло да про свет, время на разгреб снегу, то около дому и ухажей, то на гумне, на току, да расход на

теплую одежонку, о которой на юге не заботятся, да скинь еще с двенадцати месяцев где шесть, а где и все восемь доброй рабочей поры, — так и разгадаешь, с чего хозяйство наше не спорится. Ленъ леню и вино вином, и от них, конечно, подспорья нет, а погоды наше таки само по себе не нашу руку держит.

Ни по ягоду, ни по грибы, ни даже в бор, по сосновые шишки, а таки по снег с лукошками домостройки сходили, накануне Крещенья, для белки холстов по первовесенью. Кто рядился о святках, ходил козой и медведем, давно уже очистился от греха, окунулся с головой на иордани. На Афанасия-ломоноса ворона на лету замерзла, свалилась не каркнув, а воробей, как ни пыжился, ни крепился, отдался заживо в руки ребятишкам, сам залетел в сени, думал отогреться. Ворону отец велел выкинуть на зады, потому что она карга, птица худовещая, и воробья казнили, потому что он предатель, а в избу залетает не к добру, о чем ребятишкам сказано было должное наставление и, под опаской большого греха, не велено было обижать божьих птиц: голубя и ласточки.

Дороги разъезжены — сущее подобие хлябей морских! О шибельках и порожках, выбитых конскою ступней под обозами, по которым едешь, как поперек гряд, и бережешь зубы, уже давно речи нет — пошли нырки на ухабы, в которых в возу не видать, как осядет, а лошадь в гору лезет как из земли и опять ныряет головой в яму; а раскаты знай переваливают возище сбоку на бок, ломая не только оглобли, но и кости бедной лошади, и заворачивая воз поперек дороги; трюничной езды уже нет с Николы: либо бочкой ступай, не то гусем, у кого кони приезжены, а нет, так в одиночку. Трещит, скрипит, а мужик только открякивается да подставляет плеча, не с того, так с другого бока.

А вот и Тимофей-полузимник с Аксиньей-полухлебницей миновали: половина запасного хлеба и корму съедено; половина сроку прошло от хлеба до хлеба, и весна красна: есть, слава богу, и на емины, и на семена, авось дотянем!

Спит и курит и дует — что-то будет. По кличку на зимнюю непогоду нам не за море идти, полевой подбор дома есть: стояла пометуха и понизовка, и тащиha, была и свистуха, и кура, и вьюга, и хурта, и просто держало, то есть стояла плящая стыль, с искрой и с блестякой — там было отпустило, пошла надь и кидь, хлопья с белого воробья, как заметил старик, который охотно поминал, что малым еще видел белого воробья, в коем под старость, став поопытнее и поуменее, стал подозревать оборотня. Повалил

было и лепень, и жижа, и дрябня, оделся было и весь лес в белый овчинный тулуп свой, в куржевину и опоку, да вскоре опять заворотило вкруть, да так, что избенки стали палить по селу, как из пушек, и даже от лаптей скрип пошел.

О эту пору трое мужиков сидели в избе, копаясь кой у чего, при курной, нагорелой лучине, изредка напоминавшей треском своим о трескучем морозе, и вслед за треском взвивалась дымовая змейка под потолок и исчезала. Один из них чинил воробы, коих ждала молодая бабенка, стоя перед ним, поджав руки; другой, помоложе, сучил конский волос на голом колене, очевидно, охотник до уженья; третий, уже середовик, могуч по плечам, ковырял лапти, спокойно выжидая последней зимней потехи своей: хорошего насту, по которому он, что год, хаживал с топором и рогатиной. В избу вошел старик, перекрестился, отдал и принял поклон, перекинул, словно нехотя, немного слов, присел и будто задумался. Лапотник, с кочедыком в одной руке, с чиненым лыком в другой, поднял голову, уставил на него глаза и спрашивал молча: «Что-де у тебя, дядя, на душе?» И тот взглянул на него и заботно, вполголоса отвечал на немой вопрос:

— Да что, опять тута!

— Как тута?

— Так вот, поди — сидит у Никиты, замерз было, говорит, насилу добежал, отогрейте, говорит, да накормите, а ночь дайте переночевать. Я, говорит, хранитель ваш, я оберегаю, не рушу вас — вот и поди с ним!

— Хранитель? — отвечал первый, сжав кочедык в кулаках и покачивая головой: — а кто его наряжал хранить-то? От кого хранитель? От своих же окаянных рук? Пропади он, так все цело будет и хранить-то не от кого!

— Говори вот с ним, что станешь делать! А уж этак, братцы мои, нам с ним беды не миновать; вот еще и ночевать повадится — грех грехом, ну, бог простит, а суд не простит.

— Нет, Сидорыч, не говори, и бог не простит; бог долго терпит, да больно бьет; а ведь и бог через людей милует, через людей же и карает, этого, — с нами крестная сила, — за грехи же наши наслал, а ты думаешь как?

— А я думаю: на милость, на кару власть господня, а уж так ли, этак ли, дело вершить надо. Этак-то нет житья, всем пропадать будет, — пойдем, брат, к Мирону, столкнемся, и Степаныч там.

— Прах его носит, изверга, с победною головой, — ска-

зал лапотник, вставая: — и надо же эту каторгу послать на православный люд!..

И продолжая ворчать в отчаянном негодовании, он оболокся, снял шапку с колочка, и оба со стариком ушли.

Неправду говорят люди, будто от великих порядков просветов нету, ни простору; вот Гришка Моргун живет себе на вольном свету, ни малых, ни великих порядков знать не хочет, сам держит под страхом божьим и своим целую волость, собирает дани и харчем, и деньгами, как понадобится, как следует настоящему начальнику, и пьян, и сыт, и одет, живст безданно, беспошлинно, и усом себе не ведет! Чего ему еще, какого приволья? Слыл он в своем родном пепелище, с самой той поры, как парнем на усю отлежался, за буй-тура, кипела в нем кровь не по-нашему; ни в пляс, ни в дело не было парня супротив него, все девушки на Гришу Моргуна заглядывались, все молодцы ему завидовали, только старики, потряхивая головами, поговаривали: «Ай-ай, Гриша!..» Сказалось, однако, своя пора и в нем, словно буря поуходилась, захотел остепениться; нашел он девку по мыслям себе, да не по чину, чуть-чуть не из посадского дому, а на самом только и золотца, что пуговка оловца! «Вишь, куда метнул, — говорили на селе: — Гришке все не по-людски надо!» Отец девки порядком оборвал и сваху-то, которая-де суется с посконным рылом, да в суконный ряд: «Только добрых людей вы позорите, матушка, что за такие несуразные дела беретесь; милости просим и впредь не жаловать».

Что же, Гриша не тот человек, чтобы ради отца от дела отстать: он девку украл, попа купил, и сыграл краденую свадьбу в чужом приходе. Дело сделано: и худой поп свенчает, хорошему не развенчать. Однако, медовая пора пролетела скоро, а Гриша был скучлив, ему все подавай новую потешку, а что в руки далось, то брошено. И выручила его новая потеха — ревность. И стал Гриша зверь зверем; а как он, по обычаю своему, непорешенного дела не покидал, то клюнул на жнитве жену носком серпа в голову и успокоил ее, сердечную, навеки.

Село это было большого, богатого барина, которого никакие порядки не касались; за что же ему терять такую здоровую скотину, каков был Гриша? И он, не обинуясь, написал из столицы своему управителю: «Дай кому следует хоть сотню рублей, из мирских, чтобы дело потушить, а негодяя этого сейчас отдай взачет в солдаты; квитанцию же продать по настоящей цене». Так и случилось, и никто не посмел подымать этого дела.

Не то служба царская Грише не полюбилась, не то по дому соскучился, а вскоре намолчка прошла, что Гриша вернулся; не долго думав, он сказался тем, что сжег тестя своего, а потом и старосту, и там и кой-кого из крестьян, кто ему в былое время чем-нибудь досадил. Встречным и поперечным наказывал он сказать на селе, что коли-де кто только пикнет против Гриши, не токмо руку подымет на него, то сожжет его и с гумном совсем. В промежутках он портняжил, шил вязовую иглой по большим дорогам, встречал из-под мосту прохожих и проезжих. Вскоре прошел слух, что уж он и не один на промыслу, а видели его сам-третей. На три уезда напал страх; Гриша всем мерещился и тут и там, уж его именем стали записочки подкидывать, наказывая вынести на такое-то распутье денег, и были такие, что слушались и выносили. «Что станешь делать, — говорил бедный народ, — спалит, и суд весь!» Все сплошилось, пошли поиски всюду, а ему в эту самую пору понадобилось сжечь барское гумно, потому что барин-де понапрасну сгубил, в солдаты отдал. На этой попытке Гриша попался, был услан на всход солнца березки считать, но как ему эта песенка долга и скучна показалась, то он плюнул и опять воротился, и принялся хозяйничать по-прежнему; а так как его выдал один из прежних товарищей, то он ныне уже на выучку не брал, а мастерил кой-как сам, на свою руку: кто его ловил, кто уличал, кто ковал и сдавал, кто караулил по наряду — всех выжег; семь бед, один ответ, а надо задать страху, чтоб укрыться понадежнее, пожалуй, опять продадут исправнику; грабил же он осторожно, без лишнего, только бы стало на харч, на вино, на одежду, и после каждого грабежа пропадал, уходя лесами верст за сотню в другой уезд.

Но и такому вольному зверю без притону и приюту нельзя быть: иную пору убежище нужно, и напустив страху, его всегда можно найти. Деревеньку, в которой мужики собрались к Мирону потолковать, Гриша избрал пристанищем своим, основал под нею мирную берлогу свою, никого поблизости не трогал, чтобы тут о нем и слуху не было, держа крестьян одним словом в полной покорности; как же не сказать, что он ведун, коли он такое слово знает? И слово это: «спалю!» И пастухи носили ему, по приказу его, не только с осени, но уже и в глубокую зиму, и хлеба, и молока, а иногда и щец, и жареной рыбки, и пирожка.

Гриша навел мертвый страх на полгубернии, и все становился смелее; при одном имени Гришки Моргуна у ста-

рого и малого поджилки дрожали, отымались руки и ноги, и стыла кровь; «спалю» — было чародейским словом его, которое покоряло целые волости; молча выносили ему в лес, чего он требовал, рассылали, по наказу его, разведчиков, давали ему знать, когда грозила опасность; а чтобы взять его, да выдать начальнику, об этом уже ни речи, ни помыслу не бывало: ведь его опять спустят с цепи, ведь уйдет, тогда просто ступай вся деревня по миру собирать на погорелое, хоть всем миром в могилу ложись! На него грозы нет, он знает, что не повесят, а ссылка, — да нешто его ссылкой удивишь? Пожалуй, ссылай, ему это за прогулку; прошелся, воротился, опять спалил, кого захотел, и пожалуй опять ссылай, дорожка знакома!

Вот каково положение нашего мужика, и вот ответ тем человеколюбивцам, кои, ничего не зная, ничего на себе не испытав, из одного тщеславьишка, пышноречиво, спускают против смертной казни, и всегда готовы великодушничать насчет других, храня и оберегая зверских негодяев и не заботясь об участии порядочных людей! Разве нет за это никакого ответа ни перед людьми, ни перед богом, коли взять такого человека, заставить выдать его, и выпустить опять из рук живьем, и снова натравить его на несчастный народ? Так не бери его, пусть народ сам управится, и не взыщи на том!

Что, например, может быть ужаснее так называемых волчьих билетов, придуманных известного рода либералами, филантропами, космополитами, коих речи сковородный звон, а дела — сумасбродные проказы? Крестьянская община, по закону, могла ссылать вредных и вовсе негодных людей мирским приговором, могла также отказаться от приема и водворения у себя преступника, возвращаемого из острога на родину; людям, никогда не испытавшим на себе тягость такого бича, не понимающим отношения бедствующей общины к такому извергу, право или закон этот, последнее убежище целой волости, показался слишком строгим; и вот, под предлогом человеколюбия, придумали хорошую меру: давать такому сорванцу, протершему все нары по острогам, ободранному, обнищалоу, озлобленному до неистовства на всю родину свою, которая от него отрекается, давать ему на полгода полный простор, волю и свободу рыскать повсюду, промышлять, как себе знает, и искать общества, которое согласилось бы его принять... Только через полгода, когда новые грабежи, конокрадство и поджоги его не могли убедить ни одной из соседних общин принять его в среду свою, только тогда определялась

ссылка его, на бумаге, сам же он бродяжил, неведомо где, и попался уже, при каком-нибудь новом подвиге, под именем непомнящего родства, скрывая этим все следы своей полезной жизни. Вот что называли волчьими билетами, ныне, наконец, после многих горьких опытов уничтоженными.

Побывав в людях, повидав свету, Гришка понаторел еще и против прежнего: он заговорен от всякого оружия, его и топор не берет; на голову его наложено три головы, кто же первый сунется брать его? Одно слово скажет, и ни одна собака на селе на него не взлает, а разве только заскулит или взвизгнет; при том, коли взять и сдать его начальству, то он опять уйдет, и тогда — куда деваться от него всему миру? Чего стоит спалить деревеньку в лесу, которая стоит на распутье, как один хохлатый овин, как стог соломы? С которого конца ни подойди, все одна сушь, один порох!

Но Гришка надоел бедным мужикам пуще всякой кары господней: он прежде хоть тем их обнадеживал, что обещал скоро уйти в иное место, а теперь, коли кто ему помянет об этом, только приграживает. Народ ночь и день под гнетом, под страхом; заря встанет, заря ляжет, все думается, что-то окаянный, и где он? Не попался ли, не напроказил ли, не выдал ли нас, грешных, не был ли опять на селе, не прошло ли каких слухов о нем, не узнал ли чего исправник? Долго ли нам этак пестоваться с ним, скоро ли господь смилуется? Ведь рано ль, поздно ль, а попадешься, тогда с нами-то что будет, за то, что молчали, а как же и не молчать, не держать его, коли нет ни защиты, ни спасенья?

А Гришка сидит у Никиты, отогрелся, поел горячего и уже выпил, и ведет такие речи:

— Вы-де, братцы, как знаете, так меня теперь и кройте, чтоб я при вас цел был и сохранен; ныне такая стужа, что волка из лесу выживает, а уж я туда не пойду, нет моей мочи; а коли накроют меня, по несмотрению, либо потачке вашей, так будет вот что: наперед я всех вас выдам, до одного, что вы меня крыли, и всех заберут в острог, а там, как только вырвусь, то так вот и запалю село со всех четырех концов.

Вот эти-то речи и образумили наконец бедных мужиков, и за этим делом приходил старик, позвав с собою на совет к Мирону плетухана-медвежатника. «Ведь беда, братцы, в какую мы ловушку попали с этим некошным, что тут и выхода нет: ведь вон наемни уж и малые ребята на

селе стали в Гришку играть, такие пострелы: — один словно из лесу идет, а те пастухи; вишь, он им и наказывает: — вы-де мне того-сего принесите, не то спалю! Ну, на грех, услышит сторонний кто, ведь это божье семя мало да глупо, все расскажут, до начальства дойдет, а мы тогда куда денемся?»

А не выручат ли бедняков два наши богатыря, единоборцы несокрушимые, коим нет ни ровни, ни супротивника? Один богатырь огонь и воды прошел и медные трубы, всякую муку принял и не сдался, окреп пуще прежнего, а на волю вышел, всякого на повал кладет, кто с ним схватился, и этот богатырь — зелено-вино, другой богатырь — сильный старик; он без молоту кует, он без зуба загрызет; он одежным дорожным клапаться вслит, а безодежных и сам посещать не ленив; он-то и кует на всю Русь черепаший череп, и держит ее в неволе: — это богатырь Стужийла, Мороз Снегович! Да, заговорен Гришка Моргун от всяких напастей, от огня и воды, от пули свинцовой и от укладу булатного, а от випа зеленого русского человека не заговоришь, одолеет!

В избе Никиты, где сидел Гришка, сошлось исподволь несколько человек. «Ну, жить, так жить дружно, Гриша, только-де не обижай нас и не выдавай, коли помимо нас кой грех над тобой встряется; выпьем на мировую!»

Выпьем, да выпьем, ан Гришу стало разбирать сильно. Не шутка шататься в такую зиму по лесам, ночевать, забившись под стог, засыпая под волчью песню, а когда голод выгонит из логова, вылезть на тот же трескучий мороз, брести снегом выше колена, либо на жизнь, либо на смерть: не житье это, а одна передышка, рад будешь теплой избе, обрадуешься и вину... «...Выпей, Гриша», а уж Гриша насили сам губы разводит: помотав головою туда-сюда, он хотел было сидя свалиться боком на лавку, потому что голова, словно на безмене, стала вовсе перетягивать книзу, покачнулся, да и свалился под стол; как руки, ноги подмялись под него, так, словно на мягкой перине улегся, смежил очи и захрапел. Один богатырь одолел Гришу, пришла очередь на другого.

В избе быстро зашевелились, как по условному знаку: кто подходил к сонному и тряс его, будто не доверял мирному покою этого зверя, кто, надсеядь, кричал шепотом: «Давай сани-то, живо! Мишка, оболокайся, чего стоишь, вытуля глаза, не видал его, что ли? Марина, давай ему пояс, скорее! Где у тебя шапка-то?» Один выбегал на двор, и скоро опять вбегая, мигал и кивал, едва решаясь прошеп-

тать: «Готово, сани под воротами, растворять, что ли?» Другой совал Мишке кнут и рукавицы, а бабы, сложа руки, только вздыхали: у них, сердечных, дух захватывало.

Медвежатник с Мироном подняли Гришку, третий еще подхватил его поперек и молча понесли из избы. Вся толпа, перешептываясь, шла следом, бабы провожали их с места глазами, иные перекрестились: изба опустела, дверь затворилась за хлынувшим тучей паром, и все смолкло.

Серо наше зимнее небо, мороком заволочено поднебесье, но иногда зимою, в ясную звездную ночь, бывает оно и густо-синего цвета или кажется таким, перед белизной блестящего снежного савана земли. Так красноватый булыжник, лежа в яркой зеленой траве, на закате солнца отливает чуть не яхонтовыми лучами...

На дворе прозвездело, такое-то темно-синее небо стояло над Русью шатром. Мороз заворачивал все круче и круче, середка зимы упорно держится своих прав. Стужа пляшущая. По селу промчались обшевни парой, на них сидело двое, а третьего не видно было, он лежал в ногах, как колода. «Не грех. ей-ей, брат Миша, не грех: уснет сердечный, и только: ведь всему миру пришлось пропадать через него, хоть в петлю лезть, вот что, а тут — концы в воду, и делу конец, вот что!»

Беспмятного разбойника отвезли верст за десяток в дром-дремучий, своротили с едва проезжей дороги на край оврага и свалили его туда, как мертвую тушу. Он покатился мягко по снегу, не просыпаясь — не впервые, но уже в последние, пришлось ему покатоком спускаться по крутым оврагам и ночевать там, но это был уже последний его ночлег. Он будет спать до призыва страшной трубы.

Шибко понеслись сани в обратный путь; то один, то другой из седоков робко сглядывались и беседовали вполголоса. Мигом домчались они до двора, где встретили их, также без шума, человека два или три, выжидавшие конца делу. «Слава тебе, господи, и прости согрешение наше», — сняли шапки, перекрестились и побрели молча по домам.

Солнце встало ярко, блеска искрой наполняет воздух, денек светлый, веселый, словно праздничный; на селе встречаются несколько робкие, но довольные лица, где встретятся, где впервые сойдутся, там первое слово вполголоса: «Слышал, брат?» «Слышал, слава тебе, господи!»

Семь губерний ниже по Волге весною напечатана была в «Губернских ведомостях» сыскная статья, что де к мертвому телу, выкинутому водой, «отыскиваются родственни-

ки», и в приметах одежды можно было узнать приплывшего из оврага полою водой дальнего путника, бездомного скитальца Гришу Моргуна.

4) ПРИЕМЫШ

I

ДЯДЯ С ПЛЕМЯННИКОМ

Открытые почтовые сани мчатся тройкой по ухабам и раскатам; на нырочках седоки только подпрыгивают, на ухабищах ныряют с головой и покрякивают, на раскатах лежат боком, хватаясь за что ни попало, то в ту, то в другую сторону. После каждой встряски ямщику доставался тычок трубкой в спину, а с тем вместе раздавалось: «Пошел!» Ныне уже нет ни тычков этих, ни трубок; но дело это было около поры последней турецкой войны, а ехал гвардеец только что вышедший в отставку, хотя он едва лишь отлежал на усу, так без тычков было ехать не можно. Морозище пробирал насквозь все живое, а вдобавок густая метель глушила хлопьями завыванья колокольчика, заваливая и самые обшевни копной.

— Далеко ли? — спросил сердитым и озяблым голосом проезжий.

— Близо, барин, огни видны; слава богу, что доехали, не сшиблись с пути! Я и батюшку вашего, царство ему небесное, важивал не раз, — продолжал ямщик, который прибодрился и стал разговорчив, когда уже вся гроза миновалась, и близкие огоньки сулили на водку: тогда еще на чай не просили. — В последний раз он ехал с вами, да в те поры вы еще малы, чай, Тереху забыли.

— Помню, помню, — отвечал тот, хотя ничего не помнил: — только доведи меня живого, а стакан вина будет. Ведь не побывать дома десять лет, нетерпенье берет, а мороз поджигает, — прибавил он как бы на мировую с Терехой и в законное оправданье своих тычков.

— Ну, Гаврила, — сказал барин: — доставай скорее погребец, да хлопочи о самоваре, я смерть прозяб, а когда только согреемся, так и валяй, чтоб быть к утру дома.

Покрякивая вошел он в избу и невольню улыбнулся: за столиком сидят двое проезжих: молодой гвардеец и середовик в бекешке; из самовара перед ними валит пар и пахнет ромом. Привет за привет, и наш путник едва успел

свалить шубу с плеч и отряхнуться, как его уже ожидал стакан горячего чая. Он так жадно протянул к нему руку, что едва успел, опомнясь, подать ее наперед хлебосольным хозяевам и просить их познакомиться.

— Я Александр Сергеевич Осинин, — сказал старший из них: — а это племянник мой, Степан Никитич Добрынин.

— Какая встреча! — отвечал прозябший путник, разминая плечи: — какая приятная встреча с почтенными соседями! Я помню все ребенком, вы бывали у отца моего: я сын Петра Ивановича Горячева!

— Вадим Петрович? И не узнал бы ни за что!

— В десять лет много воды утекло: я вырос, вышел в офицеры, успел уже наслужиться и выйти в отставку!

— Уже в отставку? — спросил Осинин. — Что делать, таковы дела наши, надо заняться дома. Да, — продолжал Осинин: — немножко позапущено, а хорошее именье: но в такие молодые годы...

— Что годы! — перебил тот, сидя на двух угольях, то есть прихлебывая чай и грея руки у стакана: — что годы: человек живет, а не годы: вот дедушка-то мой, сами знаете, и в семьдесят лет так похозяйничал, что батюшка до конца жизни не мог поправиться; матушка и не моложе меня, а хозяйничает под гору; она одна, управители плуты, надо заняться самому; именье хорошее, некрошеное; взявшись за дело, скоро можно повернуть его на иной лад, я живо выгоню всех негодяев этих, заведу свои порядки, вы через месяц Духовщины моей не узнаете!

Осинин поглядел искоса на Вадима, промычал, не то одобрительно, не то сомнительно, и подумал про себя: «Похоже на то!»

— Гаврила, эй, трубку! — закричал в тепле и неге оживший Вадим.

Гаврила расправил кистень, взял в руки дорогую трубку, которая возилась в чехле, чмокнул и щелкнул, крякнул и вздохнул, почесал затылок, покачал головой и на вторичный окрик барина: «трубку!» отвечал:

— Да, была она такова, сударь, вот что, изломали вы ее всю дорогой!

— Подай ее сюда!

— Подать можно, не штука, да толку-то нет.

Барин ухватил богатой отделки трубку, с коленчатым черепаховым чубуком, стал ее нетерпеливо поправлять, что-то снова под руками хрустнуло, и он ее бросил на лавку, сказав сердито: «Ну, что за беда, пошел, достань скорее другую!»

Гаврила молча вышел и ворчал, обеспечив себе отступление притворенными дверьми:

— Поддай другую! Нам вишь все шутка, и сотенная вещь нипочем, а в отставку выходим потому, что по-питерски жить нечем, а теперь вот подавай другую, еще подороже, да расстегивай и разбирай в эту погоду чемодан, а дас бог, и эту об кого-нибудь изломаем!

Позвав на помощь старого знакомого своего, с коим столкнулся в черной избе так же нечаянно, как и барин его, кучера Осинина, Гаврила притащил чемодан в ямскую и стал его расстегивать.

— Ну, что, — спросил кучер: — чай, на побывку едете?

— Нет, Фомич, в чистую вышли.

— Что рано больно?

— Да не нашли толку в службе.

— Экие же вы бестолковые! А как же люди-то с толком служат?

— Ну, вот поди! Гвардейщина-то деньгу любит, а Питер бока повытер, распискам не верит, хоть, правда, и пропасть мы их там оставили; опять же служба обидная, иной из мелкой сошки от нечего делать до полковника дослужился, ну и стой перед ним на вытяжку, а барин паш, сам ты знаешь, роду не простого... И этой достанется голову сломить, — продолжал он, вынимая из особой укладочки великолепную пенковую трубку в серебре, с янтарным мундштуком: — эка штука, вещичка-то какая!

Все кинулись смотреть трубку, и напولاتяне и подпولاتяне, а Гаврила, приподняв вещичку и подбоченясь, горделиво поворачивал ее туда и сюда, как вдруг громкий зов барина испортил все дело, и Гаврила опрометью кинулся с трубкой на ту половину.

— Вот они каковы, — сказал Осинин, когда Горячев ускакал: — вот они, хозяева и преобразователи наши. Хозяйству он выучился по театрам, а счетоводству, давая неоплатные расписки и теперь скачет, сломя голову, чтобы перевернуть и устроить в один месяц имение, порядочно расстроенное уже дедом его!

— Это сын Горячевой, у которой мы были, дядюшка? — спросил Добрынин.

— Да, он и есть.

— Ты, дядя, что-то об ней отозвался с ужимкой, а она мне показалась умною, образованною женщиной?

— Вся на симах, — отвечал дядя, негодуя: — выпускная кукла, ни кровинки живой природы, с ног до головы окутана подлогом. Ханжа.

— Но, дядя, меня все это дивит, хотя я ведь тебя знаю и тебе верю; я хотел только сказать, что сумела же она дать такое образование воспитаннице своей...

— Ну, брат, по этому не суди. Она могла передать ей кой-какие познания, в этом не спору, но образовать ее нравственно не могла, а это не одно и то же. Горячева одна из тех женщин, которые любят и умеют окружать себя молодежью, держат воспитанниц, как вабило, но держат их под невыносимым гнетом, и наконец, расходятся с ними с шумом и бранью, за неблагодарность их, а в людях говорят о таком событии, скорбя, с кротостью, сложив ладони, покачивая головой, пожимая плечами, заставляя уважать себя за скромность и молчаливость свою. «Лучше я вынесу все это на себе, чем решусь, в свое оправдание, повредить доброй славе девушки, что мне до свету!» Вот эти-то слова, слышанные мною от нее однажды, заставили меня грешить день и ночь, непрестанно, и ненавидеть ее. Внешность, суетность, свет, а стало быть ложь и обман, заменяют в этой женщине и совесть, и правду; и, прости господь, самого бога...

Все это болезненно отозвалось в груди Добрынина, который и без того уже задумчиво и молчаливо покидал родину свою, вероятно, надолго, после мимолетного знакомства своего с воспитанницей Горячевой, известною запросто под именем саксонки. Степан Никитич и сам был с детства круглым сиротой, отца не знал, мать едва помнил, вырос у дяди и служил в гвардии. Отец и дядя Добрынина были от разных отцов, первому досталось хорошее наследство, второму небольшое; последний некогда сватался к матери Степана, но ему отказали родители ее, потому что были в виду женихи побогаче, и Оснин остался холостяком; вскоре брат его женился, пожил пышно, промотался, умер, и Оснин принял опеку; затем, похоронив и невестку свою, стал отцом своему племяннику. Умный, добрый и честный, он сделал для Добрынина более, чем бы мог сделать родной отец: он не только привел в порядок и сохранил имение, расстроенное отцом, он привязал к себе Степана и успел укоренить в нем твердую нравственность, честь и правду. Добрынин, после многих лет, приезжал к дяде на месяц в отпуск, снова горячо полюбил его, нашел в нем друга, несмотря на различие в годах, и поверился ему всею душой. Срок отпуска был на исходе, Степану пора ехать, и дядя решил проводить его на два перегона, по тогдашнему обычаю, на своих, переночевать с ним, проститься и захватить по пути в одну из деревень пле-

мянника, коего именем он все еще управлял. Вот по какому поводу Горячев застал дядю с племянником на станции, за самоваром, и беседа их, по отъезде Горячева, которого Добрынин в Питере не знал, длилась далеко за полночь. На робкие расспросы Степана, который боялся услышать какой-нибудь суровый отзыв дяди о саксонке, о Мариониле Богдановне Значковой, воспитаннице Горячевой, дядя отвечал, что он знает ее мало, слышал же об ней одно хорошее, а на вопрос, кто она такова и почему она саксонка, объяснил дело так: проезжая однажды через большое село, Горячева остановилась у священника, где увидела, в числе смуглых детей его, очевидно, девочку, чужую, белокурую, голубоглазую; подзвав ее к себе, она спросила: «Кто ты, моя милая, ты не поповна?» «Нет, отвечал кроткий ребенок чистым русским языком, я саксонка!» Этот ответ рассмешил барыню и завлек ее в подробные расспросы. Во время наполеоновских войн, проснувшаяся при взрывах Кремля угнетенная Германия восхищенно приветствовала вступление войск наших в свои пределы; это подлинно был взрыв крика радости всех народов Германии, блистательное торжество русского знамени, вся Европа поклонялась имени русского; его встречали празднествами, провожали с неслыханным почетом. Не мало жен вывезли себе оттуда воины наши, и немки, не робея, выходили за ледовитых медведей, романические немки с полным самоотвержением, очертя голову, решались на эту жертву признательности народу или воинству, спасавшему погранную и угнетенную Германию, народу, о коем вдохновенный Кернер пел: «Der Phönix Russlands stürzt sich in die Flammen und sauct Georg schwingt siegend seine Lanze...» Вот в этом-то настроении была одна маленькая саксонка, сгоравшая жаждой принести себя, так или иначе, на жертву своему отечеству и обожавшая русских еще прежде, чем они успели достигнуть границ родной земли ее. Приветливость и радушие ее, при встрече первого русского постоя, не знали пределов; пользуясь немецкими обычаями, она прислуживала солдатам нашим как простая работница, и один из них, молодой парень, насмерть в нее влюбился. Товарищи его уверили ее родителей, что он из дворян, и это, пополам с грехом, была правда: он писался из воронежских однодворцев; словом, она вышла за нашего рядового богатыря Богдана Значкова, и Марионила — дочь его; родители ее умерли, покинув сиротку, которую священник взял в свою семью, и ее-то Горячева встретила под общим прозвищем саксоночки. Горячева в самое это

время приискивала себе воспитанницу, поссорясь с предместницей ее, и потому выпросила саксонку у священника, который рад был пристроить сиротку.

— Теперь, любезный Степан, идем спать, — так кончил Осинин беседу свою: — а утре обнимемся и разъедемся. Я вижу, что ты затеваешь: не спеши, пережуй и перевари все дело, обдумай его спокойно, а я между тем постараюсь разузнать, что можно: так и быть, ради друга, пойду в лазутчики; пословица говорит: которая служба нужнее, та и честнее!

Они обнялись, Степан крепко сжал дядины плеча, а рано утром они разъехались.

II

ВТОРАЯ МАТЬ

За несколько времени до описанной встречи на почтовом дворе, Горячева сидела у себя на диване, перед большим круглым столом, а подле, на креслах, с работой в руках, Марнонила. Стол покрыт был богато вышитым столечником, и на нескольких креслах сидение, спинки и подлокотники также красовались шитьем хозяйки, разбиравшей по столу шерсти и гарусы по цветам и теням большого рисунка. Тут стоял рукодельный баульчик, а рядом с ним чернильница, карандаши, узоры и рисунки, белая бумага, початая письмом тетрадь, краски с кистями, пузырек или два с духами; картины духовного содержания перемешаны были с последне-полученными модными покроями, а под ними, молитвослов и роман Дюкре-Дюмениля. Изящный беспорядок показывал разнообразие вкусов и занятий любезной хозяйки. Бросая на стол пук шерсти, она жаловалась на недостаток всех теней, хватала карандаш и делала наскоро расчет, во сколько петель начинать бисерную тюбетейку или чехол на чубук; то опять принималась за подбор шерсти и, снова, кинув их, расписывала красками внезапно придуманный ею, по вдохновению, узор... Царило молчание, но по временам требовалось мнение Марнонилы об этих важных предметах. Девушка затруднялась ответом, желая угодить своей названной мамане и опасаясь сказать что-нибудь невпопад, и потому отвечала робко.

— Помилуй, Мари, — сказала та наконец в нетерпении: — да это ни на что не похоже, ты несносна!

Испуганная этою нежданною выходкой, предвестницей грозы, Марьяша опустила руки с работой и обратила все

свое внимание на разложенные кучки шерсти, но уже было поздно, квашня ушла через край.

— Ты просто груба и дерзка становишься со мной, ты забываешь, чем мне обязана, забываешь, кто и что ты...

Марионила встала и, потупя глаза, молчала; Горячевой стало как-то неловко, но как мы своей вины никому не прощаем, то и надо было поддержать негодование свое уликой:

— Я целый час не могу добиться от тебя, как ты находишь (*comment trouvez-vous*) эту арабеску и звездочку эту на тюбетейке, а меня это интересует, ведь это мой рисунок, я его сама скомпановала!

— Да я же отвечала вам, татап, и не один раз, что это будет чудесно!

— Да ты отвечаешь сухо, будто нехотя, с такую неодушевленную миной, которая ясно обличает равнодушие, безучастность твою к тому, что меня так занимает!

И Марионила, вздохнув незаметно, отложила свою работу, воодушевилась и стала усердно рассуждать об узорах для будущей тюбетейки.

— Принеси же мне бисер мой, Мари, мы сейчас его подберем.

Марионила принесла ларчик с цветными бисерами, другой с металлическими, но всего этого, для причуд Горячевой, было мало, и она чуть не расплакалась от жалости над собой, что у нее, у бедной, во всем недостаток, и никто об ней не позаботится, и скоро она будет сидеть, сложа руки, потому что не из чего работать...

— С тех пор, как завелась у нас эта глупая фабрика, мой Василий Александрович (управитель) стал невидимкой, сидит там, потонул в бестолковых расчетах, и не знаешь, как и когда передать ему, что нужно купить или выписать из Москвы, и все только слышишь от него одну песню: — денег нет, подождите! Я к поджидам этим не привыкла, а он выслуживается только сыну Вадиму, забывая, чем он мне обязан! Вот благодарность за все доброе! Мари, приготовим-ка записку, чего нам нужно из Москвы; возьми перо, пиши: наперед всего, бронзового, стального, серебряного, граненого бисера, по десяти кистей, голубого, бирюзового, побольше; шерстей, подобранных по приложенному узору...

И вдруг Мария Ивановна остановилась, глаза ее просияли, счастливая мысль ее озарила.

— Да вот что, Мари, вот что мне пришло в голову: мы сами съездим в Москву, чего же лучше! Наобум всего не

придумаешь, я совсем обнищала припасами, а там Кузнецкий мост напомнит, только поспевай укладывать!

Мариониле нельзя было молчать, а еще опаснее было бы возражать на безрассудную затею, надо было соглашаться, одобрить эту выдумку, высказать свое участие, радоваться, даже благодарить, потому что все это делалось для нее! Она осмелилась только усомниться насчет расходов...

— Ну, уж этих наставлений ты не читай мне, — отвечала та, уставив на нее глаза и покачивая головой.

— Вы с Вадимом заодно, как я вижу, и он вздумал мылить голову Василию Александровичу, что у нас много денег выходит, то есть посчитаться с родною матерью, — и это похвально, это в духе молодого поколения, это благодарность за наши заботы и жертвы... — И понесла, и понесла, споткнувшись, наконец, на том, что сын даже осмелился погрозить ей отставкой, потому что на его долю мало высылается денег, и что так служить в гвардии нельзя.

— Но это вздор, — закончила она: — этого я ему не позволю; молод еще, и здесь ему делать нечего!

Дверь отворилась, и вошел управитель, бывший дядька молодого барина, из заслуженных дворовых.

— Здравствуйте, милостивый государь мой, Василий Александрыч, наконец-то имею удовольствие вас видеть! Что новенького, хорошенького?

— Мало хорошего, сударыня, пора тяжелая...

— Ну, так и я думала: у него везде свои лазутчики есть в угоду молодому барину... Эй, Машка, Сашка, Сенька, кто из вас подслушал нас, кто пересказал Василию Александровичу, что мне денег нужно, что я в Москву еду, а? Вот он и надел на себя постную маску, и охает, едва переступив порог... На кутеж молодому барину достает, на гвардейские выходки станет, а на нужды бедной матери нет, плохи времена! А скажи-ка ты по правде, много ли усладо Вадиму Петровичу?

— Он волен и в нас, и в своем добре, матушка, я учитывать их не смею...

— А, вот как, а уж я и не вольна, я уж не нужна более Василию Александровичу, он своему барину служит, молокоосу, а чем он обязан старой барыне своей, об этом он давно позабыл, этого он не поминает: сунем ей кусок хлеба, и пусть себе век доживает, мы ей лиха не желаем...

Огорченная этим неприличием, Марионила вышла из комнаты, управитель вздохнул и молчал; дав барыне на-

ругаться над собой вволю, он стал молча расклаиваться, но та, по лукавому обычаю своему, вдруг переменялась, ласково улыбнулась и протянула ему руку на поклон, будто все говорено это в шутку. «Ну поди, поди сюда, старый брюзгач, не дуйся, а полторы тысячи припаси мне к первому зимнему пути, я еду в Москву».

— Я, сударыня, дуться не смею, и никогда за мной этого не бывало, а денег таких нет у нас, и к зиме им быть неоткуда, их, сударыня, и снегом к нам не занесет... Сукна наши обракованы, приказчик воротился с пустыми руками, а к сроку их поставить надо, либо неустойку платить разорительную...

— Пожалуйста, Василий Александрович, избавь меня, по дружбе, от этих расчетов; я ведь уж более не хозяйка в дому, расчеты — это ваше дело, а мне все-таки полторы тысячи к зиме припаси!

Управитель молча поклонился и вышел.

Скажем теперь слово о Мариониле, о Марьяше, как звали ее ребенком в доме священника, о Мари или Нилочке, как слыла она у второй названной матери своей, Горячевой.

Теплой и кроткой души от природы, покойная и рассудительная, она с малого детства привыкла к своему ничтожеству и покорности. «Ты, Марьяша, терпи, все терпи», говаривал ей дедушка, как звала она старого безместного священника, принявшего сиротку, хотя он и сам был под гнетом горькой участи: он передал место свое за дочь, и не знал, куда деваться от сварливого и неуживчивого зятя, попрекавшего его день в день малым приданым. «Ты терпи, Марьяша, бог увидит; в терпении стяжнiti души ваши, сказано в писании; ты и смирися, когда зятек мой бранится; а что мать с тебя работу спрашивает, это тебе же вперед пойдет на прок — да и матери пособить надо, где же ей одной с такой семьей справиться, а уж ведь ты стала большенькая!»

Марьяша слушала чутко и переносила все, но не могла вынести одного, когда дедушка молча терпел горькие обиды от своего зятя; как испуганная пташка, она убегала и пряталась, чтобы не слышать этого, или с плачем кидалась ему на шею, повторяя его же утешения, которые ей самой столько раз облегчали сердце.

— Ты мне, дедушка, все говоришь: в терпении стяжнiti души ваши; как же это стяжают душу?

— А вот как, — отвечал тихим голосом дедушка, глотая слезы; — как станет тебе горькая обида поперек гор-

ла, да сердце начнет мутить душу, так ты зубки-то стисни, да и не пропускай ни словечка, нишни! А мыслию ты про себя господню молитву твори, вот сердцу-то души и не одолеть! А душа-то, Марьяша, от этого все крепнет да растет, и до бога дорастет!

После таких утешений у обоих обновлялись духовные силы: у ребенка, в согласной красоте с душой, развивалось и тело, а у старца, — зрелый бессмертный дух готовился радостно покинуть обветшалый остов. Но слово дедушки: «душа смирением растет, до бога дорастет», запало глубоко в душу Марьяши и осталось навеки незримым утешителем и руководителем; живое воображение ребенка рисовало какую-то картину этого роста души, достигающей до бога, а позже, поняв дедушкино слово и обнимая его всеми помыслами своими, она радостно уносилась духом в обетованный край, забывая все суетные невзгоды. Переименованная, в новом быту своем, в Нилочку и в Мари, она жила прошлым, в нем искала и находила утешение свое, и сокровищница ее, память сердца, выносила ей бисер добрый, на покой духа. В то время чистые и нежные звуки Жуковского раздавались у нас повсюду во всей силе своей: младенческая душа поэта увлекала сродные ей души, унося их в загадочный мир первообразов; звуки эти, в коих заключались и напев, и речь, и музыка, и поэзия песни, наводили на тогдашнюю молодежь мечтательность, нередко праздную, не совсем пригодную для деятельной жизни, но зато они охраняли нравственную чистоту, и многих, обаятельностью своею, удержали на правой стезе. Вот чем жила Марионила, и дух матери, которой она почти не помнила, и дедушка, тоже давно переселившийся в вечность, до коей доросла душа его, были ее ангелами-хранителями.

Но возвратимся к насущному. Как только управитель ушел и беседа замолкла, Марионила поспешила опять выйти в гостиную. Марье Ивановне казалось, что она, отправив докучливого управителя короткими словами, кончила дело и устроила свою поездку.

— Ну, Мари, — сказала она: — превесело мы с тобой съездим в Москву, и ты увидишь, чего и во сне не видывала; надеюсь, мы натешимся там, и всего, всего навезем с собой; тогда и здесь на нас посмотрят не тем глазом, и Соловкова не станет фуфыриться перед нами в крахмальных тряпках своих... Таня! позовите Татьяну!

Горничная вошла.

— Таня, мы по первопутью едем в Москву, слышишь? рада ли ты?

— А мне что ж за радости, сударыня, воля ваша, как прикажете.

— Экая дура, и не знает других радостей, как сидеть в избе со своим Прокофьичем, навешав себе на шею семерых ребят.

— А как же, сударыня; неужто я мужа да семью на Москву променяю?

— Стало быть, ты не хочешь ехать со мной?

— Да как же я смею не хотеть, сударыня, ведь я не какая-нибудь вольная, а раба ваша!

— А мне бы хотелось, чтобы ты чувствовала привязанность ко мне, как я тебе это сто раз толковала, чтобы ты мне служила охотно!

— Я, конечно, чувствовать обязана, сударыня, и чувствую.

— Ну, так поди же к своему Прокофьичу!

— Она, кажется, также из кантонистов, — прибавила Марья Ивановна, заливаясь хохотом.

Острота эта относилась к недавнему случаю: какой-то отставной старик, бывший комиссар или эконо́м, рассказывал страшные подробности о московском пожаре 12-го года, пробыв сам в Москве, при Воспитательном доме, все время стоянки там французов; слушая его, чувствительная Марья Ивановна воскликнула:

— Боже мой, какие ужасы! Скажите нам, пожалуйста, опишите, что вы чувствовали в это время?

— Да что ж нам чувствовать, сударыня, — отвечал простодушный комиссар: — ведь мы из кантонистов...

Поездка в Москву, по поводу недостатка бисеру и гаруса, до того одушевила Горячеву, нечаянная выдумка эта так ее утешала и забавляла, что неделя проходила за неделей, а она все не могла наговориться обо всех уладах, каких ожидала и готовила себе в Москве; не забывая однако же ни разу кстати припомнить, что приносит жертву эту ради своей воспитанницы, и что нельзя же не потешить молодежи, не свезти Нилочки, для окончания образования ее в Москву. Не смея отклонять от себя такой разорительной, безрассудной потехи, для которой она должна была служить предлогом, Марионила должна была каждый раз снова восклицать, в ответ и привет на такую глупую ложь: «О, маман, как вы добры!» Чистая душа эта, под руководством воспитательницы и благодетельницы своей, не только должна была лгать, она вынуждена была изучать ис-

кусство притворства, согласуя всякое проявление чувств и мыслей своих с волею названной матери. Бедняжку нередко при этом пробирал внезапный озноб, и мурашки пробегали по всем суставам; но опасение взрыва страшной грозы смирало негодование и омерзение совести ее.

Среди жаркой беседы о предстоящих удовольствиях, о театрах и концертах, слуга доложил, что племянник Горячевой, проездом из Питера, заехал повидаться. Радость ли, испуг ли, нечаянность приезда, только Марья Ивановна, по слабонервному обычаю своему, чуть-чуть не обомлела, но смогла еще кивнуть головой, что значило: проси сюда, и на сей раз она счастливо отмахалась платочком.

— Жорж! Откуда бог тебя принес?..

Пошли обниманья, и Жорж объяснил, что едет в отпуск, к отцу, и заехал по пути отдать тетушке почтенье, что Вадим Петрович целует у маменьки ручку и прочее.

— Вот счастливый отец! — сказала хозяйка, с милосидною улыбкой: — свидится с сыном; а я, бедная, бог весть, скоро ли дождусь этого счастья!

— Как, вы шутите, тетушка?

— Нисколько.

— Да ведь Вадим Петрович скоро будет у вас, ведь он только ждет отставки своей...

— Отставки! — вскрикнула нежная мать, и покатилаь в кресла. Скляночки на столе, припасенные на подобный случай, пошли в дело; Марионилла засуетилась, и все койкак вошло опять в свой порядок.

Умный племянничек, огорошив эту тетушку и сбив ее с ног, испугался, хотел было отречься от слов своих или повернуть их в шутку, но должен был рассказать, что знал. Он никак не полагал, что Вадим оставляет службу в свою голову, даже не уведомив об этом матери; он решился на это, по словам Жоржа, потому, что хозяйство идет плохо, служить в гвардии с такими средствами нельзя, и он хочет облегчить заботу матери, которая не может усмотреть за всем, он сам хочет дома хозяйничать... Приятная весть для нежной матери, собиравшейся на Кузнецкий мост за бисером!

Весть о скором приезде барина разнеслась по всему дому. Он, с производства своего в офицеры, был дома один только раз, и то не надолго, но у прислуги есть какое-то особое чутье на оценку господ, и его считали мотом, запальчивым и взбалмошным. Всяк готовился чем-нибудь угодить на барина, устроив в то же время и свои делишки. Управитель, бывший дядька Вадима, был из числа старых

и по-своему верных слуг, который, однако же, при бестолковом управлении старого барина и неукротимом нраве его, привык поневоле обманывать господ, нередко для их же пользы, натягивая скатерть на красный конец. Он был плохой хозяин, и не видав никогда путного хозяйства, строил и заводил то овчарни и скотные дворы, то свечной завод и сукошную фабрику, сам ничего не смысля, а по господскому приказанию, и потом не умел свести концов. Если он, при удобном случае, и награждал сам себя чем-нибудь сверх скудного жалованья, то при первой же неудаче в бестолковых оборотах совал в затычку все, что у него было, без различия: и свое, честно сбереженное жалованье, и отложенную в запас, про черный день, барскую собь: таким образом он хозяйничал много лет и перепутал дела и счета донельзя. Он сам, по совести, не знал, он ли, круглым счетом, утаил и нажил что из барского дохода, или задержал свое за барина, а знал только, что не сберег почти ничего. Другой хозяин, дворецкий, был туп умом, но наметан и сметлив чутьем; сметливость эта походила на безотчетную, бессознательную, но и безошибочную побудку животного; он сам себе положил скромное, небольшое жалованье, — не получая от господ ничего, потому что дворня обшивалась на счет портного, или портновых денег, собиравшихся с крестьян, и получала месячину — и оправдывал это тем, что «подобает мзда делателю», но более чем и на эту штатную сумму он господ не обкрадывал и считал себя честным человеком в мире.

Управитель с дворецким, на общем совете, стали рядить о том, как принять барина и умиловить его. Управитель, при всех неудачах и беспорядках своих, сильно повесил нос и придумал только одно: кинуться в ноги и лежать пластом, доколе он не подымет его пинком: дворецкий же рассуждал иначе, не робел и ободрял своего товарища.

— Кто же это станет сам на себя петлю надевать, — говорил он: — ведь этак-то ты только напугаешь барина, подумает, и бог весть что случилось, а у нас, слава богу, все благополучно. Нет, Василий Александрыч, не годится, ты меня послушай: барские ножки от тебя не уйдут, это пусть впереди будет, а огорчать молодого барина не надо; ты ему толкуй, что-де вся надежда наша полагается на премудрость вашу, смиловался господь над сиротами, принес вашу милость к нам, обогреть красное солнышко верных рабов ваших, и дела-де наши при вас пойдут не тем порядком, а уж как они пойдут там, его воля, и сам увидит,

ты только свое носи. Ну, а мы его потешим, два хлебочка опростаем, хоть по крестьянам отдадим овец, и подобающим порядком покрасим их, хлевки-то, да борзых и голицких посадим. Я уж об этом деле позаботился; барыня нам ошейничков бисерных наплетет, да гаруських, либо еще и шелковых свор; вот что надо делать, Василий Александрович, а тугою поля не перейдешь!

Так и случилось: очнувшись от обмороков, придя в себя и убедившись в немнучести приезда Вадима, мамаша, словно сговорясь с своим дворецким, тотчас решила, что надо припасти все угоды и потехи, занять ими сыска, и отвлечь его от вмешательства в хозяйство и счета. Комната для Вадима была убрана, стены увешаны всеми ржавыми доспехами, какие нашлись у дворецкого в кладовой, шитые ошейники, шелковые своры, бисерные чубуки, кистеты с вензелями свидетельствовали о нежной материнской любви, и Марионилла должна была сидеть за этими полезными работами день и ночь. Между тем, дворецкий, молча и без шума, подготовил псарню свою, с выжлятами и хортами, с псарями и доезжачими, и спокойно сождал, что будет.

Марионилла, в небольшом смятении, с любопытством ждала приезда названного братца, сама еще не созная, какое положение достанется на ее долю в этой повой обстановке их домашнего быта. Ей почему-то казалось, что положение ее будет правильное и почетное, по и затруднительное.

Во время полуночной беседы Осинина и Добрынина с Вадимом на станции, огни на усадьбе его уже были погашены, все поконлось, а рано утром молодой гвардеец вихрем налетел на двор, под знакомое крыльцо, и мигом суматоха подняла всех на ноги, от псарни до спальни.

III

МОЛОДОЙ БАРИН

Итак, Горячев приехал домой с чистою отставкой и с твердым намерением взять в руки все хозяйство села Духовщины, изобличить и прогнать всех мошенников, которые обкрадывают его, обрезать немного мать, которая и слышать не хотела о выделе ей седьмой части, говорила: все его, все сына, мне ничего не надо, а сама проживала все доходы и должала, где могла, словом, мы уже слышали из уст самого Вадима Петровича о всех благих намере-

ниях его, и нам остается только взглянуть на их исполнение и порадоваться успеху.

После первого дня, отданного радости свидания и отдыху в семье, где встреча пары новых для него голубых глаз расположила его к веселости и кроткому обращению, предполагалось заняться на другой же день строгим осмотром и проверкой управления по дому, по сельскому хозяйству и фабрике. «Это мы все обвертим вокруг пальца». Уже с вечера мысль эта, однако, впервые стала тревожить Вадима, как будто внезапная близость события захватила его врасплох, и ему самому пришла на ум поговорка: «как же так, рядился в год, а завтра срок?»

Проснувшись от крепкого сна и сладких грез, Вадим Петрович оглянулся в комнате своей, остановился на развешенной охотничьей сбруе, на шитых, вязаных и плетеных ошейниках, смычках, сворах и сумках. «При всем том однако же мамаша предобрая душа, что она и об этом подумала, и, конечно, тут половина работы сестрички моей — а ведь и это она умно сделала, что взяла в дом такую прелесть; наконец и дворецкий мой позаботился сохранить все оружие это в целости и в изрядной чистоте...» Он позвонил и вошел сам дворецкий, поклонился, стал у дверей, отвесил еще скромный поклон, поздравил с приездом, со счастливым прибытием, с благополучным приютом под отцовским кровом, принес привет от всей дворни, которая готовится поставить по свечке и отслужить на радостях молебен.

— И с порошей поздравляем вас, Вадим Петрович,— прибавил он, взглянув в окно: — тепло, тихо, а пороша короткая, перед самым светом выпала; бывало, царство ему небесное, покойный ваш батюшка ни за что такого золотого дня не упустит, с десятков матерых с одного поля выживал, а случалось, как вздумает на овраги ехать, в кучегура и на красного нападал...

Вадим вскочил с постели, будто ударили тревогу; пошли расспросы; к изумлению и радости своей, он услышал, что припасена полная охота, и гончие сляялись, словно колокольчики заливаются, и лягавые натасканы, мертвую стойку стоят, и барская свора псовых ловцов в одиночку отобрана...

— Седлать! — закричал Вадим: — давай скорее завтракать, присылай Гаврилу одеваться!

Только и надо было старому воробью, он вышел, а управитель, бывший дядька, вошел. Умываясь, одеваясь, снаряжаясь и завтракая, барин выслушал все отчеты и

донесения его и, благодаря отличной пороше, остался всем изрядно доволен, приговаривая только, что надобно взять хозяйство в руки, надо все устроить, надо распорядиться так, чтобы были доходы получше; осторожные сомнения и жалобы Василия Александровича насчет положения фабрики, затрат и неустойки в поставке сукон, от разных неудач и несчастий, заставили было барина свести брови в ком и наморщить чело, но в это самое время дворецкий, стоявший за дверьми на-слуху, приложив ухо, впустил, для первого знакомства, барскую свору густо-псовых, бусую и муругую, которые, по приказанию барина, были спущены, и пошли, как малые ребята, бешено прыгать по диванам, кровати и столам... Этим все было покрыто.

— Труби в рог! На-конь! — Проходя через залу, с арапником в руках, он увидел в зеркало Марионилу в гостиной, за чайным столом; он схватил шапку с головы, вошел и, ласково подавая ей руку, извинился, что так рано беспокоил сестрицу, заставив на себя служить. — Ведь я еще не знаю ваших порядков, но вперед этого не будет, это дело ключницы, дворецкого...

— Напрасно, — возразила та: — прошу вас, Вадим Петрович, оставьте за мною хоть эти бездельные заботы, я бы рада была отблагодарить матушке вашей всем...

— Для чего же ты, вы, сестрица, зовете меня как чужого? Ведь мы свои, зовете меня братцем...

Братец ускакал, а сестрица, сидя еще с часок за работой, до вставанья Марьи Ивановны, призадумалась. Положение ее было ей ново, как будто все вокруг нее перевернулось. Сын названной матери ее, конечно, почему же он ей не брат, но какой-то глухой внутренний голос остерегал и отклонял ее от этого братства, а когда она хотела вникнуть глубже, яснее в чувство это и отдать себе в нем отчет, то все исчезало, и она оставалась в недоумении. Она выросла одиноко, без ровни, в строгой подчиненности, среди светских обрядов приличия, среди невыносимой лжи, и едва ли с кем могла хоть раз перемолвить задушевное слово. Один только человек и будто на одно только мгновение вызвал было в ней какое-то отрадное чувство, готовность высказать все, что было на душе, просить совета, наставления, утешения... Но это был какой-то сон наяву, промелькнувший заревом и покинувший за собою опять ту же тьму; так отзывалось в ней встреча с Добрыниным. Вспомним не только одиночество, но и сиротство ее, и даже время, в какое она жила: это была пора, когда нежные альбомы уже стали выходить из обычая; но тетрадки со

стишками были необходимостью для каждой грамотной девицы, хотя в тетрадках этих и читалось иногда взор гнусный, вместо: грустный, или раздушистые кусты, вместо: роз душистые кусты, или что-нибудь в таком роде; это была пора, как мы уже сказали, господствования над молодежью духа Жуковского, духа нежности и чистоты, но также избалованной, тунеядной мечтательности, созерцательной косности; все это надо помнить, чтобы живо вдуматься в положение и состояние Марионилы.

Прошло еще несколько времени, и в Духовщине начал устраиваться, в домашнем быту, род какого-то обиходного порядка; Горячева смирилась, и о затее ехать в Москву, «за песнями», как говорил управитель, не было и речи; Вадим Петрович летал по всем соседям и наделал много шуму, как новый жених; ради него и Марионила внезапно попала в такую честь, что невесты в околотке дружились с ней взапуски и любезничали насчет обожаемого ими братца ее, тогда как саксонка или солдатская дочка, до приезда названного братца ее, оставалась незамеченною; и это также ставило ее в какое-то лестное и непривычное положение, коим она обязана была заступнику своему; но она все еще дичилась его, сама не понимая отчего. Хозяйство, как ему казалось, он уже почти привел в порядок, управитель и дворецкий оказались вовсе не такими пегоями, как он предполагал; матери назначил он седьмую часть доходов, объявив ей об этом через управителя, а остальными он до времени кой-как изворачивался, надеясь вперед на свои улучшения; приезжая с отъезжего поля или из гощенья у соседей, он дома находил милую сестричку, без которой, с одною маменькой, было бы невыносимо пусто и мертво.

Так время шло помаленьку, как вдруг во всей округе пошла намолчка о каких-то сильных раздорах в семье Горячевых, при чем иные винили мать, своевольную и властолюбивую, другие все — светского жениха, надменного и дерзкого, третьи даже бедную Марионилу, на которую, после тесной, искательной дружбы, вскинулось все женское ополчение, уверяя, что она задумала прибрать названного братца себе, и всех родовитых невест его оставить с носом. Слухи эти дошли как-то и до Александра Сергеевича Осинина, и он вспомнил о своем обещании племяннику, Степану Никитичу Добрынину, узнать, что можно, о голубоглазой саксонке и написать ему, о чем племянник напоминал ему уже в двух письмах. Подумав, как бы это сделать, старик, не пускавшийся доселе никогда в подобные розыс-

ки, решился, наконец, ехать под предлогом проезда, к двум сестрам, девственным старушкам, от коих ни одна душа в трех уездах не могла затаить ни одной задушевной мысли; перед ними, как перед предвечным судьей на страшном суде, все было открыто. Брюсову календарю льготно врать, пророчествуя на сто лет, тут все с рук сойдет, а эти две родные бабы-яги знали все прошлое и настоящее, до волоска; и проверка была налицо. Они, между прочим, гадали и на кофе, и в карты, и еще по разным приметам, но не гласно, а только для надежных друзей и по доверенности. Этим ли, иным ли каким путем, но, повторяю, что делалось на триста верст в округе, то им было ведомо, день по дню, как свои пять пальцев, и, ради любимого племянника своего, Осинин решился собрать у них кой-какие справки. «Источник мутноватый», — подумал он и сам, садясь в коляску, но пожав плечами, отвечал себе: — «А что же стану делать, куда же я сунусь? Может быть, что-нибудь да узнаю».

И Александр Сергеевич не ошибся: он что-нибудь да узнал. Не понадобилось больших ухищрений, чтобы навести эту нежную чету неразлучек на последнюю новость в уезде, раздор у Горячевых, и они сами чуть не встретили ею Осинина в приемной.

IV

СИРОТА НА РАСПУТЬЕ

Добрынин сидел в своей комнате, в офицерской казарме, в Питере, и задумчиво перечитывал и вертел в руках письмо; трубка давно погасла, чай перед ним простыл, и он, подняв руку, в десятый раз стал пробегать глазами дядино письмо.

«Любезный сын мой! так я буду называть тебя, Степан, со времени последнего нашего свиданья, где я впервые узнал тебя, как мужа. Трудную ты задал старику задачу: ты настойчиво требуешь, чтоб я тебе писал о Марии Богдановне, и отзыв мой об ней очевидно может решить всю будущую жизнь твою. Согласись, что ступить к такому делу не легко, а потому и не мудрено, что я медлил. Люди в доме и иные соседи хвалят и жалеют ее, говорят, что она мученица почтенной Марии Ивановны — и в последнем я не сомневаюсь, я уже говорил тебе, что это за барышня. Нилочка, как она романически перекрестила

приемыша своего, ходит у нее по струнке, в черном теле, и ее маловато знают: при людях же Марья Ивановна самая нежная мать и не нарадуется, глядя умильно названной дочери своей в глаза. Но в последнее время стала большая перемена: прикатил сын, гвардеец, как и ты, но нравом не в тебя, — да ведь ты его видел; чванный и наглый, надутый и дерзкий, даже против родной матери, своевольный, он однако же очень сдружился с названною сестрицею своею, уничтожил власть и голос матери в доме, где она очутилась чем-то вроде приживалки, а господами стали молодые бары. Словом, дошло до того, что уж стали сожалеть об участи матери (по-моему, ей поделом), а о молодых-то также доброго слова не слышно. Не стану я пересказывать тебе всего того, что мне наговорили две соседки наши, две сестрицы-неразлучки, потому что они никогда и ни на ком и волоса доброго не покидали, — но молва не хороша, а проникнуть все тайны сплетен этих, я, друг и сын мой, не сумею, на это я неспособен. В семье Горячевых вышел из-за этого какой-то шум и раздор, о котором всякий орет по-своему, а иной и шепчет, перегорая рот. Заключение мое такое: ты видел девушку только пять-шесть раз, едва ли ты мог привязаться к ней насмерть; горячее сердце твое не вдруг перекапит рассудок — забудь о прошлом, кажется, ты ошибся».

Вот письмо, которое поставило в такое раздумье Добрынина, и он, едва опомнился, когда один из товарищей его влетел к нему с оперною трелью в гортани и торопил его одеваться, потому что они согласились накануне ехать вместе в театр. «Кстати», — подумал Добрынин, и хотел отделаться головою болью; но друг этот был не из робкого десятка, спел песенку о больной головушке, закричал: «Эй, Михайла, барину одеваться!» и продолжал в том же духе, торопя товарища и не отвечая ни слова на отговорки его, будто их и не слышит.

— Плюнь на все, братец, я ведь вижу, что с тобой делается, да это все вздор: растаял перед какою-нибудь красотой, добытою напрокат из косметического магазина, перед нежным сердцем, приспособленным по роману мадам Жанлис, — дело выеденного яйца не стоит, — едем!

И поехали. Добрынин вспомнил, при сказанной товарищем его наобум остроте, дядины слова: «забудь о прошлом, кажется, ты ошибся»; он старался вызвать в себе вспышку негодования и презрения, и отдался своему ветреному товарищу, не умевшему, до поры, грустить ни о чем.

Но там, в театре, будто на смех, поразила его такая нечаянность, которая не дала ему позабыть о том, отчего он только что бежал из дому: товарищ указал ему на очень молодую, красивую женщину, которая сидела в одной из лучших лож посредине, одна, а с нею было двое мужчин, старый полковник, которого Добрынин встречал где-то, и молодой человек во фраке. Он с первого взгляда узнал нарядную Марионилу, и был до того изумлен, что не мог собрать ни слов, ни мыслей, и рад был просидеть несколько минут спокойно, под рев смычков и стук тулумбаса.

Скажем теперь, каким образом Марионила так внезапно очутилась в Питере.

Фыркая самодовольствием во все стороны, пуская пыль по силам, Горячев был уверен, что приводит расстроенное хозяйство свое в отличный порядок, а сам гонялся по полям за зайцами и разъезжал по всему околотку знакомиться и разыскивать богатых невест. Дома, от нечего делать, он дружился с миленькою сестрицей, любезничал с нею, угождал ей, а с матерью становился все нетерпеливее и грубее. Стали обнаруживаться долгишки матери, сделанные безрасчетно и, конечно, без ведома его, заимодавцы тревожили его, и он выходил из себя: надменно отделялся от них, потом, разбранившись с матерью, уезжал на сутки в поле или в соседи. Сколько ни отмалчивался старый управитель, который вел дела, как умел, через пень в колоду, но он поневоле должен был, при разных учетах, показывать прямо, по книгам, что такие-то и такие-то деньги взяты были матушкой Марьей Ивановною, а такие-то заняты по ее же настойчивому приказанию, а платится за них по две копейки с рубля в месяц. Не умея приняться толком ни за какое дело, а тем менее спокойно обдумать и устроить его, Вадим Петрович также хозяйничал, как умел, то есть бранился, строго приказывал, задавал всем грозу и уезжал куда-нибудь на потешку: в уверенности, что теперь все пойдет как по маслу. «Отговорок я не принимаю никаких», думал он, входя в комнаты матери, чтоб и с нею побраниться, и в это самое время услышал строгое и резкое нравоучение ее Мариониле, к которой она придиралась по причудам своим, не зная, на ком выместить невзгоду. Вадим Петрович, объявивший себя не раз уже заступником милой сестрицы, едва удерживавший порывы свои во фронте, не считал нужным делать это у себя в доме, и разразился грозой, которая навела страх на всех. Он вышел из себя и наговорил матери самых неприличных грубостей, перемешав в негодовании своем в

одно и мотовство ее, и дурное хозяйство, и долги, и растрату, и наконец, дурное обращение с милою сестрицей.

— Никто не мог дать вам права, — прибавил он между прочим, — на такое заносчивое помыканье девушкой, которая легко может занять здесь ваше место и сделаться хозяйкой в доме.

Можно представить себе, как последняя выходка озадачила и Марью Ивановну, и даже Марионилу, коим, несмотря на различие их положений, ни той, ни другой мысль эта не приходила в голову: обе они испугались так, что не смогли слова вымолвить. Марья Ивановна, прочившая за сына первых невест в губернии, мечтавшая о почете своем, при сватовстве, на сговоре, на свадебных пирах, о почестях, в каких будет жить после, породнившись со всеми графами и князьями, вдруг увидела перед собой картину семейного счастья, где она живет, в доме своем, в забросе и загоне, одинокая, всеми покинутая, а хозяйкой, на ее месте, принятая ею же сирота, коею она помыкала как горничной. Марионила, перед которою также внезапно открылся новый вид на будущность ее: переименование из робких сестриц в почетные рабыни своевольного, взбалмошного братца, и приятное положение посредницы между братом или супругом, или повелителем этим, и неугомонною, проискливою и несчастною своею благодетельницей! Она встала, вышла из комнаты, предоставив Марье Ивановне с сыночком кончить про себя беседу эту, и слышала только еще отчаянное заявленье первой, что она никогда этого не позволит, и решительный ответ второго, что никто не уполномочивал ее на подобное запрещение, которое было бы и вздорно, и бессильно, наделав ей одной позору.

Марионила обдумывала у себя в комнате положение свое, и с трудом могла собраться с мыслями. Какое ей отныне предстояло житье в доме, сам-третей с матушкой и с братцем, где она, без малейшего повода с своей стороны, сделалась причиной такого разрыва между последними двумя? А между тем, куда деваться? Так прошел вечер, голова от слез разболелась, и она не солгала, отказавшись выйти по нездоровью. «О, думала она, если б я осталась у дедушки, у названного отца своего...» Марья Ивановна, по той же причине, сидела в отчаянном расстройстве у себя в комнате, а Вадим Петрович, как петух-победитель, посвистав и попев громко по всему дому, соскучился и куда-то укатил. Но избежать встречи, а с тем вместе, вероятно, и объяснений с братцем, можно было день, много, если два, а там предстояла развязка. Вадима стало брать

нетерпение, что-де это значит, что сестрицы не видно? Он был уверен, что она не будет знать, куда деваться перед ним от всенижайшей любви и благоговейной признательности, и думал: «Одно из двух, или Нилочка, по девичьей робости своей, не решается на встречу со мной, или, чего доброго, не запретила ли ей общая благодетельница наша показываться? Вот этого еще не доставало!»

— Эй, Машка, поди, спроси Марионилу Богдановну, можно ли к ней взойти, мне надо ее видеть!

Марионила уже обдумала и уяснила себе все, ответы были у ней готовы, и она тотчас же встала с места и вышла к Вадиму Петровичу в общую комнату. В избытке самодовольствия своего, он, очевидно, готов был принять уничиженную и благодарную девушку в объятия свои, как, увидав ее, невольно смутился, ограничась одним каким-то неясным восклицанием.

— Вы желали меня видеть, — сказала она спокойно, остановясь на расстоянии от него.

— Вы... да... я... вас совсем не видно, я, право, соскучился без вас... я думал, мы дружески переговорим словечко о том... Да что же вы на меня так чинно смотрите, даже ласкового слова не скажете за мое заступничество?..

Марионила подошла к столу и присела на стул.

— Вы меня вызывали, Вадим Петрович, и я готова отвечать на вопросы ваши, хотя, признаюсь, мне очень трудно. Я обязана вам за доброжелательство ваше, но в деле этом беру сторону вашей матушки.

— Как? И вы на меня? Вы находите, стало быть, что она права, права, расстроив хозяйство мое, права, наделав долгов, которые мне же приходится платить, права, наконец, обращаясь с вами как с служанкой?

— Я нахожу, если вы уже вызываете меня на прямой ответ, что говорить с матерью так, как мне довелось слышать, нельзя.

— Помилуйте, да я же за вас заступился, я не могу позволить, чтобы с вами так обращались!

— Я благодарна вам за доброе ваше намерение... но, извините меня, такое заступничество не может поправить дела, а на душе у вас должно быть очень тяжело...

В Горячеве все кипело, он с трудом удерживался, помня, что говорит с девицей, и притом с тою, которую мгновенная прихоть его, а может быть отчасти и горячность разговора, поставила в особенное к нему положение.

— Да разве вы не поняли меня, — сказал он со странным выражением какой-то страстной горячности и надмен-

ной самоуверенности: — разве вы не поняли, кто, по искреннему желанию сердца моего, должен быть госпожой в этом доме?

И он протянул ей руку через стол; Марионила не подала руки своей, а, собравшись с духом, тихо и кротко, но твердо отвечала.

— Что до этого, Вадим Петрович, то вы слышали ответ матушки — примите его, как должно сыну, за решение. Я ничтожная сирота, принятая и воспитанная ею, и я вам ни в каком отношении не чета...

Он вскочил и еще с большим жаром хотел разубедить ее.

— Пойдите! — сказала она так убедительно, что он невольно замолчал: — я отнюдь не желала бы оскорбить вас, но настойчивость ваша вынуждает из меня последнее слово: неукротимая пылкость ваша может только устрашать, но не привязать к себе.

Она поклонилась и быстро вышла.

Горячев был до того озадачен, что на первый случай не доискался слова — такого отказа ему и в голову не приходило. Он легкомысленно и безрассудно завязал все дело это, сам не зная, вести ли его до конца или обратиться в шутку; он высказался, когда запальчивость и негодования на мать его обуяли, а теперь остался в дураках, сам не понимая, как это сделалось.

Когда он опомнился, то в нем горело одно чувство личности и самотности своей, одно оскорбленное самолюбие, и кипела злоба. Он первый распустил злую молву о черной неблагодарности и дерзости этой солдатской дочери, которая до того забылась, что вздумала завладеть им и сделаться госпожой в доме.

Толки через людей, через знакомых и соседей, через записных сплетниц, вроде двух сестриц-неразлучек, пошли по всем углам и закоулкам уезда, жадного до домашних новостей, которые по временам живили и пестрили однообразную жизнь. Не одна почтенная барыня, по поводу этого события, приказывала закладывать рыдван свой и катила в соседи, чтобы разузнать или рассказать о новостях из села Духовщины. Мариониле не стало житья в родном доме: она почти не выходила из своей комнаты и не выпускала из рук последнего утешения своего: материнского Евангелия и завещания ее, которое всегда носила на себе в ладонке. Ей в этом страшном одиночестве нужен был совет, помощь, нужна была какая-нибудь живая душа, с которою бы можно было перевести дух, свобод-

но вздохнуть. Она ничего не понимала, ничего не предвидела для себя, кроме того, что жизни этой, в обществе злой, лукавой женщины и грубого, дерзкого, мстительного сына ее, коим она обоим была в тягость, долго вынести нельзя.

Невдалеке, на усадьбке своей, жила женщина, вдова средних лет, которую Марионила знала не близко, выдав ее лишь несколько раз, но которую она любила и уважала по чувству, и ей-то она решилась ввериться в отчаянном положении своем. Она написала ей немного строк:

«Простите смелости моей... я беспомощна, одинока, не знаю, что делать, куда деваться! Вы говорили со мной не много, но всегда кротко и ласково — другого такого задушевного голоса я не слыхала. Ради бога, навестите нас, дайте мне отвести душу на слове вашем и материнском совете!»

Добрая соседка тотчас приехала — на свете не без добрых людей, — и выслушав терпеливо, часа два сряду, все хитросплетенные рассказы Марьи Ивановны, коими она старалась прикрыть все случившееся в доме, выставляя себя жертвой материнской любви и неблагодарности «этой девчонки», она вышла с Марионилою в сад, поспешила, осторожно оглядываясь, пройти подальше, а там и в поле, и в рощу, и тут узнала всю истину и все страдания бедной Марионилы. Подумав и утешив ее, как могла, она решила, что оставаться в этом доме Нилочке нельзя, и вечером, прямо и просто, попросила хозяйку отпустить ее на время к ней. Нечаянность этого предложения поставила было Марью Ивановну в раздумье, но настоятельность просьбы и нравственный перевес просительницы вызвали, наконец, нерешительное «пожалуй», коим Марионила со слезами и объятиями спешно воспользовалась.

Разговорившись дома еще подробнее с Марионилою, эта добрая и толковая женщина рассудила, что бедной девушке возвращаться к Горячевым не должно, и что всего бы лучше ей на время куда-нибудь уехать. Близкая приятельница этой женщины, богатая, простая, но весьма добрая, Наталья Алексеевна Чумина, собиралась в это время в Питер для отвоза детей на воспитание, а обратно должна была ехать одна; заступница Нилочки привезла новую гостью свою к Чуминым, рассказав подробности о несчастном положении сиротки; участие Чуминых было самое сердечное, и Наталья Алексеевна тотчас же пригласила ее с собой в эту поездку, от которой она, конечно, не отказалась, и впервые свободно вздохнула, когда тяжело

нагруженная дорожная карета помчалась на север. Вот по какому поводу Марионила внезапно очутилась в Питере.

V

ЧЕЛН К БЕРЕГУ

Дела Горячева шли быстро под гору. Долги его сокрушали, а он не унимался и мотал; хозяйство пошло еще гораздо хуже прежнего, по бестолковому вмешательству его порывистыми приказами, отказами, неисполняемыми распоряжениями, которые обычно поворачивались коротким решением: «Ничего знать не хочу, чтоб было!» Бедный управитель сперва было вздыхал, пожимал плечами, убеждал, но увидев, что тут ничем не пособишь, сам утешился поговоркой: «не пришлось поле ко двору, пускай его под гору!» и, махнув рукой, с горя стал попивать, чего доселе за ним не бывало. Ко всему этому Горячев еще глупым образом поссорился с судьей, написав ему повелительное, грубое письмо, с требованием оправдать и отпустить духовщинского крестьянина, вора, приговоренного в ссылку, и отпустить по той причине, что барин хочет отдать его в солдаты и продать квитанцию; из этого бранного письма пошло дело. В чаянии поправиться богатою невестой, Горячев стал ухаживать за дочерью и единою наследницей в другом уезде, ездил за ними не один раз в губернский город, пускал пыль, обзавелся щегольскими экипажами, истратился и нажил отказ и новые долги. Все это вместе довело его до того, что имение поступило под опеку.

Тогда только Вадим Петрович поневоле немного образумился и оселся. Побранившись еще раз с матерью, на которую сваливал всю вину расстройства имения, он в добрый час послушался совета управителя просить себе в опекуны Александра Сергеевича; этот-де человек, по словам старого дядьки, поправит дело толком, да и до вас он будет хорош, не обидит; а вот как назначат какого-нибудь Собникова, тогда что станешь делать? Он, пожалуй, охотник до опек, да ведь уж он вас до кону разорит, ничего с него не возьмете.

Подумав в смирении своем, Вадим Петрович решился ехать тотчас и к предводителю, а с ним вместе и к Осинину. Этот призадумался было, но, не считая себя вправе отказываться наотрез от этой общественной должности, поддался просьбам и убеждениям предводителя, поставил Горячеву свои условия и принял опеку.

Поехав принимать дела и имение Горячева, Осинин со-

шелся с ним поближе и сослужил ему первую службу, объяснив ему важность безрассудной ссоры его с судьей и ответственность за подобное письмо, и покончил это дело мировую, за которую в придачу пошла каурая пристяжная под масть судейской коренной.

Но у Осинина с ума не шла эта сиротка, саксонка, о которой он должен был отозваться так дурно племяннику своему с чужих слов. Внезапный переезд Марионины в чужой дом, к женщине уважаемой, отъезд ее с Чуминой, разноречие молвы об этом, — все смущало иногда старика и тревожило чуткую совесть его. «Ну, думал он, как я согрешил и оклеветал бедную девушку нехотя?» Он решил поговорить об этом при случае с Горячевою и с сыном ее, своим опекаемым. Отзывы их показались Осинину подозрительными, будто он слышал какие-то отголоски оскорбленного самолюбия, и кроме общего обвинения в неблагодарности, в том, что безродная, призренная сирота забылась, он не узнал ничего. Марья Ивановна размазывала дело слишком широко и нежно, соболезнуя о неблагодарной, а Вадим Петрович отвечал слишком коротко и отрывисто, с каким-то презрением и скрытною злобой. Осинин еще более встревожился и не знал, как быть, если бы тупой, недогадливый дворецкий не признал исконно за правило подслушивать за дверьми беседы господ и вследствие этого не явился бы к ночи, устранив Максимку, прислужить Александру Сергеевичу и при сем случае не рассказал бы ему спроста и сплеча все, что знал о боярышне Мариониле Богдановне.

По сему поводу Осинин тотчас же написал к своему племяннику Добрынину:

«Ну, брат Степан, без вины я виноват перед тобой, а виноват. Все, что я писал тебе об известной тебе личности — ложь, только не моей выдумки. Горько было жить этой бедняжке в кабале у такой женщины, какую я описал тебе благочестивую кормилицу ее, а уж и вовсе нестерпимо стало при новом самовластном домохозяине. Да ее уже, слава богу, и нет тут: добрые люди ее пригрели, и Чумина взяла ее к себе и увезла. Не хочу тебя разжалобить всем этим, может быть, это было бы теперь и вовсе не кстати, но считаю делом совести отречься от первого письма моего и просить прощения у ней, у тебя, у всех, наконец, до кого это могло бы касаться, в невольной, грешной клевете своей».

Между тем, у Добрынина в столе лежало давно уже начатое и брошенное по какой-то нерешимости письмо к

дяденьке, где говорилось, что он встретил Марионилу в театре, видел ее в ложе с двумя чужими мужчинами, что она, по всей вероятности, уже замужем, и он считает это дело конченным и не хочет более думать о нем... Но последняя строка была недописана, а затем и все письмо это, повалывшись несколько времени, было сожжено, и вместо него написано совсем иное.

У Чуминой был в Питере двоюродный брат, выросший с ней вместе, Сила Львович Бердышев, которого она очень любила; он хлопотал о помещении привезенных ею с собой детей в учебные заведения, почему она и отыскивала себе жилье подле него, и они виделись ежедневно. Жена его, Агафья Яковлевна, была умная, образованная немка, на которой он женился за границей, и с нею Чумина была как с родной сестрой. Познакомясь ближе с Марионилой, узнав подробности сиротской жизни ее, нынешней бесприютности, и полюбив ее от души, Бердышева однажды вечером, сидя вдвоем с ней, сказала:

— Ведь мы с вами, Марионила, вдвойне землячки: мать ваша была саксонка, и я также, а теперь мы обе русские, вы должны меня полюбить, как я вас люблю!

После объятий и обоюдных уверений в любви и дружбе, Агафья Яковлевна продолжала:

— У вас теперь нет надежного приюта: куда вы денетесь и для чего нас покинете? Мы бездетны, у нас только племянник в доме, и мы всегда поэтому скучали; я говорила уже с мужем своим и с Натальей Алексеевной, оставайтесь у нас, и... Марионила, будь моей дочерью!

Нечего и говорить, что со стороны Марионины не только не могло быть отказа, но что радость и признательность ее не знали меры.

— И муж мой очень обрадуется твоему согласию, Марионила, — сказала хозяйка, когда они обе несколько успокоились, — и он тебя любит как отец.

Вскоре затем они, сидя вместе, разговорились о прошлом, и Агафья Яковлевна стала расспрашивать названную дочь свою о ее матери.

Марионила в ответ достала ладонку, которую всегда носила на себе, вынула из клеенчатой тафтяной сумочки сложенный подмотком листок, развернула и подала его третьей названной матери, сказав:

— Вот все, что я знала о моей матери; завещание это писано ее рукой и передано мне при благословении меня названным отцом моим, священником...

Агафья Яковлевна не могла читать далее первых пяти

строк: мать Марионилы была родная старшая сестра ее, которую она много лет безуспешно разыскивала по всей России.

Вот какими странными, неожиданными переворотами судьба для одних, а провидение для других вытаскивает человека из прямой колее его и приводит, наконец, на предназначенный ему путь!

Изумления и радости со всех сторон было много, а Марионила, очутившись дочерью третьих отца-матери, на сей раз прижилась с первого дня, как у кровных родителей своих.

Намерение Добрынина, высказанное в начатом письме к дяде, осталось в столе, где валялось письмо. Одно любопытство, как он полагал, влекло его разузнать, каким образом знакомка его попала в Питер и в семейство Бердышева; вести о расстройстве дел Горячева, об опеке над ним дяди, и наконец письмо последнего поджигали его неотвязно, и он легко нашел случай явиться к Чуминой, как к соседке по имению, и от нее услышал все подробности загадочного для него дела. Через нее же он познакомился и с Бердышевыми, где увидел, что его еще помнили, и прямым следствием этого было то, другое письмо его к дяде, которое заменило начатое, а потом брошенное отречение. Он написал дяде все подробности о причинах отъезда Марионилы, о том, что ее здесь ожидало и встретило, и просил благословения его, по старому, доброму порядку, на свою женитьбу. Он не обнаруживал еще прямо намерения этого у Бердышевых, но надеялся сердцем, что отказу не будет. Дядя с радостью согласился, а что еще важнее, — Марионила также; тетке же ее и подавно не было повода этому протривиться. Дело состоялось, и никто из участников об этом впоследствии не пожалел, и ныне молодое поколение Добрыниных, выросшее без французских гувернанток, но под неотступным влиянием родителей чистой нравственности, давно уже, в тесном кругу своем, пользуется заслуженным уважением, и если французское произношение у них и не парижское, то сердце лежит к родине, они понимают, что на каждом человеке лежат обязанности, и ни один из них не бредит буестью и самотностью, под личиною высших взглядов.

5) ДЕДУШКА БУГРОВ

Всякому ведомо, что из простолюдинов наших выходят иногда замечательные люди, самородки, ничем не обязанные воспитанию своему, учению и образованию, и крайне

жаль, что мы обращаем на это слишком мало внимания — в чем себя укоряет и пишуший строки эти, вспоминая иногда выходящего из ряду вон нижегородского удельного крестьянина Семеновского уезда, Петра Егоровича Бугрова, известного в последние годы жизни своей во всем городе под именем дедушки. Скажем об нем однако же хотя то, что еще осталось в памяти, дошедши некогда до нас отрывками.

Не мудрено, если человек, сызмала окруженный заботами об укоренении в душе его правды, человек, наставляемый и просвещаемый, нравственно и научно, не мудрено, коли такой человек вырастет в ясных понятиях о долге своем и обязанностях, и сделается честным, полезным гражданином, не мудрено, коли из него выйдет брату брат, государю слуга, богу свеча; но если человек сам собою, без всяких пособий, даже без помощи грамоты, даже не будучи самоучкой, дойдет до высокого умственного и нравственного развития, то невольно преклоняешься перед высшим земным созданием божьим и с жалостью и негодованием глядишь на буйство безумия и неверия. Разве не очевидно после этого, что все зачатки двойственного духовного начала человека, умственные и нравственные, спят в создании этом как зародыше кедра в малом зерне, и могут быть заморожены, могут погибнуть или выйти на божий свет, возрасти и красоваться во всем божественном блеске своем?

Петруху-балалаечника помнили купцы-старожилы или приказчики их как бойкого, но трезвого и смирного бурлака, который являлся на пристани еще до прилета жаворонков, как только лед на Волге начинал синеть, а местами по синеве выказывались черные гряды и кучи. Кроме ложки и лямки, в мешке за плечами у него была балалайка; судовщики приятельски привечали приземистого, кряжистого голыша, с песчаной и болотистой почвы этой части Заволжья, где земля не кормит детей своих хлебом, и откуда щепенный товар: ложки и чашки, ставцы и складни идут на всю Русь. Смекнув скоро, что промысел соленосцев хоть и тяжел, да выгоднее простого бурлачества, он перешел к этому делу, и несколько лет сряду летовал под горой у соляных складов, у разгрузки и нагрузки судов, таская на могучих плечах своих четырехпудовые мешки, по зыбкой кладке с пристани на барку. Свернувшись однажды и полетев под ношей своею в воду, он сильно расшибся, и сверх того несколько дней сряду таскал мешки даром, обрабатывая утрату размокшей соли.

Но вскоре Бугров опять сам догадался, что даже и кряжистому и плечистому мужику выгоднее работать смыслом своим, чем спиною, или по крайности прилагать к делу и разум свой, а не одни плечи. «Бог указал пчеле соты строить, — говаривал он, — и не станет она землю копать и в навозе рыться, как жук; коли дал бог человеку ум, так надо работать и им». Он пошел, не то в корщики, лоцмана, не то в водоливы или в приказчики, верно не знаю, но стал ходить со сплавом соли; затем вошел в долю, потом спустил и свою барочку, и стал промышлять на свою руку. Наконец, продолжая держать суда и заведя даже свою коноводку, он стал торговать хлебом и стал брать подряды.

Вступив в подряды, он очень скоро стал известен своими особенностями, коими заслужил уважение многих и сильную неприязнь иных: он был исполнительен, добросовестен и точен в делах своих, и этим умел избегать всяких придирок и даже предлогов к ним, но зато терпеть не мог крупных взяток и поборов, приносящих другим подрядчикам огромные выгоды; никогда он не шел вперед на такие сделки, никогда не входил в стачки, никогда не брал слазов и отсталого, а любил являться на торги внезапно, неожиданно, даже прямо на переторжку, где чрез это был полным хозяином своего дела, независимым и чуждым всем предварительным сделкам. «Казну окрадывать — народ окрадывать, — говаривал он, — на том свете к ответу поставят супротив несметной толпы — что отвечать будем?»

Семеновская волость платила подрядчику своему за починку дорог, гатей и мостов, ежегодно по две тысячи рублей; новый начальник позвал Бугрова, поговорил с ним, и тот, по обычаю своему, помолчав, потрепав себе бороду, кивнув головой, коротко отвечал: «хорошо, ладно, дело доброе — зови на торги, там поглядим». На торгах, он повинность эту с двух тысяч сбил на семьсот — и взял ее за эту цену тот же, прежний подрядчик!

— Барин, не хорошо дело это, не годится, — сказал он однажды приемщику подрядной постройки, который думал, что тот принес требуемые за приему немалые деньги, и потому принял его глаз на глаз.

— Что тебе не нравится?

— Да не хорошо наше дело делается, так не пойдет оно.

— А мне что до этого? Твоя забота, не моя; а ты все хочешь на фу-фу?

— Нет, барин, ты меня послушай: на фу-фу я не делаю, а делаю так, чтоб было хорошо; вот потому-то у нас

с тобой и дело-то не вяжется: что ты правишь с меня, то положено у меня в стену да в стреху, отдать-то и нечего: ты послушай меня: правду знаешь? Любишь правду? Ты поверь, она скажет, от нее не уйдешь, худо будет; я работал, а ты гулял; свои заработки тебе отдать, да еще приплатиться — где она тут, правда-то? А я что есть стану?

— А зачем ты лез в это дело, с боку припека, кто тебя совал?

— Я не лез, барин, я стоял у стенки с прочими, да еще и позади них, я стоял, по указу государеву, на своем месте; я отвечал на спрос, призерчал; за что взялся, то исполнил, а в чем ряду не было, о том и речей нет. Ты меня послушай: ты толк и силу, и цены сам знаешь, ты взгляни на строение, на свою совесть, для себя, ты забудь это на час, что взять надо, а покайся разок правде, — взгляни, чего дело стоит, да тогда уже дай волю себе, именно, много ль тут с добычи моей отдать можно; ну, тебе надо было ходить и по подвалам, и по подволокам, глядеть, считать, хлопотать — за это спасибо, и возьми вот, за труды эти, что отдать можно; а взять у рабочего, убогого человека, кто кости ломал на этом деле, да отняв у него, отдать тебе — этого нельзя; ты меня послушай: возьми вот, что отдать можно, и бог с тобой, коли греха ее боишься, а нет, так шуму будет много, а корысти мало; ославишься, нехорошо, а правда-таки свое возьмет.

Все это говорил он так тихо и кротко, так рассудительно и убедительно, что неволею заставлял слушать себя и под конец уступать. В другой раз, когда губернатор призывал его, убеждая идти на торги, от коих Петр Егорыч было, по стачке подрядчиков, уклонился, он, почесавшись и поддержав бороду в кулаке, отвечал: «коли так, то ты скажи мне, ваше превосходительство, как мне быть, ты научи меня наперед, чтобы оглядки не было: казну ли обокрасть, чиновников ли обмануть, аль на себя поступиться, свое посадить?» — «По совести делай», — сказал тот. — «А коли такая ряда наша будет, — отвечает Петр Егорыч, взглянув на него острыми, умными глазами, немного исподлобья; — так ведь я зачураю, ты у меня помни слово свое — этого на торгах не вырядишь, а уж мы с тобой про то знать будем: изволь, возьму и сделаю!»

Подробностей, как он шел вперед и наживался, не знаю, могу только рассказать несколько особенных случаев и сослаться на весь Нижний, где, я чаю, не найдется ни одного человека, который бы не помянул дедушку Бугрова добром, не назвал бы его честным человеком и благодетелем

народа. Поговорка его была: «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо».

На телячьем броду затонуло однажды несколько барок кирпича на огромную сумму, и несчастный хозяин в один час был разорен в пух; кроме неоплатных убытков, его нудили тотчас же вынуть из воды и выгрузить кирпич и убрать днища, кои запружали проход судам. Бугров купил кирпич за бесценок, но все-таки за большие деньги, перепаузил его быстро, пустил в Нижнем с огромною выгодой на постройки свои и в продажу, а по выручке, молча поделился с разоренным плавщиком барышами. Кошунствуя в избытке признательности своей, тот сказал: «И сам бог не сделал для меня того, что сделал Петр Егорович Бугров!» — «Не городи зря, — отвечал тот: — не хорошо, говорит: бог велел пособить, а Бугров послушался его!»

Берег Волги, от Кремля вниз, ныне весь обстроенный пароходными пристанями, был дик, в неприступных оврагах и обрывах в десятки сажен; государь Николай Павлович, быв в Нижнем, повелел обратить его в ровный откос, засадить деревьями и сделать спуски и дороги; работ было на миллионы. Все шло хорошо, но одна часть откоса, ближайшая к Кремлю, обильная ключами, никак не поддавалась уровню ученых строителей, и каждую весну снова оседала, съезжая к Волге и образуя новые трещины, овраги и обрывы. Несколько лет бились с этою упорною толщей, упрятали в ней много денег, а успеху никакого. Тогда вздумали свалить эту беду с плеч своих, отдав работу подрядом, в ответом подрядчика на восемь лет. Никто не пожелал взяться за такое темное, опасное дело, где можно посадить и самое огромное состояние. Бугров взялся. Он нагнал вдруг тысячу рабочих — а все Заволжье, по одному слову его, всегда готово было явиться в Нижний, — поднял всю толщу перевороченной земли, на десятки сажен, где по глиняному пласту струились в множестве обильные родники, покрыл весь простор этот сплошным накатом бревен, по направлению ската ключей, накатал сверх еще другой и третий сплошной ряд бревен, поперек и опять вдоль исподнего ряда, — засыпал режу эту землей, сделал и сгладил откос, который стоит и по сей день.

В годину ополчения Бугров сослужил большую службу на людей и на царя. Кто был близок этому делу, тот помнит, как трудно было в короткий срок выставить большой обоз на десять дружин, по образцу, и стало быть весь вновь построенный, а к нему и однообразную упряжь, и наконец

несколько сот лошадей; где их взять вдруг? На месте их нет, — послать скупать у крестьян, по всей губернии накупить всякой дряни — куда их девать и на кого после положить убыток? Чем их заменить, при той поспешности, с какою дело делалось? Петр Егорович взял это на себя, в три дня открыл тележную мастерскую в манеже, а на дому у себя шорную, отправил в тот же день сына своего, Александра Петровича, в Мензелинск и еще на какую-то ярмарку, и отвечал на все опасения и сомнения, что-де далеко, и много времени пропадает: «зато мы покончим его в один раз, я пригоню тысячу коней к сроку, и выбирай; а здесь станем колотиться, выпрягая клячу из сохи да из бороны, и наживем себе беду; будьте покойны, к сроку поставлю, а я помру, так Алексашка пригонит, не бойтесь». И нижнегородский обоз был один из лучших в ополчении.

До конца жизни своей он оставался тем же смурым мужиком, разъезжал по городу, сидя боком на долгих дрогах и свесив ноги; он не хотел выходить из своего сословия, держал двор и дом в своей родной деревне, Поповой, хотя сам жил с умной старухой своею, женой, в Нижнем, жил по делам и подрядам своим и при лабазе; он держал несколько водяных мельниц на оборке и железорезный завод, безропотно оплачивая миром положенные на него 18 тягл! Земля в этих местах ничего не стоит, и он предоставлял оплачиваемую им, кроме своего тяглового участка, беднейшим крестьянам. Привозя в город оброк и подушные с волости, голова всегда заезжал наперед к Бугрову и безотказно брал 200, 300 рублей, коих не успел собрать, и много их этих денег засело за волостью навсегда; ни на это, ни на другое что, он жалоб никогда не приносил. Мне лично известны были до 15-ти человек, выкупленных им из солдатства; каждый из них стоил ему не менее 800 рублей и заклинался всеми святыми, что отслужит ему эти деньги; человека три из них сдержали свое слово, остались вернейшими слугами его, — остальные спились с кругу, были им отосланы или сами ушли, и он даже не поминал об них. «Их воля, — говаривал он, — я свое дело сделал, а они как знают; перед богом будем отвечать всяк сам за себя, там на миру, чай, круговой поруки нет!»

На так называемый крестьянский банк он не дал ни гроша, поняв сразу, что из этого учреждения ничего не выйдет; а, например, на основание нерушимого истинника, для вспоможения ростоми бедным крестьянам, внимательно выслушав весь устав, внес тысячу рублей.

— Деньгу грешно держать в сундуке, — говаривал

он, — надо пускать ее, чтобы народ ею кормился; она в один день семерых обойдет и выручит, а в сундуке она тлен. Где он считал нужным помочь ему, там давал, для оборота, изрядные деньги, и всегда тихо, молча и на слово; сколько раз ни обманывали его, он от этого не изменялся, а говорил только: «Что ж, бог с ним, не я его обидел, он сам себя обидел!»

Петр Егорович терпеть не мог, чтобы какое-нибудь дело за ним стояло, чтобы кто его дожидался; он свято берегся, чтобы никто на него не попенял. Расчеты с сотнями рабочих были у него в субботу вечером, и тут толпа за толпой валила к нему в дом, на нижний базар, зная, что в канцелярии дедушки, то есть в голове его, готов был расчет каждому, а в большой деревянной чаше открыто стояло наготове и казначейство хозяина. Разоблачась, он с чашкой этой залезал на печь, а народ толпился в избе и подходя получал расчет. И здесь умел он соблюдать чинность и порядок: зря не входили, а вызывались артелями, наперед каменщики, там плотники, маляры, кровельщики, и наконец, земляники, и золотая чаша постепенно порожнела.

— Ну, что ты лоб-то крестом чешешь, — сказал он однажды сыну, — а народ стоит на дворе, да ждет!

— Да ведь ты видишь, отец, что я на молитве стою, дай наперед богу начал положить!

— Бог терпелив, не взыщет, Алексаша. Ему, что часом раньше, что позже, все одно; а ты пожалей народ, рассчитай да отпусти, им еще в баню сходить надо, иной за тебя помолится, бог через них даст тебе то, чего сам не вымолпшь!

Петр Егорович, как из этого уже видно, был раскольник, как большая часть этого Заволжья. Между чиновниками удельной конторы, куда тот часто приходил по делам, были прежние семинаристы, кои охотно с ним беседовали и старались его обратить на путь истины. Он добродушно выслушивал их, а потом просил объяснить ему, в чем же состоит разница между его верой и ихнею. Выслушав и это, частью догматическое, частью обрядливое толкование, он отвечал:

— Да ведь я-то сам, я все тот же буду, хоть так стану креститься, хоть этак, ведь уж я, каков есть, таков и буду, все ту же грешную душу богу в ответ понесу, а ведь бо-то с меня, чай, дела спросит, ты помнишь, что Спаситель говорил: бог дела спросит, а не спросит: ты как аллилуйю

пел, как персты складывал? А ты скажи мне, какой закон у тебя, как жить-то надо!

Горячо принимались те толковать ему поучения евангельские, старик слушал спокойно, внимательно, и заканчивая словами: «хорошо говоришь, а вот я погляжу, как делать станешь», уходил.

Однажды новый губернатор, человек ученый и глубоко сведущий в делах веры, приласкал Петра Егоровича, пустился с этим замечательно умным стариком в беседу, и вдруг спросил его прямо:

— Скажи, пожалуйста, Бугров, говорят, будто ты раскольник, правда это?

— Правда.

— Я дивлюсь этому; познакомься с тобой ближе, я узнал такого почтенного, умного старика, как же это так?

— По божьей воле.

— Как это?

— Кто в какой вере родился, в той и умнрает.

— Расскажи же мне, пожалуйста, какая же твоя вера?

— Моя вера? А моя вера вот такая: идешь, либо едешь, глядишь, мужик по дороге с возом в канаву попал, вот, что ты рыть-то приказываешь, ну, как быть, надо свое дело покинуть, надо подскочить пособить; вот моя вера какая!

— Хороша твоя вера, — отвечал тот и более об этом не поминал.

В начале одной из нижегородских ярмарок пошел гул по городу о нехорошем деле: полторы сотни тряпичниц, называвших себя краснорядками, потому что они торговали платчишками и крестьянскими ситцами, переведены были вдаль, к Сибирской пристани, а на их место пущены шорники. Молва прошла, что дело это не чисто, и об нем толковали, приплетая множество подробностей, кои довольно трудно было бы придумать. Слух, как видно, дошел и до губернатора, и тем более его тревожил, что вскоре ждали царя. Желая разузнать попрямее, что это за толки, и правда ли, что и его имя было тут сильно замешано, губернатор попытался было поговорить с некоторыми из служащих, а там и из купцов, но получал только уклончивые ответы; никто не считал полезным вступаться в дело, которое до него лично не касалось, по которому надо было высказать весьма нелестные для губернатора отзывы, и все это по одним только сплетням и пересудам, передавая то, что люди говорят. Подумав, губернатор послал за Бугровым, обласкал его, увел к себе в комнату, беседовал, будто сове-

туясь по некоторым ярмарочным делам, и наконец приступил к нему прямо.

— Скажи-де мне, что говорят об этом деле, о переводе шорников в народ? Ты-де старик умный, ты понимаешь, что мне надо это знать; коли меня все станут обманывать, так я ведь и знать не могу, чего захотят и что мне должно делать.

— Обманывать тебя, ваше превосходительство, я не стану, — отвечал тот: — а что сказать, не знаю; ведь молчок не обман, а меня при том деле не было: народ орет, мало ли что врет? Всего маком не посеешь.

— Я вот об этом-то и прошу тебя, Петр Егорович, скажи мне все, все дочиста, что же об этом говорят?

— Да что говорят, ведь народ глуп, мелет зря.

— Нужды нет, Петр Егорович, говори прямо: правда ли, будто директор взял с шорников тысячу рублей?

— Тысячу рублей, нет, этого не слыхал; а народ говорит, будто ты, ваше превосходительство, взял с них четыреста рублей, а уже после этого и директор взял восемьсот; вот что говорят.

— Как взял? Как же это может быть, чтоб я взял? Я ничего не брал, а они пожертвовали на приюты четыреста рублей! Деньги эти тогда же записаны сполна на приход по приютам и сданы туда.

— Да уж там, куда расписаны деньги по книгам, мы до этого не доходим, народ глуп, он этого не разбирает; а дело в том, говорят, ты взял наперед четыреста, а он после взял восемьсот; коли правда, что ты взял, ну, так стало быть и он взял; а коли ты не брал, ну, так стало быть врут, и он не брал.

— Это однако прискорбно, коли общий голос так неосновательно судит; шорники захотели сделать доброе дело, внесли деньги на приюты, как же мне было не принять их?

— Уж коли заставил ты меня говорить, ваше превосходительство, так надо договаривать; люди говорят вот что: шорники принесли директору тысячу рублей, дай-де нам место поближе, вот хоть баб этих да отставных солдатешек-торгашей выведи, мы выстроим хорошие балаганы, и ряды эти станут показнстее; тот было протянул руку, да и призадумался; нет, говорит, так нельзя, братцы, опасно, а вы подите-ка наперед к губернатору, он охотник на приюты собирать, да ему поклонитесь; коли он примет, так тогда приходите. Вот они, тебя-то задоблив, и пришли к нему, и поднесли остальные шестьсот, а он было не стал

братъ, подай всю тысячу, однако сошлись на том, что грех пополам, взял восемьсот, доложил тебе, как следует, что-де от этого красота ярмарки будет, и сделал по-ихнему. А дело-то не годится, ваше превосходительство, ты меня послушай: ведь это муроносицы, с ними ты что будешь делать? Ведь полтораста баб за решеткой во всю ярмарку не удержишь, а оне так вот всем миром царю в ноги упадут, беспременно, и проезду не дадут, так под лошадей и кинутся, тогда ты что станешь делать? Их за что сбили с места, они тут сидят спокон веку; кому шорники нужны, тот найдет их, не минует, а у этих ведь толчок, им надо сидеть на юру, ты мне поверь, я правду говорю, их не угомонишь ничем, поди воп, как вопят все в одно слово: пойдѣм к царю!

И муроносицы, как их назвал Петр Егорович, были обращены опять на старое место свое, а директор уволен.

Скончалась хозяйка у Бугрова, с которою он прожил мирно и любовно гораздо за полвека, и дедушка повез ее хоронить в свою деревню Попову, за Волгу. В первом же селе по пути священник в облачении вышел навстречу с крестом; несколько старых изуверов, бывших при поезде, зароптали было, но Бугров их остановил.

— Не троньте, все мы одни христиане, все братья; мы молимся своим обычаем, он своим, а бог и Христос у нас один. — И эта встреча повторилась и в прочих селах.

В течение года после этого старик вдруг сильно одряхлел. Увидав его и поговорив с ним, я посоветовал ему отдохнуть, поменьше заниматься хлопотливыми делами.

— А ты думаешь, я из корысти ныне дела веду? Мне на что? Я давно воп гляжу, и с собой ничего не унесу, а с сына будет и того, что есть; да нельзя от дел отстать, народа жаль; ведь около меня кормится тысячи две человек, как я покину их?

Однако вскоре после этого прислал он ко мне весть на словах: «Скажи барину, что дедушка помирать поехал». Он все сдал сыну, уехал в свою деревеньку, сажал там сад и ковырял лапти, подковыривая их, для прочности, ремнями из шири, кожи с цыбиков, и, вместе с подаением, раздавал эти лапти нищим. Он еще раз прислал мне с одним крестьянином поклон и обещанье прислать на прощанье пару своих лаптей, но вслед за тем скончался.

6) КРУЖЕВНИЦА

— Не купишь, ли, барынька, наших балахонских кружевцов, прошивочек, аль косыночек, — говорила с пере-

дышкой плотная, зажиточно одетая женщина, уже в легах, а сама приветливо глядела барыне в глаза и протаскивала за собой в дверь узел и две коробки, — дорого не возьму, дашь нажить двугривенный, так и за то пошли господи спасенье дому твоему!

— Да ты, бабушка, в такую распутицу обуви протрешь на двугривенный, какие тут барыши?

— И, матушка, муж не пожалеет на меня, наново обует!

— А коли не пожалеет, так я бы на твоём месте взяла двугривенный его, да с ним бы и сидела дома, чем выхаживать его в такую непогоду!

— Не про себя я хожу, матушка, мы-то, благодаря бога, такой нужды не знавали, какую господь людям посылает; мой-то, сударынька, чуть не офицер, а что пенсию, так как есть за офицера получает, выслужил у царя, спаси его бог; деток у нас и не бывало, с нас двоих и будет; а муж хороший у меня старик, и люди уважают его, добре грамоте знает и читает божественные книги, не как вот у соседки нашей, вот что у милости вашей была на той неделе, как сказывали, с полотном-то: она, сердечная, только что колотится, а не живет; ты знаешь ли, родная моя, что она вот ездит по городам-то, так пьяницу своего с собой возит: напоит и уложит в сани, словно тушу какую, и поедет с полотном; дома-то шестеро малых покинь, погодки все, на половину ерзуны, а хозяина вези с собой, чтобы не снес в кабак из дому последней кочерги, да куда ни приедешь, там и напои его скорешенько, только тем уймешь и успокоишь его; вот какое житье! А что я-то с кружком хожу, так ты на это не смотри: я по обету, для братца родимого стараюсь (последние слова высказала полупрошептом).

— Что же братец у тебя, больной?

— Нету, лебедушка, перед богом братец мой, небесное царство ему, перед богом; а я вот для дочки братцевой, да внучат его обет приняла трудиться для них, и что руки да ноги заработают, что бог и добрые люди дадут, то на них отдавать; муж-то мой, хозяин, и ничего бы, он иному пору и сам дает на них, да родня мужнина корит меня за это, есть у него свои, и племянники, и внуки, а все голь, ну и говорит мне: твоя-де родня дядину кровь сосет, а легко ли мне слышать-то такое слово? Опять же на нищую хлеба не наемись, надо промышлять самой. Думая так, я, однако, чтобы хлебца подать внучатам братниным, стала было маленечко на харчи накладывать: что ни пойду на базар, по домашности, пяточок и отложу на них: одеженьку ли покупаю

какую, что выторгую, то опять-таки им; ну и ничего, мой-то не скуп на меня, не спрашивает, так дело это у нас и идет. Вот я как-то вернулась с поездки, давно ведь уже это было, муж и говорит мне: «Поди, там что-то у твоих нездорово». Я туда, а ребяташки где еще завидели меня, кричат: «Бабушка, сударушка, золотая, дай хлебца». Я им гостинца, жемочков принесла, а они свое: «Хлебца дай!» Что за напасть случилась, пошла с ними в лавочку, так еле дождалась, как отвесили, по куску разнесли, да ну уплатить! Отец-то, вишь, столяр у них, да занемог, слег, и хлеба божьего не стало. Ну, некуда деваться, надо мужа просить, ничье сердце не утерпит, на голодных гляючи. Тихоныч! «А-ась».... Ну, думаю, коли а-ась, так что-то не ладно; погляжу ему в лицо — а он сумрачный-на сумрачный сидит... беда, думаю, как тут заговорить с ним! Села я было за кружева, прикусив язык; коклюшки путаются, в глазах рябит. Ведь тоже дело-то мое не молодое, а тут и горе... бросила, дай, говорю, со скуки переберу коробью, одежонку перетрясу, — а это, знать, муж любит, скопидомкой за это зовет — стала стряхивать праздничный сюртук его, что-то отозвалось в кармане — я рукой туда — целковый! Ста рублям бы так не обрадовалась, сударынька! Наскоро убравши все, я тут же снесла его племяннице — слава богу: хоть на хлеб будет, а сама иду домой и раздумываю: ладно ли я сделала? Чай, надо было у мужа спроситься, а я украдкой; вот я ему этак стороной и говорю: «Тихоныч, у нас в Балахане жена от мужа тихую милостыню подает, ладно ли это?» А он: «Коли не ладно, украв Часослов, да: услыши, господи, молитву мою!» Ах ты, господи, что тут делать! Я в те поры за кружевом сидела, на масло плела, по обету также, да и подумала: «мать пресвятая богородица, уж полно, в угоду ли тебе лампадка-то, коли семеро без хлеба сидят?» Глянула на икону-то, а от лика ее на меня словно тишь повеяло — я все на нее гляжу, и подумала: спрошу я хозяина — а он у меня божественные книги читает, и мне ину пору слушать велит, и хорошо таково там писано... «Тихоныч, что ради бога лучше, свечку ли ему поставить аль милостыню подать?» А он: «Спаситель говорит: «милостыни хочу, а не жертвы»; когда свечу ставишь, значит, жертвуешь; а милостыню подаешь нужному, значит, милость творишь». Слово рассвело у меня на душе, от таких его речей, — вот оно что, божественные-те книги читать; а мы вот люди темные, и нехотя согрешаем — не знаешь, в чем грех, в чем спасенье! Кабы не Тихоныч, я бы так все, словно впотьмах,

из стороны в сторону шаталась, и на хлеб внучатам таскала бы украдкой, а на неугасимую богородице работала бы день и ночь, и глаза бы себе послепила! Так вот, золотая моя сударушка, как увидела я свет духовный, так с того часу и наложила я на себя обет: мужа не обманывать ни на копейчку, и покаялась ему во всем; добра его на свою нищую родню не переводить, а трудиться весь век свой, и коклюшками-то, и переторговывать, трудиться на братни-ну семью — оно и по душе его пойдет и накормит голодных. А вот как я, дура-то, заживо было похоронила мать, да она, сердечная, через годочек побывшилась, так Тихоньч и не велел мне на похороны своей трудовой копейки рушить; отдай, говорит, по душе ее, своим, там помолятся, а мать схоронить это мое дело!

— Все это хорошо, тетка, и оба вы с мужем хорошие люди; да как же ты это мать-то было похоронила? Знать, обмирала она, что ли у тебя?

— Нет, матушка, лебедушка моя, не обмирала она, сердечная, а так это я сдуру, потешить ее захотелось. Она, вишь, уж добре стара была и немощна, уж только ину пору на солнышке погреться с печи слезала, вот она, царство ей небесное, и говаривала бывало: «Аннушка, а жалко тебе будет меня хоронить?» Кормилица моя, говорю, да кого же и жалеть, коли не матушку родную, что на бел-свет, на святорусье народила! Что мне, детей не дал бог — ты да хозяин, вот и вся тут! «Ладно-де, дитяtko, а станешь ли выть по мне, по закону?» Мамынька, да как же не взвыть по тебе, как понесут на божье поле! «А причитать, мол, по-законному, станешь?» Ну, вот этого, корми-ца моя, не стану, не умею, и в жизнь ни по ком не причитывала! «Не ладно будет, Аннушка, люди скажут: ей ма-тери не жалко; хоть ни по ком не причитывала, а по род-ной матери надо». Мамынька, да как же сказать-то им это, коли всем ведомо, что вот уже 30 годов замужем живу, а ни в одном слове тебе не перечила. А причитать не умею; ведь плач плакать надо складно, а то люди тоже осудят, а я не умею. «Так-то так, Аннушка, а все не ладно будет, коли по мне причитать не станешь; скажут: вот она чуть не офицерша и зазналась, и по матери не плачет. Полезай-ка Аннушка, на печь ко мне, сядь на край, ну вот и слушай, я тебя научу, и говори за мною». Вот мамынька-то, севши, и стала покачиваясь плакать: «Солнышко ты мое красное, ты куда закатилось! Лебедушка моя ты белая, а ты что не шелохнешься! А и словечушка не промолвишь, крылышком не примолвишь, крылышком не приголубишь!..»

Мамынька, говорю, да как же стану белой звать тебя, ведь уж мы с тобой не кровь с молоком, ты ведь черна, да худая... «Ничего, дитяtko, это любя так говорят в причитаниях, это с жали, а ты говори за мной голосом, и кулаком-то так бороду подопрн, вот, да головушкой то и покачивай: Статенушка моя писаная»... Мамынька, да что ж мы с тобой станем людей смешить, уж какая ж ты статенушка! «Эх, Аннушка, а ты знай причитай за мною, так водится; да тут не ладно на печи — вот погоди-ка я лягу на лавку под образа, а ты сядь в ногах, да открой окошечко, да причитай за мною голосом». Вот она, сударушка моя, легла, и вытянулась, и оправилась одеждой, и руки скрестила на груди, и стали мы причитать голосом, громче да громче; она-то услаждается, а я-то слезами обливаюсь, да уж волком вою... Кто-то услышал с улицы, заглянул в окно, сказал соседям, народ всполошился — тоже ведь не без добрых людей: — сбежались, а мы с мамынькой никого не видим, не слышим — побежали соседи за мужем, за попом — говорят: у Тихоныча в два голоса воют, старуха померла — воеет-то дочь, а другой кто? Ан это сама, прости господи, покойница и плач ведет, а та за нею! «Дура ты дура, что это делаешь, — закричал муж, тряхнув меня за плеча!» — Я тут только и опомнилась... гляжу, мамынька-то сидит, а подле отец духовный, разговаривает ее... Вот, барынька моя, до чего бабья-то дурь доводит...

Барынька заслушалась кружевницы, которая плела красно и языком, и вопросом о детях племянника ее развязала ей еще более речь.

— Малы еще, матушка, да пятеро, одолели; ину пору пристанут ко мне, как приедешь, да неведаешься с чем бог послал, из своих-то заработков — баушка, раззолотенькая, Расскажи да Расскажи сказочку! Ведь дети до сказок, что мухи до браги, падки; вот пристанут к тебе, да осядут, словно репы — а я спокон веку на сказки-те не горазда, памяти знаешь нет; вот и зачну сказывать им побывальщину про честную вдову, свет-Аннушку — это про свою мать то есть — как жила она своим молодым разумом, как она детушек двоих жалеть жалела, а баловать не баловала, приграживала; тут и начну прибирать, чему нас с братцем-то, царство ему небесное, матушка покойница учила: так и так, мол, дурить не ладно, за это яга-баба в мешок унесет, в ступе утолчет; и на мать огрызаться не годится, язык присохнет; и в чужой огород не лазить, там сидит бабища-капустница, у нее голова кочанная, руки морковные, ноги речные, сама в рспях, хмелем подпоя-

сана, в руках хворостина долгая, из-за угла стегнет, — а они слушают, дышат, друг на друга глядя, да на ус мотают; ну и пойду сказывать, чтобы поразмять их после страху-то: а детки у нее, сестрица Аннушка с братцем Иваном, жили мирно, любовно, советно, и ссорушки меж них не бывало; и как они матушки своей родименькой не то, что подмогой были, а подростя и укывом стали, как братца Иванушку, единым единого вдовьего сыночка, сиротинушку не в черед в солдаты сдали, за то, что заступиться было за него некому, а велик желвак, да в чужом боку не болит; как дядька братнин до него добр был и домой пускал его, и сам с ним прихаживал, да и женился на Аннушке; как он просьбу царю написал, что не по правде отдали Аннушкина братца, старше его есть по волости, и тройников, кои побогаче, обошли; как братцу царская милость, отставка вышла, через год со днем, и воротился он домой, к жепушке, к доченьке, к милым ее детушкам, а ныне спротипушкам; не долго пожил, сердечный, бог смилловался, прибрал; как все они после того жили, поживали, горе мыкали, беды изживали; как детки бабушки слушаются, а она бога умоляет, на хлеб деткам добывает...

И, разжалобясь сама над своею побывальщинкою, кружевница моя прослезилась и прибавила:

— Вот, матушка моя, сударынька, я и хожу по обету, за братцевых внучат; что бог пошлет, за то и молюсь, и мужишного добра не извожу на них, чтобы не слышать покору от роденьки его...

7) ОБМИРАНЬЕ

Неисповедимы будущие судьбы Руси, а широко раскинулся материк ее, и много простору обнял один язык, одна речь, один народный дух. Много мерзости запустения видится по грешному лицу ее, искажение внедрилось в человечество и бродит в нем из поколения в поколение; но вечного брожения нет, а упование не умирает... тут и там глас вопиющего в пустыне, кой-где, в укромной тиши, среди потемков, искры, обладающие теплом и светом — и повсюду — божеское провидение, не покинувшее доселе народа своего и отвечающее на безумие премудростию: и в таких нежданых искорках отрадно разгадывать предвестника зари будущего рассвета...

Чем дальше от столиц наших на юг и на восток, тем простор становится шире, и еще много, много видится тут

умственно впереди... Катись по природному хрящу полотно, не устлана дорога золотом, не полита потом, чтобы железо ела — как говорится о щебенке, а так создана, какова есть; не глушит и пронзительный свист рыскающего парового зверя, не мчит он тебя вихрем, так, что света божьего не видать, не кружит тебе голову от мелькающих столбов, решеток, значков и будок, а скачешь и катишься раздольно, льготно, оглядываешься на частые дубравы, на пологие зеленые скаты, на крутые берега, на дальние темные боры, на седой придорожный ковыль, на стерлитамакские меловые горы, на синее плесо Белой, мелькнувшее внезапно с темени взлобка...

Так и я скакал когда-то, и коренной обитатель этой дикой, обильной стороны, башкир, поматывал кнутиком и тянул, уныло завывая, тоскливую песню свою. Дымок по ясному небу издалече указал жилье, и это был городок, населенный казаками, мещанами, торгашами, немногими татарами и должностными по управлению лицами, окруженный хорошими селами, скопом переселенцев из десятка малоземельных губерний, даже из Украины. Подъезжаем вскачь, во весь дух — коли дымком запахло, то башкирской тройки на лычных вожжах не удержишь — гляжу — и сюда, и в эту глушь забрались былые порядки, и тут у въезда стоит застава, хотя огорожи нет никакой, и въезд во все улицы вольный; но караула нет, оцеп высоко приподнял журавлиный нос свой, расписанная клетками будка пуста; из нее торчит солома, вокруг бродят телята и гуси, а резвая коза, вскочив на оцеп, осторожно пробирается по нем в гору, сама не зная, зачем: вероятно, как англичанин, чтобы побывать там, где еще никто не бывал. Все улицы идут прямо вниз, к реке, и башкир промчал меня на лыках под гору, с трудом заворотив по запоздалому крику моему лошадей и подъехав большим кругом к указанному ему домику с зелеными ставнями. Я ехал по службе, и эти зеленые ставеньки были издавна суточным приютом моим на перепутье.

Старушка, но еще крепкая и здоровая, с засученными по локоть рукавами, с кулаками в муке, хлопотливо выглянула из сенец на деревянное крылечко и рассыпалась в приветливых причитаниях.

— Ах ты негаданный, желанный! Вот кого бог принес! Что давно не бывал? А у меня седни пирог с белорыбцею, да ботвинья с провесною, вот словно ждала дорогого гостя!

Старуха обнялась со мною и повела за руку через высокий порог в светелку. Тут все по-старому: широко раз-

рослась розанель по окнам, а между нею тычком стоят бальзамины, вечно в цвету; столик с синею салфеткой, посреди которой сидит затканый белый петух, окруженный лавровым венком; желтый ситцевый диван, с которого, ради гостя, спешно сдернула чехол, и явились мирные картины возвращения в свои семьи ратников, из-под француз-а: везде объятия, хлеб-соль, веселье, и, право, Авдотья Власьевна не могла подобрать лучшего картинного узора для своего дома.

Хозяйка моя была женщина замечательная, а я знал ее уже давно. Все насущное имущество свое она заработала колотьбой и трудом, здравым смыслом и оборотливостью; правда, муж оставил было ей на хлеб и одежду, оставил ей и тесовую кровельку, под которою жилось уютно, да зятек сумел объехать тещу на кривых, прочитав полуграмотной доверенность на забор товара для торга на сотню рублей, а дав подписать дарственную запись на дом, на скот и на деньги, которые ею розданы были, по обычаю, в рост. Доброе дело это обнаружилось для Авдотьи Власьевны не прежде, как когда уже зятек, прогулав все, стал без обиняков гнать ее из дому. Кроме этой замужней дочери, у нее был еще малолетний сын, которому она и прочила именице свое. Поняв, в чем дело, узнав, что все долги давно собраны зятем, и что сама она живет в чужом доме, Авдотья Власьевна долго не думала; по ее убеждениям, нельзя было не разругаться за это с зятем, а затем надо было позаботиться о себе и о сыне.

— Где у тебя бог твой, — сказала она зятю: — аль ты думаешь, что он каинских дел твоих не увидит? Увидит он все, зятек, помяни меня, не даст он младенца в обиду, не оставит его без приюта; а ты, да я еще и глаз своих не закрою, как ты накланяешься братцу своему, отопчешь пороги его! А ты, донюшка, не величайся своим гильдейством, а знай: коли твоя вина тут есть в этом деле, то и ты недолго набарствуешь, радехонька будешь братские полы подмыть!

Кончив таким образом эти расчеты, Авдотья Власьевна перекрестилась, вышла с ребенком из дому и дала за-рок; не знать покоя ни днем, ни ночью, покуда не воротит сыну отцовского наследья.

Водворившись у кумы, она первые дни провела не без дела, поминая зятка не добром, по поводу беседы с советчиками и соболезнователями, которых было не мало. Но, поуспокоясь и сказав: бог с ним, она ободрилась, сосчитала небольшие деньжонки свои и решила торговать для

заработков. Доселе она была домохозяйка, скондомка, ставилась уменем печь пироги, да готовить суточные щи, кои замораживались и снова переваривались, а теперь принялась за торговлю в разъезд: купив пару добрых коней и справив две упряжи, она поехала с двумя возами орехов, на кои в тот год был урожай, в Оренбург, и взяла с собой сына и еще работника. Это город степной, где дынь и арбузов много, а орехов нет; Власьевне едва дали стать на базар, как уже молва разнеслась по городу, что орехи в привозе, и две подводы очистили, расхватали их до скорлупки. Одну телегу нагрузила она арбузами, кишмишем и урюком, да бухарскою красною выбойкой, которую народ так любит за дешевизну и прочность ее, потому что она в носке мало уступает холсту. И Власьевна не довезла своего товара до дому, все дорогой разобрали: на ягоды кидались торговые люди, для развозки по сельским базарам, а на выбойку бабы, в каждом селении. Воротясь с пустыми возами и одними гостинцами кум восвосяи и встреченная вопросами о том, как бог помог, она только смеючись головой поматывала да отмахивалась руками. «Ты нишни у меня, молчи,—приговаривала она сыну,—небось, господь сироты не покинет!» И опять посхала она с орехами да с возом лука, и так же вернулась с бухарским товаром, а по перевозимью повезла орехового масла, меду, соленых груздей, — всего этого нет в степном месте — а воротилась с уральскою рыбой и икрой, товаром дорогим, который перекуплен был у нее купцами и пошел в Уфу.

«Никак обозы Авдотьи Власьевны пришли!» — говорили шутники, когда ночной скрип полозьев раздавался длительно под окнами. «Да, — отвечал другой, — поди вот, какую силу забрала, ведь скоро в городе у нас купца не будет с оборотом против нее!» — «Старательна больно, — заметил третий, — да смышлена, опять же, знать, и господь постоял за сироту, ведь уж больно пьянюжка этот обидел старуху!» «Крепка в слове, — объяснил еще другой, — сроду никого не обманывала, да и сына тому же учит, вот с нею и торговые все лучше дела-то делают, чем с любым купцом; барыши барышами, да ведь на торг они с убытками на одном полозу ездят; наш брат, малосильный, чуть подойдет, по грехам своим, ну и кинутся все на расхват, и подшибут; а, вишь, ей верят, не жмут, все только кланяются, почет отдают, знают, что все сроки исполнит». — «Вестимо, — отозвался еще один горемычным голосом, — без веры не торговля, а колотья; мощну-то убьешь на товаре, а перехватить-то и нечем!»

И доездила-таки Авдотья Власьевна до того, что выкупила родовой домик свой, пропитый разгульным зятем, исправила, ухитила его, убрала уютно, записала сына в гильдию, передала ему всю торговлю, наказав ему не поминать зятяка лихом и считать нажитое ею за отцовское наследие. Поправив и устроив дела таким образом, она сама уселась на покой. Ей через улицу шапку сымали, а, к обедне идучи, она едва поспевала на все стороны раскланиваться.

— Что тебя, Власьевна, давно не видать на нашей стороне? — спросил я. — Аль по рыбу боле не ездешь?

— Полно мне, старой бабе, по большим дорогам мыкаться, слава богу, свое дело сделала: за свою простоту потрудилась, чужой грех покрыла, отцовским благословеньем сынка не обидела, стало быть, господь милостив к нам; пусть теперь Прокопий Андреевич сам за себя стоит; я все дела ему передала, пусть сам заправляет.

— А где же у тебя Проня? — спросил я.

Старуха зорно на меня поглядела, хитро прищурилась и шепотом сказала:

— На след красного зверя напал, так вишь порошей выслеживать поехал!

— Вот как, среди красного лета да порошей! Это ты, Власьевна, загадками глаза отводишь? На какого ж он красного зверя позарился, сказывай!

— А кто его знает, на черного ль соболя, на белую ль горностаюку, его воля — вот увидим.

— Ну, дай бог любовь да совет, коли так, вот и Проня твой заживет не получеловеком, малый он славный, да ты же его добру и учила; а по нраву ль тебе невеста?

— Тебе вот все до ноготка, всю запазушную расскажи! Ему ведь жить с нею, а мне только глядячи радоваться; сказывают, не то, чтобы в окно подать, а хоть кому на ладонке поднести: и умница какая, и до сиротства жалостлива; пред Пасхой, сказывают, отцу насупротивничала, а все из-за этого ж дела: ты, тятенька, говорит, мне мантина-то не справляй, мне не надо, а ты вот бедняков этих пристрой! А отец-то, сказывают, нравный такой, а дочь-то любит, ну и выпросила-таки, отец старшего парнишку, сироту, к себе в лавку взял, и о других позаботился. Уж дал бы господи этому делу устроиться, так бы я поглядела еще, поколе богу угодно, на голубчиков своих, да и посылай господь по душу, да прймай ее, милосердный... А ты не

объезжай нас и впредь, пусть и детки порадуются тебе, а ты на них!

Год спустя, о ту же пору я опять мчался по тому же пути; день был праздничный, и вся природа, казалось, праздновала его. Было тепло, но не знойно, тихо, но не мертвый застой; легкая встречная тяга воздуха обдавала прохладой и незаметно уносила докучную путнику пыль, глаза свободно глядели на мир божий, ширяя по закрою, и чувство раздолья вздымало грудь. Бездна дичи оживает здесь воздух, поля и леса: стаями сидит краснобровый полюх на любимой насести своей, на сухой придорожной березе; думчиво тяжелый мошник покачивается на макушке островерхой ели; шумно вырывается внезапно из-под ног боровой кулик, подымаясь столбиком в году: по быстрым ключевым потокам, как тень мелькая, стрелою пронесится золотистая форель и пеструшка, не сближаясь потому только с каспийским осетром, что увалень этот обложен поголовщиной на уральское войско, и ему дорога кверху перегорожена непропуском; ю на почве этой захожему гостю, оленю остяцкой тундры, случалось сталкиваться с горбатым степняком, караванным верблюдом.

И опять-таки башкир промчал меня на лычной упряжи под гору, мимо обычного пристанища моего, зеленых ставенек; я с трудом вразумил упрямую тройку свою, что надо опять подняться в гору, воротясь назад. День был праздничный, обедня отошла, улицы полны разряженного народа, все завалины усажены пестро и нарядно разодетыми казачками, мещанками и крестьянками, а мужчины, в халатах и кафтанах в накидку, расхаживали туда и сюда. На завалинке, пред домом с зелеными ставнями — на коих увидел я обнову: расписные горшки с цветами — на завалинке сидела молодая чета, кровь с молоком; Проня в красной канаусовой косоворотке, в черных плисовых шароварах, а молодая его, статная, светло-русая, так и сияла в шелковых переливах: голова ее повязана была малою или гладенькою головкой, купеческою повязкой; кончики косынки надо лбом продеты были в алмазный перстенок, а сверх васильковой головки этой накинута была легкий кисейный платочек, захлестнутый концами под бородой. С детским любопытством глядела она на чужого приезжего во все глаза, а Проня, узнав гостя, бросился высаживать его из тарантаса, подозвал жену, крикнул в окно матери: «Ничего, Серафимушка, — продолжал он, когда та, потупясь, чинно раскланивалась, — подойди да поцелуйся с гостем, ничего, барин знакомый, вот какой знакомый, ровно свой!»

Проня нудил меня в избу, ухватил чемодан мой, напирая им на меня, из усердия, сзади, а тут выбежала старуха, и обнимаясь, всхлипнула, но удержалась, и стараясь подавить чувства свои, суетливо повела под укромную стреху свою. Это бурное волнение и взрыв не могли быть вызваны, как прямою причиной, моим приездом, и я оглядывался с каким-то беспокойством. Вошли и сели, праздничный самовар не только был уже на столе, но, казалось, уныло допевал протяжную песенку свою, собираясь уснуть, да и в хозяевах было что-то молчаливое, тоскливое, неловкое; старуха говорила коротко и сухо, и как будто даже облик ее изменился; сын молча вздохнул раз и другой; невестка, потупя очи, робела и, унося допевающий самовар, боязливо покосилась на свекровушку свою, не зная, угодное ли ей делает.

Мне стало грустно. Кто же это из вас, подумал я, и сам потупя глаза, кто провинился, кто разрушил благодатный мир и покой за зелеными ставеньками, на коих, будто на показ, расцвели алые и лазоревые цветы, между тем как за ними душа томилась, жизнь блскла? Ведь не ты же, прямой и добродушный парень, от которого не было матери иного ответа, кроме: «как знаешь, матушка, воля твоя, как хотите»; ведь и не Серафимушка же, которая не красовалась бы этою кроткою умилкой на щеках, если бы рушила и свой, и семейный покой; так неужто же ты, чтимая всеми, старая доброжелательница моя, разумная, богобоязненная, неужели ты сама подкапываешь и зоришь дом, тобою воздвигнутый?

Между тем соседи дважды прибегали звать хозяев на вечеринки, но молодые тихо отказывались.

— Чего нейдете, — сказала мать, — я и без вас гостя угошу, слава богу, не впервые!

Я вздохнул. Не родительская речь это, Авдотья Власьевна, подумал я, и не добром она звучит; знать, злой кикимора раздора вытеснил твоего исконного сдружливого домового и поселился за изразцатою печью, которая, бывало, так приветливо на меня глядела своими спшими нехитрыми кувшинчиками, по три цветочка в каждом!

Молодые ушли, но не как уходят на вечеринку, а будто из-под неволи, робко и грустно. Я сидел молча, вслед им глядя. Убрав самовар, старуха села подле меня, как и в былые годы, с чулком, и также молчала; казалось, мы оба придумывали, с чего бы завязать беседу.

— Авдотья Власьевна, — спросил я без обиняков, — что это у тебя в доме делается?

— Чай, сам видишь, что! пословица не спроста говорит: материно сердце в детках, а детское в камне! Уж я ль его не любила, не жалела, уж я ль ему не была днем денною печальницей, в ночь ночною богомольницей!

Договорив это через силу, старуха воскликнула и горько зарыдала, накрыв лицо руками. Знать, сильна была кручина, что одолела стойкую, крутую бабу и прорвалась обильными, жгучими слезами.

— Да скажи мне на милость, — продолжал я, отводя мокрые руки ее от залитого слезами лица: — скажи мне, Власьевна, что же это у вас случилось, какой некошный мутит в доме? Кто причиной этого горя, ведь не Серафима же, тихая, кроткая, которую ты сама так хвалила...

— А в тихом-то болоте бесы водятся, — горячо перебила она, и заплывшие слезами глаза блеснули недобрым блеском.

— Власьевна, ведь не похожа Серафима твоя на гнилое болото, воля твоя!

Старуха вспылила так, как я не видывал — много, стало быть, наболело и накипело на этом горячем сердце.

— Что бела да румяна, да бровь черна, так и не похожа! А что же в красоте ее, не воду пить с лица! В людях красоваться, так было маком сидеть, а пошла замуж, так тут потешка иная, а про то забудь! В людях смиренница, а дома змея западушная! Нешто мы в орде живем? Да и там старших-то почитают!

Я молчал, а Власьевна, после короткой перемижки, продолжала:

— Тихоня она этакая, и сына-то от меня отворотила! Правду говорят, что по дочери зять помплет, а по невестке сын опостылеет! Таков ли он теперь до меня, каков был? Из рук моих глядел бывало, слова супротивного не слыхивала от него... Что, не веришь? — продолжала она, зорко в меня вглядываясь: — да она, слышь, и в девках-то тихоней, смиренница этакая, смотрела, а отца под свой норов гнала. Заартачится, говорит: не хочу я ничего, не хочу обнов, а вот сделай то и то; старик и сам человек нравный, и туда, и сюда, нет, обойдет-таки его, на свое поставит. Навязалась на нес какая-то лохмотница, попрошайка, да еще и с ребятишками, и довела-таки отца до того, что пристроил их всех, кого куда! Вот пошла было она и у меня верховодить, да нет, я ей воли не дам, я ей сразу всю правду-матку высказала, я ведь перегородя рыло, говорить не люблю. Вот она и притихла тебе, словно добрая какая, а шуры-муры пошли да пошли! Ты, чай, Пшеницыну Феклу

знаешь? Ну, хозяин ее, торгуя, перехватил вишь у меня об Рождество сотню, а на маслену бог по душу послал, по мер; хватъ-похватъ, денег нетути, товар по рукам роздан, стали допрашивать хозяйку — а та что, вестимо бабье дело, кроме печи да запечья ничего не ведает! Как у них там дело было, не знаю, только потянули заимодавцы Фсклу мою во все стороны, известно, кому своего не жаль! Она и приходит ко мне плакаться, да речь заводить о сиротах, а у меня тут и без нее на сердце накипело; я ей и говорю: Да мне что, Фекла Андреевна, дети твои, а деньги-то мои. Гляжу, а моя-то, что вишня, раскраснелась, с пазолу на меня; вот и пошла она сгоряча, не то уламывает меня, не то учит уму-разуму. Зло взяло меня, я и говорю: знаем мы, невестушка, что ты из молодых да ранняя, только ты мне в моем дому не указчица: мы твоих-то золотых гор еще не видали, а нашим добром не распоряжайся. Опять смолчала Серафима Ивановна, а как пошла от меня Фекла, гляжу, встала за нею невестушка моя, я пождала, да и сама приотворила дверь в сенцы, и слышу голос ее. «Ты де, тетушка, не кручинься, с малолетних сирот отцовских долгов до возраста искать не станут, а я вот упрошу свекровушку свою за тебя, и мужа просить стану, он послушается меня...» Ладно мол, красавица моя, ладно, где сладкою речью не возьмешь, там змеей прошипшишь! И, хлопнув дверью, я пошла к себе. Что она там после сынку моему насказала, не знаю, не была я при том, и грешить не хочу; только стал он от меня отшатываться, и ее-то с собою уводить, а коли дома, то словно всякое слово мое сторожит, ровно ее оберегает от ведьмы какой, прости господи! А мне что: коли мать-родительница через эту смиренницу опостылела, так и бог с ним! — Так закончила с притворным равнодушием, обманывая самое себя, огорченная старуха.

Но из всех слов этих я убедился, что эти семейные нелады, прямо ведущие ко вражде непримиримой, основаны на одних только вздорных, пустых недоразумениях, в коих, несмотря на все достоинства свои, виновата одна Власьева. С горячею любовью хлопотала она о женитьбе сына, готова была, для счастья его, на всякую внезапную жертву, но не уяснила себе будущего положения и отношений своих, а положившись на бога, что-де авось все пойдет тогда хорошо, сама не приняла на себя для этого никаких обязательств, не сознавала никакой перемены в доме, глядела на невестку, как на новую картинку, прилепленную к стене, безгласную, немую, а на сына, как на того же без-

заботного парня, которого надо рóстить, холить и поучать, ни в чем не давая воли.

Пока сердце человека не затронуто страстью, не распалено, оно судит и рядит здраво, не только по рассудку, но и по верному чутью; тут ум и сердце заодно, раздору нет, благодатный мир покоит чистую совесть; но коль скоро кремневая самотность даст искру о стальную грань внешнего мира, и вспышка распалит сердце, то оно становится слепо и глухо, и тупо к мудрой правде, оно слышит только себя, оно ненавидит все, что не может с ним согласоваться, и впадает в безумие. Своей вины мы никому не прощаем. Давно ли старушка моя, умная и добрая, хвалилась благостыней Серафимы, давно ли ставила ей милосердие в великую заслугу, говорила, что заступнику нужных сам бог пособник, а теперь позабыв речи свои, те же дела ставит ей в укор, ненавидит ее за них и гонит со свету.

— Авдотья Власьевна, — сказал я наконец: — не знаю сам, что тут говорить, это вас некошный помутил: помолимся богу, дай, я вас помирю!

Старуха встала с места и повторила:

— Ты помиришь? нет, отец родной, — продолжала она с твердостью: — ни ты, ни кто живой человек не помирят нас, а разве один только господь.

— Подлинно так, Авдотья Власьевна, — отвечал я: — дело это божье, не наше. Горе горькое выжало из меня бахвальную речь эту, а сам я вижу, что тут человеческим умом ничего не сделаешь.

Скучно показалось мне в этом доселе радушном домике, будто я попал в чужие люди, на чужое место, и сам стал не свой. Я послал за лошадьми; почти молча мы простились со старухой — слезы душили ее, и смутная дума потянулась вслед за мною: уныло вторил ей поддужный колокольчик, по звуку более сходный с боталом, в котором по временам путалось и заплеталось клепало, обличая неровную побегу коренной.

Смерклось вовсе, и мы катились по дороге, что по полотну, молча. Наконец возница мой соскучился и, оглянувшись, спросил: юрлан-ме? запеть, что ли? Юрлай, — отвечал я, будто проснувшись в раздумье, — пой, твой волчий вой не будет рознить со строем души моей. Башкир будто мехом потянул в себя дыханье, позадержал его и залился плачевным, высоким голосом, словно издали по ветру донесся звучный стон, под конец замиравший; затем последовал однообразный напев, на слова местного, народного сочиненья: «Сакмар быстра, бреуна тулста, ик-

мяк да иок, капрал да сок!» И наконец дело завершилось начальным протяжным воем.

Не развеселила меня эта песня, сложенная, как все народные песни, никем, хотя и поется всеми. Отчего же самый благонамеренный, ретивый и честный начальник покидает за собою такую память? Отчего, спрошу прямо, из стольких десятков переменных начальников губерний нет ни одного, о ком бы на месте большинство отозвалось признательно и любовно? Издали указывают, как бы завидуя друг другу, на того или другого с похвалой; бывалых и давних иногда поминают добром; но на лицо не бывает. Был один такой, близкий мне человек, так скоро надорвался, обезумел, и богу душу отдал. Был и другой, так этого довели до неистовства, и он стал править кулаками. Знал я и третьего: он честно бился, до изнеможенья, а потом стал править, отписываясь и рассчитывая, сколько ему осталось служить до пенсии. Сквозь трущобу корысти, бездушной лени, несознания за собой никакого долга, сквозь грязный слой привычной обиходной лжи, сквозь целые горы письма не пробьешься, ни снизу, ни сверху; задавленные всем этим, мы ждем только больших оказий, чтобы прокричать ура, задать обед на славу, и очень заботимся о том, чтобы праздник этот, прощальный или встречный, праздник, на котором мы забылись и перевели дух, был обстоятельно пропечатан во всех ведомостях. Этому описанию задушевности никто не верит, никто и не дочитывает, но дело закончено в порядке и сдано в архив...

На какой бестолковый бред, однако же, навела меня заунывная песня башкира, которую я, будучи не в духе, назвал волчьей песенкой! Но дело в том, что года через три, четыре после этого со мною случилось то, что, говорят, со многими бывает: внезапно мелькнуло во мне чувство, будто я вторично переживаю какое-то мгновение прошлого, будто все, что во мне и со мною, сбывается вторично. Я быстро оглянулся, и увидел, что еду ночью на башкирской тройке, что возница, в островерхой валяной шапке, завыв-

¹ Лесная и дровяная торговля в степном Оренбурге была в одних руках, и цены, как полагали, произвольны и высоки; чтоб устранить это зло, основана была казенная дровяная торговля, со сноном леса башкирами, по наряду. Дело кончилось обогащением нескольких казачьих чиновников, обнищаньем многих башкир, большою смертностью в сгонных командах, еще большею противу прежнего дороговизной дров, и разореньем лесопромышленника, который кончил жизнь свою в землянке, на кладбище, где поселился божедомом и хоронил своими руками покойников, во время страшного холерного мора. Память его жива донныне и проживет долго.

вает: «Сакмар быстра, бреуна тулста»; мало того, увидел, что подъезжаю к тому же месту и вскоре помчусь под гору, к домику с зелеными ставнями!

Нечаянная встреча задержала меня однако же на несколько часов по соседству, и знойное солнце стояло уже высоко, когда я остановился у знакомых ворот, задвинутых, на сей раз, будто шккого не было дома, да и в окнах, не смотря на почтовый колокольчик, никто не показывался. Я вошел в калитку, взошел на крылечко и оглянулся: сенцы усыпаны были свежеею, пахучеею травой, на коей сидела краснощекая, белокурая девочка, заботливо выбиравшая синие колокольчики, алый душистый горошек, белую кашку, укладывая их ворохом у себя на коленях и напевая про себя: «Алый цвет, алый цвет, скажи, любишь или нет?» Глядя на такого ребенка, мне всегда думается: сколько мира и непорочности дается человеку в задаток будущности его, как свято и цело блюдетс я он, доколе еще сердце и думка не рознят между собой, и какое бурное волнение в нем возникает с того часу, когда он начинает сознавать личность и самостоятельность свою! Какое врожденнос сочувствие к этому мирному младенческому быту отзывается в тайнике души каждого утратившего это состоянье, даже в самом грубом и черством сердце!

— Здравствуй, дитя, — сказал я тихим голосом, чтобы не всполошить ребенка. Малютка вскинула на меня ясные карие глаза, в коих отчетливо отразился взгляд матери ее, а облик в губках и умилке на щеках. — Здравствуй, — повторил я, переступая порог; девочка вскочила, тихо проговорила: «Здравствуй», — кивнула головкой и попятилась. — «Как тебя зовут?»

— Внука, Душарка, — проговорила она и бросилась бегом мимо на двор.

— Где бабушка? — кричал я ей вслед, но Душарка, оглянувшись на меня и ничего не отвечая, вскочила через растворенную калитку в огород и скрылась в густом, рослом бурьяне. Я глядел ей вслед, с высокого крылечка, изпод навеса на резных столбиках: трава раздавалась и колыхалась над головой беглянки, струясь за нею, как вода за ныряющим утенком. Пошедши этим следом, я услышал зов ее: «баба! баба!» Все вокруг меня было в полном росте: в воздухе стоял запах укропа, огурцов, медунки и липы в цвету, подсолнухи подставляли щедровитое лицо свое прямо под палящие, знойные лучи; янтарная смола топилась и висела ожерельем на золотых лепестках; под липами и старою, нависшею ивой стояли улы, пчелы дружно гуде-

ли целыми рядами; нежась на солнце, носились они над высокою травой, избирая себе между пестрыми головками лакомый присест; кузнечики трещали вокруг в своих закоулках; звонкий, однообразный напев иволги раздавался в конце огорода, где густая посадка ив указывала на болотистый ручей. «Баба! баба!» — продолжала покрикивать визгливым голоском малютка, и на грядках, как из земли выросла, явилась привставшая Авдотья Власьевна. «Асеньки?» — откликнулась она ласково, протянув руки к бегущей встрече девочке, с трудом выбравшейся из высокой травы и прыгавшей по грядкам: «асеньки мои!» Старуха подхватила внучку, вскинула на лету ее высоко и уложив на руки, зацеловала.

— Здоровенько ли живешь, Власьевна! — крикнул я издали. Она стала всматриваться в меня, застыв глаза от палящего солнца ладонью. Я подошел вплоть к ней, прикрыв лицо шапкой, и вдруг спросил: — Не признаешь что ли?

— Ах родимый, баженьый, моленьый! То-то слышу я, голос знакомый, словно свой, а в лицо-то и не признаю, супротив солнца, а в глазоньках-то свет уж тусклый, родименький, старость приходит, хоть хворать больно не хвораю, да уж ветшаю; а все бога благодарю!

Пошли мы в избу; догадливый ямщик, не дожидаясь распоряжков, вкатил тарантас мой под навес и отпряг коней.

— Проня дома у тебя? — спросил я: — аль в торговле?

— Нет, уехал с невестушкой на богомолье, к Девятой Пятнице.

Заметим, что эта явленная икона Богоматери, на девятую пятницу после Пасхи, обходит полгубернии, и к этому кочевому шествию стекается бездна народу со всех сторон, и каждое населенное место всем населением своим провожает ее от себя до ночлега.

— Мои со вкладом поехали, — продолжала старуха, таща за собою девчоночку, которая, то подпрыгивая, то волочась по земле, мурлыкала песенку: — говорят, надо-де бога благодарить за милосердие его. Пойдем-ка, Душарочка, да самоварчик поставим для любого гостя, чайку заварим!

— Ну, Авдотья Власьевна, — сказал я: — у тебя растет внука-бесприданница; гляди, какая красоточка будет!

Старуха радостно улыбнулась, по привычке своей повертела от удовольствия головой и с нежностью сказала:

— Вся в мать, вот вылитая Серафимушка! Младенец

смиранный, жалостливый, что хошь попроси, все отдаст, изорту пряник вынет, отдаст, как есть мать!

Эта речь изумила и умилила меня до крайности: стало быть, в эти годы много пережито в этом домике; нет следа безнадежного, отчаянного раздора, над коим и вчуже надрывалось сердце, господствует любовь да совет... Молчая призадумался и потупил сидя глаза, будто боялся разочароваться. Между тем в кухоньке подле, несмотря на притворенную дверь, раздавалось сопенье кузнечного меха: это Авдотья Власьевна раздувала самовар, а по временам слышался тонкий голосок Душарочки.

— Стало быть вас внука помирила и внесла благодать в семью; — сказал я наконец управившейся с самоваром хозяйке.

— Нет, не внука; хоть и ангельская душа, а не она; сказывала я тебе, коли помнишь, что, кроме бога, никто не помирит — так оно и вышло: это как есть, дело божье! кабы не он, не его милосердие, мыкали б мы горе по век свой. Ну, дай срок, я все расскажу тебе, без утайки, что и как было.

Усевшись за самовар, я раз-другой от нетерпенья закидывал словечко про это дело, но Авдотья Власьевна, кивнув головой отвечала только: «дай срок!» Наконец, убрав самовар и уложив Душарку спать, она задумчиво уселась против меня, подперлась локтями, уставила глаза прямо на меня, и начала:

— Чай слышал ты поговорку: сердитая кобыла на воз, а прет его и под гору и в гору? Вот так-то и мне жилось в доме, все опостытели, и невестка, и сын по ней, и не глядела бы на божий свет. Встанешь ранком, и лба не перекрестишь, а уж она тут; и утром вместе, и в обед вместе, и вечер вместе — хоть в землю уйти, одна бы отрада была! Ину пору и словечка не молвит, а все кажись поперек стоит, только душу мутит. Так маялась я изо дня в день, доколе господь не смиловался надо мной. Вот он, душеспаситель мой, и послал мне немочь, болезнь смертную, и уж вижу я под конец сама, что умираю. Дай, поколе еще бог памяти не отнял, распоряжусь всем добром своим, пусть и по нас поживут, не поминаючи нас лихом; не обидела я и дочки, хоть зятек уж никуда не стал годен, и еще койкого помянула, и расписать все велела сынку, а остальному всему он же сам законный, прирожденный наследник остался; позвали отца духовного, и он руку приложил; приобщилась я и поновилась от него, после исповеди, святым причастием, и говорю, вот, мол, и слава богу, совсем;

и детей благословила, да уж почитай слова не могла вымолвить, стал язык отниматься и память обмирать.

— Понимаю, Власьевна, стало быть тогда-то ты с Се-
рафимой простилась и помирилась, — сказал я.

— Не мирилась я, грешная, ни с кем, — отвечала го-
рячо старуха: — а ты слушай: мне думалось, что обидели
меня дети, что господь взыщет с них за это, а мне попом-
нит, как я ему денно и ночью печаловалась! Ты слушай:
вот и стало мне к утру таково тяжело, где-где дохну; да
и то не во всю грудь, привалило, вишь; и стал у меня послед-
ний вздох поперек груди, ни туда, ни сюда, ни живота,
ни смерти, и очи мои закатились, и обмерла; ни губами,
ни пальцем одним не пошевелю, бровью не поведу, все
во мне замерло, и слышала я, как последняя, горячая
струйка крови пролилась, сердце стало, не бьется, сама не
дышу — вот она смерть какая бывает, подумала я, — при-
ми, господь, грешную душу мою! И умерла!

«Вот лежу я, покойница, и думаю себе: где же я это, на
этом свете или на том? Словно ангелы небесные ликуют
вкруг меня, да не близко, издалече, а ничего не вижу. Тут
послышалось что-то около, будто голоса соседкины: пре-
ставилась соседушка наша, помяни господи во царствии
твоем душеньку рабы твоей Евдокии. Прибежали сын и
дочь, а невестка в ту пору по родам в постели лежала, ее
сын не пустил; поднялся плач, вой, причитанья — а я ле-
жу, словно каменная, ни живчика во всем теле моем нет —
и словно мне их и не жаль; слышу, руки мне складывают,
обмывать собираются, — что ж это, и вправду, неужто так
люди умирают? Пришел и зятек, поглядел, видно, постоял,
и слышу, говорит: «и заживо мало радости от нее видели,
и померла, горе не велико!» Тут сторонние люди корить
стали его, а меня, дай бог им здоровья, добром помянули.
Так-то лежа, я тут много чего наслушалась, а все-таки
видно, люди бога боятся, больно лихом не поминали! На-
род поразошелся, все стихло, и сынок ушел готовить, что
нужно, матушку свою хоронить — вот я слышу, кто-то
крадучись пробирается ко мне в горницу, словно по стенке
бредет, и стонет про себя, да, подошедши к кровати, бух на
меня, прямо на грудь ко мне, и охватило меня что-то го-
рячими руками, и припало к лицу горячим лицом; а слезы,
кипень кипнем, вар варом, что капель вешняя со стрехи,
так на меня ливмя полились, и на щеки, и на грудь, и на
лицо. Господи, думаю, что это такое? Аль доченька горе-
мычная опять вернулась, чтоб одной по себе наплакаться?
Слышу, всхлипывает, да шепотом причитает; что, мол, го-

лос ровно Серафимушкин, а чего ровно, она и есть! Она, сердечная, с ложа мук и боли встала, и ноги не держат, а приплелась, как все в избе опустело, приникла жарким ликом на грудь ко мне, и истекает слезами... «Мамонька моя родимая, открой ты свои грозны оченьки, погляди ты, каково-то мне без тебя горьким горькошенько! Видит ли душенька твоя правду мою, все нутро мое, ты видишь ли, веришь ли злой невестке своей?» Так-то голося, она все крепче и крепче ко мне припадает, так и прижимается... Ну, отец родной, что со мной деялось тогда, не дай бог и ворогу-татарину, ни другу, ни недругу! Стало меня рстивое корить, адским огнем палить, и жалость одолсла смертная, жалость такая, что вот бы в ноги так и повалилась ей, обняла бы ее, как и сына родного не обнимывала — да не могу ни суставчиком мизинца пошевелить, ни знаку-признаку подать... Долго ли мы лежали, не знаю — а она, видно, уж и сама ослабела и притихла... Вдруг словно оторгалось что во мне, словно жаль моя камнем тяжелым от сердца отвалилася, и стала подыматься, подыматься, да и вырвалась вздохом из уст моих, и ожило сердце во мне, и очи отворились...

Что после было — не спрашивай, и сама не знаю; сказывали, что нашли нас обеих без памяти, и прохворали мы обе долго: я-то стала на радостях бойче справляться, а она, после родов, да с испугу, что мамонька ожила под слезами ее, пуще было расхворалась, и сама в забытии была, да уж я ее тогда отхаживала; а на душе-то у нас стало таково тихо и радостно, потому, вишь, что ангелы божьи обмиранне это на меня навели, чтоб я, грешная, досыта ласки Серафимушкиной наслушалась, а то бы я никому в том не поверила. Вот тебе, отец мой, все дело, как оно было, и с тех пор, все мы сам-третьей живем душа в душу, друг у друга из рук глядим, тишь да крышь, да божья благодать!

Мы оба долго молчали. Та ли эта тревожная, сумрачная, подозрительная старуха, которая видела вокруг себя одно коварство и затаенную злобу, которую и самое съедала ненависть к близким сердцу ее, та ли это мать, в отчаянном, безутешном положении? Мне казалось, что и самое лицо ее с тех пор изменилось, любовь и покой изгладили суровые черты и провели свою приветливую бороздку. Видно, не перемена места нужна для счастья нашего, а перемена состояния души нашей, и постылое станет милым, и человек, сам не ведая, как, послушит себя духом в небесном царстве.

Много искажения внедрилось в человечество, но кой-где и кой-когда, в укромной тиши, впотьмах, просвечивают искры света и тепла, и повсюду божеское провиденье, не покинувшее доселе народа своего, отвечающее на безумие премудростью». Это было началом, и это же пусть будет и конец нашего рассказа.

8) О К Т Я Б Р Ъ

Грудень ни колеса, ни полоза не любит, нет езды. В Воронеже и Тамбове это грязник и листопад, в Смоленске грудень (от груди, кóлоть, мерзлая грязь), на севере и востоке она зазимье, а встарь паздерник (от поздирать), а повсюду свадебник; уж северяк оброснул листву, липа обронила ее догола и стоит, как лутоха; дуб еще крепится, но только слава, что лист держится, а пожелк, побурел, покраснел, так что солнышко, проглянув, на нем огнем играет. Один только товарищ дубу остался — горькая рябинушка: и красна, и пестра, и перистый лист еще болтается на ветру. Зелень осталась на одном только кусте, и то не нашем, а завозном, в садах, на сирени или, как удачно переделали ее, на синели; она у себя дома морозу не выдывала и не знает, как с ним обходиться, держит зеленый лист до последнего зазимья. Не сойдешь и глухаря в бору, сухой лист шумит под ногами; русак уже выбрался на озимь, а беляку-горюну приходится плохо: он тоскливо поглядывает на предательскую шубку свою, которая заране уже перебралась под масть снега, он жметя по опушкам, ждет не дождетя зимы.

Конец хороводам, начало посиделкам, кои впрочем на севере начались уже вместе с засидками, с Симеона. Уже скотину закармливают пожинальными снопами, и с Покрова ее более в поле не гоняют. Пастухи ищут приюта, идут в батраки, нанимаются молотить, либо берутся за бабью работу — мнут лен.

Покров землю покроет, где листом, а где и снежком; мужик избу кроет, а не ухватишь до Покрова, не будет такова, то есть тепла: захвати тепла до Покрова. Но Покров же и девке голову покроет, и вот за что месяц этот свадебник. Батюшка Покров, покрой сыру землю, и меня, молодую, бел снег землю покрывает — не меня ль, молодую замуж снаряжает? Так приговаривают шаловливые, ве селье невесты, готовясь расстаться с девичьей негушкой и вступить в призванье суровой жизни крестьянской домо-

стройки; но иные из них судят иначе и направляют созерцательный взгляд свой на невещественный, духовный быт человека — о чем у нас речь впереди.

Пример всего земного шара, всех народов вселенной, доказывает нам, что человек, по вере и исповеданию своем, не может обойтись без внешней или вещественной обстановки, без обрядов. Без этих видимых, насущных признаков, большинство теряет избранную стезю и не может на пути своем опознаться; только чувственные явления пробуждают в нем мысль, или, по крайности, какое-то темное, духовное настроенье, а затем и стремление к добру и к истинам веры. Самое значенье обрядов, в чистом, неискаженном их виде, есть представительство и прообразование, они должны напоминать нам об истинах духовных и нравственных, кои умственно удерживаются тем труднее, чем менее развита духовная сторона, чем грубее человек прикован к насущной глыбе. Но тут неизбежно является соблазн иного рода: тупая привычка к исполнению обряда, будто сущности дела, глушит, как сорная трава, добрую пшеницу: внешность заступает вовсе дорогу духовному, обряд вытесняет мысль и чувство, и замещает их; обряд становится сущностью, человек бессознательно впадает в кощунство, либо в ханжество.

На сих началах основаны все расколы наши, сомнения, колебания и отпадения. Человек ищет истины, и вечно блуждает: он блуждает умом, коли даст ему необузданную свободу, и блуждает волею, сердцем, коли отдастся на произвол увлечения; он блуждает и тупеет, привязываясь к одной внешности, обрядливости веры, он блуждает и бредит, кидаясь в противную крайность, в умственную, отвлеченную область духовного мира, желая уже во плоти отрешиться от насущного и жить одним духом.

Одно направление нашего раскола пошло по первому пути, то есть ищет сущности веры в обрядах, в одной внешности: это поповщина, или толки, кои ограничиваются требованием исполнения всех обрядов по старине, и беспоповщина, толки, идущие далее этого, утверждающие, что видимое, вещественное царство антихриста наступило, чему для них служит уликой искажение обрядов и обычаев; они могут быть люди очень добрые и нравственные, но самое направление их на одну внешность и обрядливость придает им какую-то безрассудную тупость, упорство и нетерпимость; простодушные из них кощунствуют, полагая сущность веры в обрядах, а умные и развитые лукавят, ханжат из видов, уже вовсе не духовных. Крайним звеном этого брат-

ства являются бегуны, коих основа учения состоит в нарушении всех гражданских порядков и учреждений, потому что они признают их делом дьявольского соблазна.

Другое направление, которое, может быть, развилось по себе, а может быть, и вызвано первым, как всякая крайность вызывает другую, противную, как бревно на перевесе одинаково легко может перевернуться и на тот, и на другой конец. Это направление, в сущности своей, духовное, и говорит: церковь не в бревнах, а в ребрах; оно отрекается от всех обрядов, не замечая притом, что невольно принимает свои, особенные обряды, соблюдаемые с ожесточением и неистовством изувера, хотя они в сущности одно пустосвятство. Хуже всего то, что и тут и там является нетерпимость, уверенность в святости своей, в избранничестве своем и ненависть к разномыслящим. Это духоборцы разных толков, молокане и созерцательные толки христовщины, хлыстов, кои, в крайней степени своей, являются кажениками или скопцами, а в былое время были детогубцами и сократильщиками, убийцами, ради спасения души.

Гнездо созерцательных толков у нас в средних губерниях: Тамбовской, Пензенской, Орловской, тогда как первое направление, раскол обрядный, свойственно северу и востоку; второе же занесено в Тавриду, на Кавказ и в Сибирь ссылками и переселениями целых общин. Строптивый Новгород искони плодил у себя раскол староверства, а обруселая Мордва, обоих поколений, Эрзя и Мокша, склонны к расколам смирения, к видениям и пророчествам. Только в последних, т. е. созерцательных толках, являются пророки и пророчицы, даже чудовищные самозванцы, под именем Христа и Богородицы. В сих же толках мы встречаем сходство с немецкими гернгутерами и американскими шекерами, направление тупое, грустное, стремление к косности и к отречению от мира. Этим духом веет даже поблизости, в соседстве всех созерцательных толков, и им заражено население целых уездов и губерний. Женский пол, даже в молодости, очень склонен в тех местах, к такому направлению. Именуясь православным, прилежно посещая церкви, народ исправляет все требы, ходит на исповедь, но отказывается от причастия, признавая себя недостойным; плясать — дьявола тешить, грешно; песни поют одни сорванцы; степенная молодка или девка не выйдет на хоровод, танкбв не водит, а умница, на возраст, накидывает на голову черный плат, подколов его под бородою, потупляет глаза в землю, ни на кого не взглянет,

не улыбнется, лишнего слова не молвит, с парнями не говорит вовсе, и через год, другой, просится у родителей на спасение, в келию, в чем ей никогда почти не отказывают. Келейки эти, местами, ставят на задах двора, и там келейница жпвет одна, чинно и тихо, выучивается грамоте, если не знала ее, читает священные книги, особенно псалтирь и требник, строго исполняет все обряды церкви, не упуская ни одной службы, но для общества она пропала, к мирскому безучастна. Но чаще келейки эти ставятся сподряд в особом порядке, сбоку или позадь села, без дворов и огорожи, и нередко по две келейницы живут вместе. Это настоящий скит. Они в страду помогают родным в уборке, а прочее время занимаются рукоделием, пряжею, тканьем, а всего охотнее шитьем, плетеньем и вязаньем, и кормятся этим хорошо, даже дают помощь своим.

Этот странный обычай усиливается не только по местности, но даже и по времени, будто повальная болезнь; порою все девки на селе вдруг, словно рехнувшись, всеми силами порываются в келейницы, замужество почитается зазорным — и на селе нет невест!

Так различны у нас нравы, обычаи, а по ним и следствия одних и тех же мер: в ином месте стоило только распусть слух, что безграмотных девок венчать не станут, чтобы в один год заставить всех девок в околотке выучиться читать; в другом же, напротив, грамотность девки считается верным признаком скорого удаления ее от мира.

В одной из таких местностей, где близость нескольких одиноких монастырей и женских общин способствовали худо понятому духовному настроению, лежало хорошее имение Руфа Садоковича, село Царво-Стойбище, прозванное так, по преданию, от бывшего тут стана Грозного, во время похода его на Казань. Село это было привольное, земля добрая, в круглой меже и в достатке, чернозему в колено, лесу более, чем нужно, воды в меру, луга богатые, так что завистливые дальние соседи, жалуясь на свои неудобства, утешались поговоркою: как быть, не Царво-Стойбище, всех угодий под одну руку не подберешь. И при этом селении выстроились исподволь два келейных порядка: солдатский или вдовый, безтягольный, куда селились малыми срубамн и без усадебных участков отставные, одинокие, вдовы, солдатки, а другой — келейный, скитный, девичний, куда выходили девицы, удаляясь от мира, и там старались и доживали век свой, по их понятиям, в богоугодном отшельничестве. Между этими двумя выселками или слободками были тесные сношения, и жители

первой, ветхие и убогие, получали много помощи от келейниц.

Руф Садокович, средних лет, холостой, из числа тех плотненьких, алокровных толстячков, которые охотно выгибаются немного назад, закладывая обе руки в карманы, и вертятся как живчик. Плотность, и даже брюшко, несколько не умеряют живости его, проворства, подвижности и деятельности, серенькие глазки его горят жизнью, каждая черта круглого, алого лица его играет, улыбочка всегда на устах, и он сам весь кипит, как самоварчик; если он, призадумавшись на одну минуту, вдруг повернется и проведет себя рукою по приглаженной маковке, будто ощупывая, нет ли уже плешвинки, то это значило, что дело сложилось у него в голове, кончено, решено, и быть по сему. Долее пяти минут он ни на чем не призадумывался, судил и решал здраво, удачно, и ничем не затруднялся. Так он служил, так в пять минут вышел в отставку, так поехал в Сибирь и набрал доходных золотых паев, так он, устроив это дело и погладив себя по головке, прикатил в родное имение свое, Царево-Стойбище, чтобы устроить его и жить отныне в кипучей деятельности на покое. Он никогда не хворал, ел и пил всегда хорошо, но умеренно, веку положил себе всего 60 лет, первую треть его посвятил учению, образованию, вторую — жизни общественной, гражданской, поучаясь при сем впрочем на сколько и где можно, а наконец последнюю треть решил дожить оседло, на покое, как он выражался, то есть перестроить все хозяйство по-своему, раскатывая между тем беспрестанно во все стороны и выписывая во все места, где ему чаще случалось бывать наездом или проездом, по три газеты, чтобы нигде не оставаться трех дней без последних новостей, чтобы какое-нибудь нечаянное событие не захватило его врасплох. Руф Садокович скоро ел, скоро спал, был всегда свеж и на ногах, не тяготился делами, ни хлопотами, умея решать их быстро, а коли вервь не случилась, то отрубал ее топором и принимался за иное. В кругу власти своей, захватывая даже иногда немножко через край, он противоречия и помех не терпел, ворочал всем, как бы шутя, и ему все сходило с рук и все удавалось; если же изредка наскакивала коса на камень, то он смекал это всегда вовремя, не настаивал, не ссорился, а уклонялся вдруг в сторону, будто уступал, и также внезапно и нечаянно достигал цели своей иным путем, где оплошность противников натиска его не ожидала. После того он смеялся в кулачок, обращая дела в шутку и оставаясь со всеми в добром согласии.

Быстро обозрел он вотчину свою, сделал тотчас некоторые распоряжения, приучая старосту резкими, короткими и ясными приказаниями своими не пропускать ни одного словечка мимо ушей и не откладывать никакого исполнения, без разумных причин, до завтраго, а чему была не пора, тем он памяти старосты не обременял, мыслей его не развлекал, а удерживал за собою, без записки, потому что сам никогда и ничего не забывал.

— Ну, — сказал Руф Садокович, толкуя со старостой, который и сам словно ожил и помолодел, при толковой и короткой расправе этой, — ну, братец, вот я пробежал по-семейные списки наши: мало сажаешь на тягло. Есть парни зрелые. Надо женить их.

— Вот про это-то дело и я хотел доложить вашей милости, — начал тот, с тяжелым вздохом, — и не знаю, как быть тут, такая беда!

— Какая беда?

— Да ведь девки-то у нас все не туда глядят, не совладаешь с ними; как вот вашему рассуждению угодно будет, а ведь нам что с ними делать!

Руф Садокович только что прибыл в вотчину свою, где прежде бывал лишь наездом, не успел еще спознаться со всеми местными обычаями, и потому не понимал загадочных слов старосты; заставив же его рассказать и объяснить толком, в чем дело, он услышал, что Царево-Стойбище вовсе обнищало невестами, которые поголовно уходят в келейный ряд, в богомолки, стяжая вечное спасение. — Как только девчонка станет входить в года, так ее тотчас товарки берут в свой табун, — объясняет староста: — и набьют уши спасеньем, глядишь, а она уж и черный плат на голову накинула, и плачет денно и ночью: «Мамынька, не бери греха на душу, отпусти меня в старки, к сестрам в келейку!» Уж и то бывало, что строгие отцы не пускали, так ведь ничем не возьмешь, она все свое; вон одна, Мотылева, сама на себя было руку наложила; у Тараса тоже, ну, мужик справный, дельный, умный мужик, нечего сказать, он было и просватал дочку-то, и рукобитье было, и на стол взято, и пиво сварено — ну, хошь делай, нейду, да и только; и посек он ее раза два-таки порядком, и попа призывал, и сулил ему за это, так пошничего не сделал, она крепче его на своем стоит; так и разошлись, и убытку понес отец-то на этом, попусту пиво распили. Бирали мы когда-то со стороны девок, например, так уж не дают теперь, и так задолжали кругом, а вот и сла-

дил я было с соседками нашими, да опять разбили, барыни разбранились, поссорились, ну, теперь ни за что не дают.

— С кем поссорились, за что?

— Да все из пустяков, сударь: сельцо Мокруша, Анны Мироновны, на седьмую часть ей досталось, ну, и прозвали его Семухой, так оно и пошло, Семуха да Семуха; а Пищухино, Федоры Ивановны, нехорошо прозвал народ, не при вашей милости будь сказано, Пустоселовым зовут; барыни-те обе этим обижаются; что за Семуха, говорит Анна Мироновна, коли оно Мокруша; какое Пустоселово, говорит Федора Ивановна, у меня Пищухино, а не Пустоселово! А чего, Пищухино, и всего-то 20 душонок, а в Семухе-то и того нет — вот они сперва стали этим промежду собою попрекаться, и рассорились, а тут и наши дураки туда же, Семуха да Пустоселово на зубок попало; барыне-те на меня вскинулись, как, говорят, смеете так бесчестить нас? А я что сделаю, платком глотки-те всеми миру не завяжешь, ну, и осерчали, и отказали в девках, а у них две есть, в залишке.

— А у нас много ли их? Сколько в кельях, сколько по домам?

— Да в кельях, в старках то есть, никак двенадцать, ну, на половицу оне уж и не молодые, а вот по домам, по семьям-то, что уж года по два и по три просятся у отцов, девок с восемь будет; и ничем их...

— Слушай: завтра поутру чтоб были все девки эти, с отцами и матерями, и все молодые ребята, сколько есть на селе, кого отец-мать женить хотят, чтоб были здесь, у меня, да еще просить отца Данила, чтоб и он тут был.

На другое утро все собрались. Руф Садокович, потолковав недолго со священником, позвал наперед парней, спросил их: хотят ли они жениться? и на поклон и ответ их, что просят барской милости, велел им всем покинуть шапки свои в одной куче, посреди полу. Выслав их, он позвал отцов и матерей с невестами.

— Здравствуйте! Я созвал вас, чтобы потолковать о деле и кончить его: я непоконченного ничего не покидаю. Что это у вас делается? Говорят, вы дочерей не отдаете, в засол, впрок что ли их прочите?

Ответы отцов, при поклонах, пожимании плечами и разводке руками, посыпались: «мы, батюшка, не противники вашей милости, — это их воля, — это оне сами дурят, промеж себя, — спасенья своего ищут, батюшка, — мы люди темные, мы, что говорить, не знаем, а оне свое — тоже

ведь боишься, как бы не согрешить перед богом, а уж тут воля ваша...»

Матери, по-видимому, также были в раздумье, иные поблажали дочкам, другие были очень недовольны ими, но против общего голоса или обычая ничего не могли сделать; одна из последних, почуввав, что бариново слово развязало ей язычок, вышла вперед, с поклоном, и рассыпалась таким горохом, что Руфу Садоковичу пришлось заложить руки в карманы, выставить ногу вперед, и дожидаться той минуты, когда можно будет провести себя рукой по маковке. У говоруньи этой все были виноваты, одна она права, свята; и отец-то не знай чего глядит, и народ-то словно рехнулся, и поп-то словно их руку держит, и кончила тем, что надо бы-де и отца и дочку-то посечь, тогда все дело устронтся.

— Девушки, — сказал Руф Садокович: — подойдите сюда, па середку; слушайте: вы кому хотите угождать -- богу? Вы от кого спасения чаете — от бога? А чем же вы чаете обрести спасение это, тем ли, чтобы слушаться и повиноваться завету его, приказаниям, или тем, чтобы самодуром свои законы ставить, да вдвое грешить поклепом на бога? Слушайте же, что господь сказал, вот и отец Данила здесь, он не даст мне именем божьим говорить неправды: создав человека, мужа, праотца нашего Адама, и посадив его в рай земной, бог сказал: «Не добро быти человеку единому: сотворим ему помощника; и создал бог ребро, еже вся от Адама, в жену, и приведе Еву к Адаму: сего ради оставить человека отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину». Вот что говорит господь, а вы, ища послушания, смирения и спасения, ему повинуйтесь. Разбирайте шапки!

При втором, настоящем приказании разбирать шапки, девки исполнили это робко, потупив глаза.

— Позвать ребят! Девки, надевайте на себя шапки, живо!

Озадаченные таким неожиданным оборотом дела, девки надели шапки, поглядывая исподлобья друг на друга, в таком изумлении, будто и сами не знали, что делали; руки их двигались только по привычке повиноваться барину. Парни вошли.

— Разбирайте невест своих по шапкам, — сказал Руф Садокович: — живо, ну!

Парни подошли к девкам, и разобрав их, по шапкам своим, стояли с ними рядом.

— Ну, а кому жребий не выпал, — продолжал Руф Са-

докович: — тот подымай шапку с полу, да ступай горевать домой, дело не ушлое, авось еще найдем невест. Отцы и матери, благословляйте детей! Кланяйтесь отцам в ноги, женихи и невесты! Батюшка, помолимся, да благословите, вот восемь пар молодых! Дома реветь будете, — крикнул он на девок: — тут плач некстати, плакать не место! Отцы, пиво мое, и две овцы на каждую чету новоженков. Староста! купишь по два красных платка на невесту, да чтоб я этих черных не видал! В твоём келейном ряду дай жеребий всем здоровым и молодым старкам, а по две кельи в год делой, сломать; объяви им это! Ну! старики и молодые, пиво мое, и по две овцы; с богом, идите; дело кончено (и погладил себя по головке), с богом, по домам.

И восемь свадеб сыграно было в один день.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

«Пришлите справедливого Даля!..» (предисловие М. А. Чванова)	5
Башкирская русалка	14
Охота на волков	32
Рассказ Верхолонцова о Пугачеве	46
Полунощник	53
Уральский казак	63
Осколок льда	77
Бикей и Мауляна	85
Майна	150
Новые картины русского быта	
1. Серенькая	191
2. Самородок	207
3. Январь	213
4. Приемш	222
5. Дедушка Бугров	249
6. Кружевница	258
7. Обмиранье	263
8. Октябрь	279

Владимир Иванович Даль

Повести и рассказы

Редактор Ю. Андрианов
Художник Г. Прокшин
Художественный редактор А. Астраханцев
Технический редактор Г. Зигангирова
Корректоры В. Тимофеева, К. Шилина

ИБ № 1488

Сдано в набор 8.05.81. Подписано к печати 25.08.81.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3. Литера-
турная гарнитура. Печать высокая. Условн. печ. л. 15,12.
Учетн.-издат. л. 16,70. Тираж 150 000 экз. Заказ № 164.
Цена 1 руб. 50 коп.

Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Совет-
ская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата
Башкирской АССР. Уфа-1, проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 01.10.2019 - STERLITAMAK

1 руб. 50 коп.